

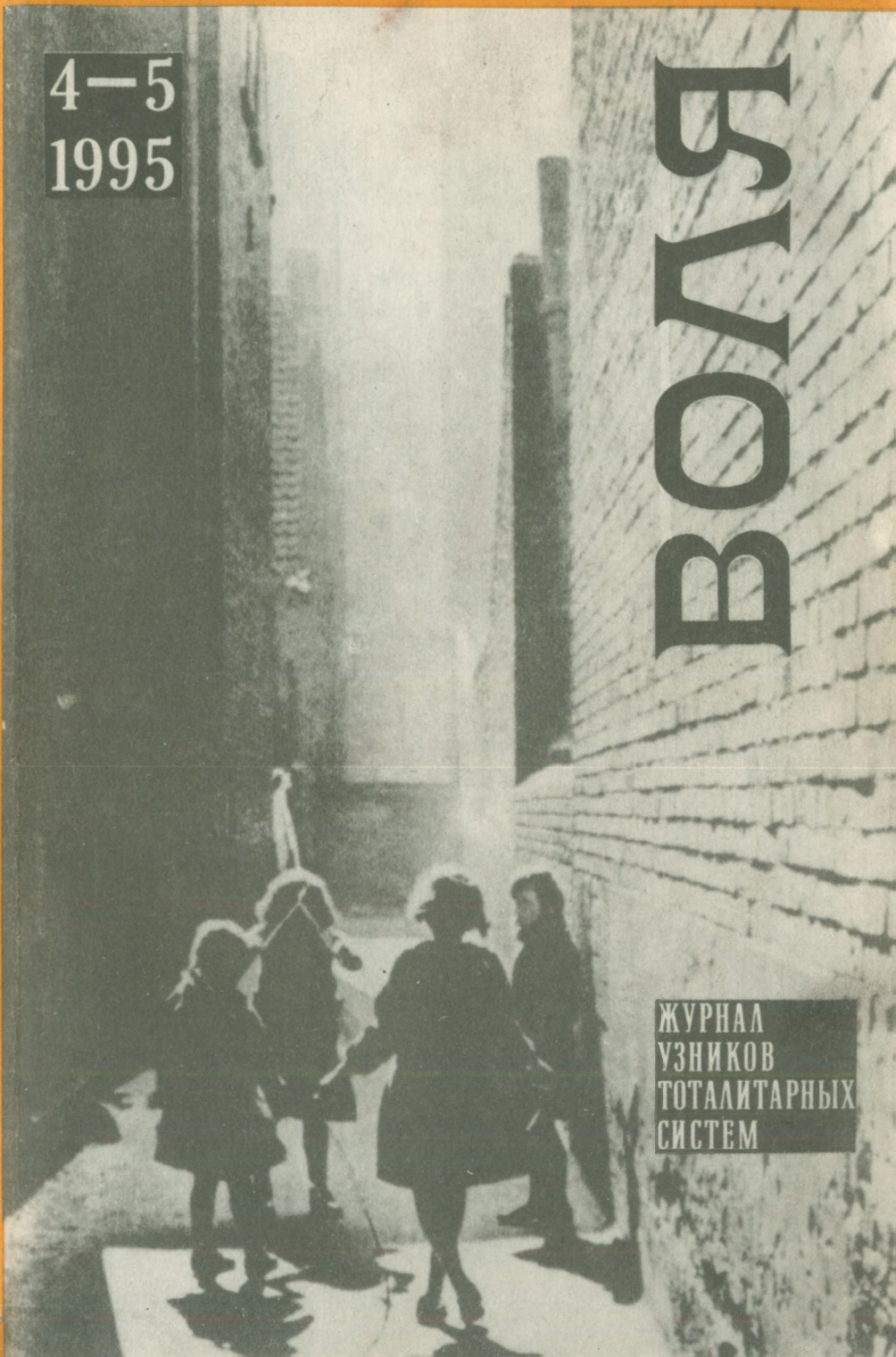
ВОЛЯ

**4-5
1995**

ВОЛЯ

**4-5
1995**

**ЖУРНАЛ
УЗНИКОВ
ТОТАЛИТАРНЫХ
СИСТЕМ**



ВОЛЯ | 4-5 1995

ЖУРНАЛ УЗНИКОВ ТОТАЛИТАРНЫХ СИСТЕМ

Главный редактор

С. С. ВИЛЕНСКИЙ

Редакционная
коллегия:

И. П. БОРИСОВА
З. А. ВЕСЕЛАЯ
Т. И. ИСАЕВА
Л. С. НОВИКОВА
Н. М. ПИРУМОВА
В. КАРДИН
Е. Г. КУРКАЙ
А. Д. ШИНДЕЛЬ
Ф. С. МЕРКУРОВ
Д. КРОУФУТ
Р. РИШИН

Художественное оформление и макет
Ф. С. Меркурова и А. А. Кокорина
Корректор С. В. Цыганова

Издатель: Московское историко-литературное
общество «Возвращение»
ЛР № 0110961 от 9.08.1993
ISBN 5-7157-0065-5
© «Возвращение», 1995

Сдано в набор 19.06.95. Подписано к печати 24.12.95. Формат бумаги 60 × 88/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,0. Тираж 1000 экз. Заказ № 76.

Издание отпечатано в Тульской типографии
Комитета Российской Федерации по печати
г. Тула, проспект Ленина, 109

Издание этих номеров журнала «Воля»
осуществлено при финансовой поддержке
ФОНДА ЛЬВА ЛАНДЕ (Голландия) и
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ
Амстердам (Голландия)

СОДЕРЖАНИЕ

Джеймс Э. ЯНГ. Площадь невидимого памятника
Перевод с английского Дж. Кроуфута 3

1 Документы и свидетельства

С. ГОЛОТИК. Первые правозащитники в Советской России 7
Н. ЗАБОЛОЦКИЙ. Дело Н. А. Заболоцкого. *Документы и письма* 25

2 3-я международная конференция «Спротивление в ГУЛАГе»

Встреча в Тимирязевке 87

Доклады и сообщения

А. БАЗАРОВ. Дыра в статистике 90
Л. НОВИКОВА. ГУЛАГ и школа 92
В. АБРАМКИН. ГУЛАГ сегодня 98

3 Доднесь тяготееет

(Из подготовленного к печати сборника «Доднесь тяготееет», т. II)

Г. ВОРОНСКАЯ. Серпантинка 101
Р. КОНКВЕСТ. Шутовской фарс
Перевод с английского И. Муклевич и А. Шараповой 112
В. УСТИЕВА. Подарок для вице-президента
Записано Б. Цыбиной 124
Е. ВЛАДИМИРОВА. Мы шли этапом. Стихи 131
Ю. ДОМБРОВСКИЙ. Амнистия. Стихи 133

4 Не хлебом единым

А. ШИНДЕЛЬ. Недоверие 135
В. РАФАЛЬСКИЙ. Репортаж из ниоткуда 162
В. МАЛИНОВСКИЙ. Последний неправедный суд эпохи
сталинизма
Заметки о судьбе Еврейского антифашистского комитета 182

Л. КУЛИКОВ. Биография Федора Афанасьевича Гусева	203
Ж.-Р. ШОВЕН. Лойбл-пасс, или Маленький рай	
Глава из воспоминаний. <i>Перевод с французского Л. Новиковой</i>	213
М. ЯНСЕН. Жизнь меньшевика	227
Пятьдесят лет спустя (конференция в Мюльберге)	237
А. КИЛИАН. К вопросу об истории спецлагерей	
<i>Перевод с немецкого С. Бартельс</i>	240
Г. ПОЛЬСТЕР. Далекие путешествия в Сибирь	
<i>Перевод с немецкого С. Бартельс</i>	245

5 ГУЛАГ: вчера, сегодня

Н. МОНИЧ. Второе рождение. 1941 — 1952	257
Н. ГАГЕН-ТОРН. Рукопись	313
В. РУБАНОВИЧ. Рассказы	328

6 Поэзия и ГУЛАГ

Л. ТАГАНОВ. На родине Анны Барковой	349
В. НОВИКОВ. От скорбного холма до звезд	351
З. ВЕСЕЛАЯ. Наталия Ануфриева	360

7 Дав руку мне...

И. ФИЛЬШТИНСКИЙ. Трагедия русской интеллигенции	365
В. КАРДИН. Жизнь с вариантами	369
В. ПЕТУХОВ. О книге Марка Янсена «Суд без суда»	372
Л. ШЕРЕШЕВСКИЙ. Под сенью великого страха	375

8 Поиск

Пора ответить!	379
ПАМЯТИ УШЕДШИХ	387
М. ФРОЛОВСКИЙ. «Тяжело сдавили своды...» Стихи	400

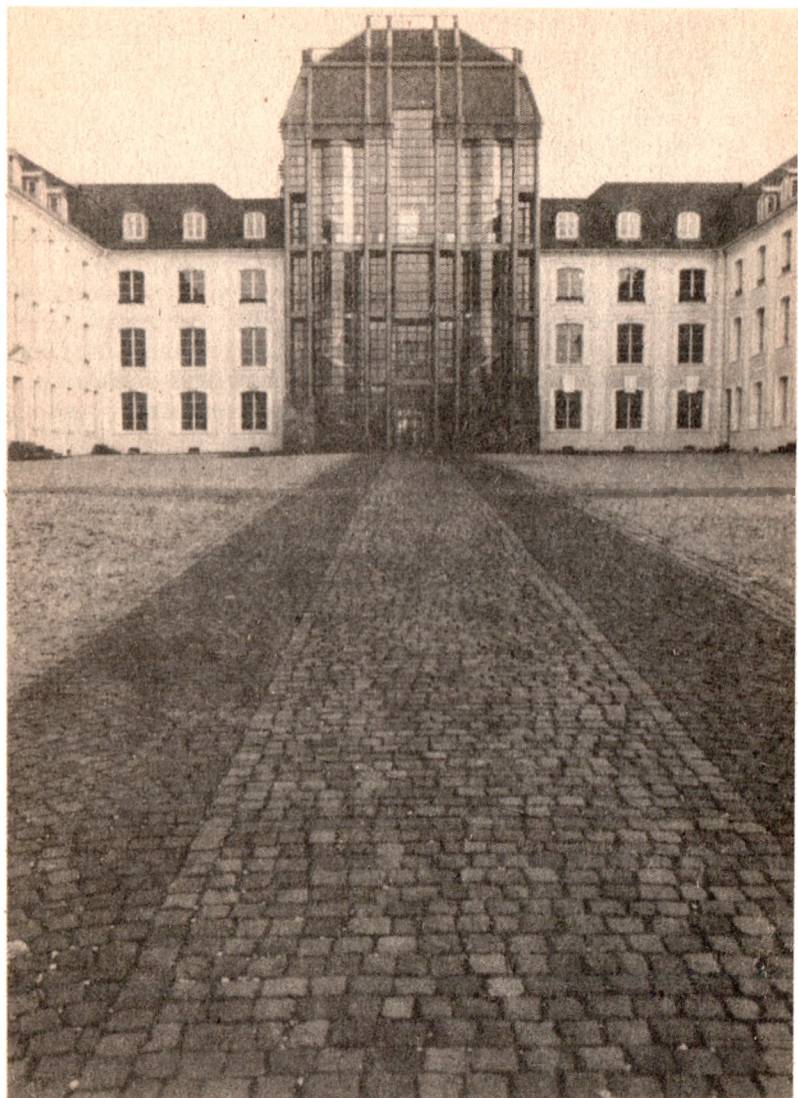
ПЛОЩАДЬ НЕВИДИМОГО ПАМЯТНИКА¹

Одна из наиболее распространенных реакций на неразрешимую проблему немецких памятников нацистской эпохи — появление «контрпамятников». Эти самодовлеющие, нарочито обдуманые мемориальные пространства призваны усомниться в самой идее таких мемориалов. Ибо создатели их обладают обоюдоострым послевоенным наследством: глубочайшим недоверием к монументальным формам из-за их систематического использования нацистами и неудержимым желанием как стеной отделить памятью свое поколение от поколения убийц.

Художники по праву страшатся, что чем больше мы позволяем памятникам выполнять работу нашей памяти, тем более забывчивыми становимся. По сути, они уверены, что изначальное стремление увековечить такие события, как Холокост, может быть вызвано противоположным и столь же сильным желанием забыть их.

Художник Йохен Герц в своем официально недавно открытом невидимом памятнике постарался решить эту проблему, взяв за основу представление о мемориале как о внутреннем пространстве. В 1991 году он был приглашен на год в Саарбрюкен профессором Школы изобразительных искусств. На занятии, посвященном концептуальным памятникам, Герц предложил своим студентам участвовать в тайном мемориал-проекте, своего рода партизанской мемориальной акции. Молодые художники с энтузиазмом согласились, поклялись сохранять секрет и выслушали план Герца: ночью восемь человек прокрадутся на большую булыжную площадь, ведущую к замку Саарбрюкен, бывшему зданию гестапо во времена гитлеровского рейха. Студенты, сумки которых набиты булыжниками, взятыми с других мест, разбредутся парами по площади, изображая подвыпивших юнцов. На самом же деле они тем временем незаметно вы-

¹ Из книги «Осязаемая память: мемориалы Холокоста и их значение» (James E. Young, *The Texture of Memory: Holocaust Memorials and Meaning*, New Haven and London, 1993).



**«2146 камней». Памятник Йохена Герца у замка Саарбрюкен, Германия.
Площадь теперь называется Площадью Невидимого Памятника**

ковыряют около семидесяти булыжников и заменяют их принесенными. Ко всем этим камням снизу прикрепляется гвоздь, чтобы потом их можно было найти металлоискателем. Через несколько дней эта часть мемориальной миссии была выполнена.

А тем временем будут разысканы названия и места всех бывших еврейских кладбищ Германии (больше 2000), ныне заброшенных или исчезнувших. Потом выбивали на камнях названия исчезнувших еврейских кладбищ, по одному на каждом. Когда работа была закончена, партизаны памяти ночью вернули на законные места все булыжники, подписанные и датированные. Но по выверту воображения полностью в духе предыдущих совместных работ Герца и его жены, Эсфирь Шалев, камни были уложены лицом вниз, не оставив от всей операции ни малейшего следа. Памятник должен быть невидимым, но именно поэтому, надеялся Герц, — *в сердце*.

Но он также понимал, что, раз памятник невидим, народная память будет зависеть от того, обнародована ли эта акция. С этой целью Герц написал Оскару Лафонтену, тогдашнему избранному главе земли Саарланд и вице-президенту Германской социал-демократической партии, извещая о деянии и обращаясь к нему за поддержкой для продолжения операции. Лафонтен ответил десятью тысячами марок из специального художественного фонда и предупреждением, что весь проект противозаконен по определению. Однако теперь осведомленность общественности стала частью памятника. Потому что, когда газеты пронюхали о проекте, вокруг ставшего известным «осквернения» площади поднялась суматоха. Передовицы вопрошали: а нужен ли еще один подобный мемориал? Некоторые даже интересовались: может быть, все это мистификация, придуманная только для того, чтобы спровоцировать бурю воспоминаний?

Люди, один за другим собирающиеся на площади, чтобы отыскать 70 из восьми тысяч камней, тоже терялись в догадках: как встать лицом к памятнику? Стоят ли они на нем? Внутри него? И вообще есть ли он на самом деле? Герц надеялся, что, думая об этом, они осознают, что воспоминания живы в них. Это и будет внутренний мемориал: посетители, как единственные стоящие на площади фигуры, станут памятниками тому, что они искали.

Позиция политиков была более определенной. Когда Йохен Герц стал представлять свой проект в городской думе Саарбрюкена, вся фракция Христианско-демократического союза по-

кинула зал. Остальные члены думы остались и проголосовали за официальное признание творения художника. Более того, они даже решили переименовать площадь в Площадь Невидимого Памятника. Это название стало единственным видимым знаком самого мемориала. Была на самом деле проведена эта операция или нет, но сила внушения уже укоренила памятник там, где он принесет наибольшую пользу: не в центре города, но в центре общественного сознания. Так «2146 камней: памятник против расизма» Йохена Герца переложил груз воспоминаний на тех, кто пришел отдать дань памяти.

После таких «антипамятников» ни представление об общественных мемориалах, ни те, кто приходит к ним, не останутся прежними. Современные скульпторы и архитекторы продолжают подвергать сомнению саму идею традиционного памятника, оживляя своими работами наше чувство того, как меняется со временем наше восприятие. А мы, посещая такие памятники, начинаем пересматривать собственное отношение к ним и к воспоминаниям, которые они стараются воплотить.

ДЖЕЙМС Э. ЯНГ

Перевод с английского Джона Кроуфута

И Сергей Голотик **ПЕРВЫЕ ПРАВОЗАЩИТНИКИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ**

Изменение политической ситуации в начале 90-х годов высветило необходимость более углубленного изучения закономерности становления, развития и деятельности общественных организаций, в том числе правозащитных¹. Этому способствует снятие ограничений с документальных материалов, хранящихся в фондах Государственного архива Российской Федерации.

30 января 1918 г. нарком юстиции советского правительства И. З. Штейнберг поддержал просьбу М. Л. Винавера о создании в Москве Политического Красного Креста. Данный документ послужил основанием возникновения московского общества Красного Креста для помощи политическим заключенным (Политический Красный Крест) весной 1918 г.². Цель новой общественной организации — оказание помощи людям, арестованным властями по политическим мотивам (без различия их партийной принадлежности и исповедуемых ими убеждений). Формы помощи — юридической, материальной, медицинской — включали в себя: подача прошений об изменении условий содержания заключенных, смягчении участи осужденных, оказание юридических услуг как в ходе предварительного следствия, так и судебного разбирательства, снабжение арестованных продуктами питания, медикаментами, одеждою, периодическими изданиями, книгами и т.д. Средства общества складывались из членских взносов, добровольных пожертвований, сборов от лекций, концертов, спектаклей, доходов от реализации печатной продукции, а также от имущества и капиталов организации. Членом общества мог стать москвич, ограничения касались учащихся и лиц, имевших судимость — «осужденных за позорящие преступления». Организационная структура включала в себя: общее собрание, комитет и состоящие при нем исполнительные комиссии, ревизионную комиссию. К компетенции общего собрания относился широкий круг воп-

росов: внесение изменений и дополнений в Устав, ликвидация общества, выборы руководящих органов, утверждение плано-отчетной документации, нормативно-методических документов и т.д. Обычно собрание созывалось ежегодно. Тем не менее устав предусматривал созыв чрезвычайного собрания в трех случаях: по предложению комитета, ревизионной комиссии или по требованию 50 членов общества.

Руководство текущей деятельностью Политического Красного Креста осуществлялось комитетом в составе 15 человек, избираемых собранием сроком на один год. К ведению комитета относились контакты с правительственными учреждениями и общественными организациями, осуществление всех видов помощи заключенным, подготовка сметной и нормативной документации и многое другое. Члены комитета выбирали более узкую коллегию — президиум, состоящий из председателя, товарища председателя, секретаря, его помощника и казначея³.

Первым председателем московского Политического Красного Креста в апреле 1918 г. стал юрист Николай Константинович Муравьев, после февральской революции 1917 г. возглавлявший Чрезвычайную следственную комиссию по расследованию противозаконных (по должности) действий царских министров и сановников. Его заместителем — известный общественный деятель России Екатерина Павловна Пешкова. В секретариат президиума комитета вошли: Михаил Львович Винавер, Соломон Александрович Гуревич, Яков Николаевич Либсон. Должность казначея занял Евгений Павлович Ростковский⁴.

На свои заседания комитет обязан был собираться не реже двух раз в месяц. Комитет осуществлял свои функции через исполнительные комиссии. Согласно параграфу 46 устава образовывались следующие комиссии: финансовая, хозяйственная, юридическая, медицинская, издательская, по посещению тюрем. Данный перечень далеко неполный, поскольку реалии повседневной деятельности требовали создания новых органов. Так, в марте 1919 г. недостаток материальных средств у общества породил концертно-театральную комиссию, в обязанности которой входило добывание денег через организацию спектаклей и концертов. Только в первый год деятельности комиссия провела 11 концертов, давших 662 тыс. рублей прибыли. Зрелищные мероприятия по договоренности с Кинокомитетом устраивались в Художественном электротeatре на Арбатской площади. К числу несомненных успехов комиссии сле-

дует отнести организацию концерта для заключенных в стенах Бутырской тюрьмы 15 марта 1920 г.⁵

Каждая комиссия имела свой круг полномочий и обязанностей. Финансовая комиссия занималась изысканием денежных и материальных средств для нужд Политического Красного Креста. Хозяйственная стремилась удовлетворить нужды заключенных московских тюрем и лагерей в продуктах питания и одежде. Медицинская комиссия отвечала за санитарно-гигиенический контроль в местах лишения свободы, оказание необходимой медицинской помощи. Первое заседание комиссии состоялось 5 октября 1918 г. Осенью 1918 года сложилась экстремальная ситуация в местах заключения. Управляющий делами большевистского правительства В. Д. Бонч-Бруевич писал в наркомат юстиции: «...Все тюрьмы и иные места заключения страшно заражены паразитами, в некоторых местах стены покрыты паразитами. В тюрьмах свирепствует дизентерия и др. острожелудочные и кишечные заболевания. Среди заключенных сидят психически ненормальные люди. Больных не переводят в больницы, пища более чем недостаточна и отвратительна, причем с воли передача крайне ограничена. Заключенным нередко приходится валяться неделями на голом полу...» Многие в данной ситуации зависело от отношения властей к Московскому обществу Красного Креста для помощи политическим заключенным, и в первую очередь — разрешение членам общества посещать места лишения свободы. Лишь 31 августа 1918 г. заведующий карательным отделом наркомата юстиции Л. Саврасов разослал циркуляр подведомственным органам юстиции, где говорилось о праве уполномоченных Красного Креста встречаться со старостами политических заключенных для выяснения потребностей в продуктах питания, деньгах и т.п. и передачи всего этого в камеры арестованным. Обязательным условием встреч являлось присутствие представителей тюремной администрации⁶.

По мере разрастания красного террора, когда один из его идеологов и практиков М. И. Ладис декларировал: «...Не ищите в деле обвинительных улик о том, восстал ли <обвиняемый> против Совета оружием или словом. Первым долгом вы должны его спросить, какого он происхождения, какое у него образование и какова его профессия. Все эти вопросы должны разрешить судьбу обвиняемого...»⁷, стало необходимым заручиться разрешением органов государственной безопасности. Президиум Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контр-

революцией, спекуляцией и саботажем на своем заседании от 3 февраля 1919 г. разрешил Политическому Красному Кресту посещать заключенных в тюрьмах в присутствии администрации мест заключения. Вполне естественно, что политкрестовцы дорожили этими допусками. В специальной инструкции членам Красного Креста, посещающим тюрьмы, строго оговаривалось, чего нельзя делать: оставаться в стенах тюрьмы после вечерней поверки, принимать письма, записки и заявления на имя частных лиц, передавать медикаменты и лекарства, минуя тюремный врачебный персонал и пр. Меры наказания к нарушителям были категоричны: начиная от лишения права посещать места заключения вплоть до исключения из состава общества.

На первых порах органы государственной безопасности общались с Политическим Красным Крестом посредством докладных записок с кратким изложением просьб заключенных. С марта 1919 г. по март 1920 г. юридическая комиссия комитета подготовила и направила в адрес Всероссийской и Московской чрезвычайных комиссий 1300 ходатайств. Любопытен социальный состав заключенных, за которых просил Политический Красный Крест. 130 ходатайств (10%) касалось иностранцев, содержащихся в московских тюрьмах и лагерях, 130 (10%) — крестьян, 325 (25%) — рабочих, 325 (25%) — офицеров и предпринимателей, 390 (30%) — интеллигенции (врачи, учителя, инженеры, адвокаты). По оценке юридической комиссии, около четверти прошений имели положительный результат, т.е. арестованные были выпущены на свободу⁸.

Конкретика повседневной деятельности лучше всяких убедительных слов уменьшала холодок отчужденности и подозрительности чекистов к представителям Красного Креста. Возможность получать необходимую информацию об арестованных от следователей государственной безопасности — лучшее тому подтверждение. Согласно уставу полномочия московского общества Красного Креста ограничивались территорией столицы. Фактически же представители Красного Креста нередко выезжали в различные регионы России. В конце 1920 г. из московских лагерей на Урал была этапирована большая группа заключенных (1500 человек). В Екатеринбург был направлен представитель Красного Креста с грузом продовольствия и одежды. Аналогичные акции проводились весной и осенью 1921 г. в отношении 300 социалистов и анархистов, переведенных в провинциальные тюрьмы (Ярославскую, Рязанскую, Орловскую и Владимирскую), значительной группы командно-

го состава Балтийского флота, арестованной в Петрограде и Кронштадте и изолированной в провинции. Разумеется, численный состав арестованных, пользующихся помощью Красного Креста, не представлял величины постоянной и колебался в зависимости от событий гражданской войны в стране. На протяжении 1921 г. помощью Красного Креста пользовались до 4500 политических заключенных⁹.

1922 год стал рубежным для московского общества Красного Креста. 3 августа ВЦИК и Совнарком приняли декрет «О порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли, и порядке надзора за ними». 10 августа ВЦИК утвердил Инструкцию о порядке регистрации общественных организаций¹⁰. В соответствии с данными документами общественные организации РСФСР обязаны были в двухнедельный срок с момента их публикации зарегистрироваться в органах внутренних дел и Советах рабочих, красноармейских и крестьянских депутатов. Не успевшие получить квитанцию о благонадежности или признанные антисоветскими по своим целям и методам деятельности подлежали закрытию. Все попытки руководителей общества Политического Красного Креста получить заветную квитанцию сначала в Наркомате внутренних дел, а затем в Моссовете кончились ничем, и московская правозащитная организация прекратила свое существование.

11 ноября 1922 г. заместитель председателя Государственного политического управления НКВД РСФСР И. С. Уншлихт подписал распоряжение: Е. П. Пешковой разрешалось оказывать материальную и юридическую помощь заключенным, числящимся за органами государственной безопасности¹¹. Кроме того, разрешалось получать от заключенных через тюремную администрацию, от подследственных — через следственные подразделения Государственного политического управления информацию о нуждах; принимать заявления от арестованных и их родственников; организовывать концерты, спектакли, принимать пожертвования; производить покупку, продажу, обмен для получения денежных средств; иметь технический аппарат, помещение, склады, бланки и печать следующего содержания: Е. П. Пешкова. «Помощь политическим заключенным». Екатерина Павловна могла лично встречаться с уполномоченным представителем ГПУ для передачи запросов и получения ответов, направлять в места лишения свободы передачи и деньги как от себя, так и от родственников осужденных. По всем

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭСЛАВЯНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭСЛАВЯНСКАЯ

М. К. В. Д.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

80/1 - 5291/с 3

МОСКВА, В. Лужанка, 2

Тел.: Г. П. У. коммутор.

№ 10
Ст. 192 с.



41
При ответе сослаться на №. число и Статью
Отдел Секретариат Коллегии ГПУ.

УДОСТОВЕРЕНИЕ.

Настоящим Г.П.У. удостоверяет, что Е.П. ПЕШКОВОЙ разрешается:

а/посещение тюрем и других мест заключения где содержатся числящиеся за Г.П.У., для получения от Администрации мест заключения сведений о нуждающихся полит. заключенных.

б/Передача политическим заключенным продуктов, одежды, белья и денег от себя и от родственников;

в/Прием заявлений от заключенных.

В пределах указанных выше, ГПУ предлагает оказывать Е.П. ПЕШКОВОЙ содействие.

ЗАМРЕД ГПУ
/УНШЛИХТ/

перечисленным вопросам И. С. Уншлихт рекомендовал оказывать Пешковой содействие. Тогда же Екатерина Павловна получила удостоверение секретариата коллегии ГПУ, по которому помещения в доме № 16 по улице Кузнецкий мост, занимаемые прежде бывшим московским Политическим Красным Крестом, со всем имуществом передавались вновь созданной организации. 30 января 1923 г. секретариат коллегии ГПУ разрешил Пешковой посещать места заключения органов госбезопасности, принимать заявления, передавать заключенным продукты, деньги, одежду и белье¹².

«Это было своего рода справочное бюро, — пишет в автобиографической книге князь С. М. Голицын, — а самое главное — там утешали. Ошеломленные, не понимающие, за что и почему неожиданно обрушилось на их семью горе, жены и матери арестованных, прослышав от других, таких же несчастных жен и матерей о существовании Политического Красного Креста, шли сюда. После равнодушия и черствости в прокуратуре, при передачах в Бутырской тюрьме они получали здесь теплое слово, слово утешения, слово надежды и даже, они сознавали это, слово сочувствия. Они выходили отсюда успокоенные, подбодренные. Помогали ли здесь? В некоторых случаях да, удавалось смягчать приговоры. В случаях явного произвола Пешкова активно вмешивалась и спасала... людей»¹³. До 200 посетителей в день принимали сотрудники «Помощи политзаключенным». Штат насчитывал 11 служащих. Заведующая хозяйственной частью — Вера Григорьевна Ман, принята на работу 1 мая 1924 г.; заведующая экспедицией и картотекой — Елена Владимировна Линденфельд, в этой должности с 1 апреля 1930 г.; бухгалтер — Илья Лазаревич Юделевич, с 20 марта 1931 г.; секретарь — Вера Антоновна Перес, с 1 июля 1924 г.; одной из двух, положенных по штату, машинисток была Ольга Владимировна Добросовестная, работавшая в организации с 12 мая 1931 г. «Старейшим» сотрудником была Дарья Кузьминична Градская, принятая на должность курьера 19 июля 1919 г. в московский Политический Красный Крест, перешедшая в том же качестве к Пешковой в ноябре 1922 г.¹⁴. Именно Дарья Кузьминична ездила в отдел передач ОГПУ и полномочного представителя ОГПУ по Московской области (с 1934 г. отдел передач НКВД и управление НКВД СССР по Московской области), передавая по накладным и спискам организации деньги и передачи заключенным. У всех вышепо-

именованных сотрудников стоит одна дата и причина увольнения — 15 июля 1938 г. в связи с ликвидацией Помполита.

К сожалению, в фонде Помполита отсутствуют материалы, которые могли бы пролить свет на источники финансирования этой организации с конца 20-х годов, нет также никаких документов, относящихся к ее ликвидации. По всей видимости, в ГА РФ хранятся не все документы. К примеру, отсутствует картотека на лиц, получавших помощь от Помполита. Однако по штатному расписанию, как сказано выше, Е. В. Линденфельд вела картотеку.

Просьбы о помощи продолжали поступать. В записке связистам от 28 октября 1938 г. Екатерина Павловна пишет: «Ввиду ликвидации «Помощи политзаключенным» мною уже дважды поданы на московский почтамт заявления с просьбой возвращать отправителям корреспонденцию, адресованную на Кузнецкий мост, 24, кв. 7... Несмотря на это, письма после нескольких дней промежутка вновь доставляются ко мне на дом. Прошу дать соответствующие указания, чтобы упомянутую корреспонденцию не доставляли по адресу моей личной квартиры» (Машков переулок, д. 1а, кв. 16)¹⁵.

Введение в научный оборот документальных материалов, ранее закрытых для исследователей, позволяет воссоздать более или менее объективную картину общественно-политической жизни Российской Федерации 20-х — начала 30-х годов. По-новому осветить роль интеллигенции в условиях «обоюдного озверения» гражданской войны, значимость общечеловеческих ценностей в один из самых драматических периодов отечественной истории.

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ:

¹ Марков О. (Левин М. Р.). Екатерина Павловна Пешкова и ее помощь политзаключенным // Память: Исторический сборник. Вып. 1. Нью-Йорк, 1978, с. 313 — 324; Минин Дм. (Бацер Д. М.). Еще о Политическом Красном Кресте // Там же. Вып. 3. Париж, 1980, с. 523 — 538; Книпер А. В. Фрагменты воспоминаний // Публикация К. Громова и С. Боголепова (И. К. Сафонова и Ф. Ф. Перченка) // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 1, М., 1990, с. 142 — 151, 183 — 190 и др.

² ГАРФ, ф. 8419, оп. 1, д. 1, л. 1.

³ Устав московского общества Красного Креста для помощи политическим заключенным (Политический Красный Крест). Там же, л. 19 — 28.

⁴ Там же, д. 48, л. 10, 11.

⁵ Там же, д. 369, л. 4; д. 54, л. 1.

⁶ Там же, д. 369, л. 6.

- ⁷ Лацис М. И. Красный террор //Красный террор, Казань, 1918, № 1.
- ⁸ ГАРФ, ф. 8419, оп. 1, д. 369, л. 17.
- ⁹ Там же, д. 48, л. 7 — 7об.
- ¹⁰ Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства РСФСР, 1922, № 49, ст. 622, 623.
- ¹¹ ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 11, л. 1.
- ¹² ГАРФ, 8409, оп. 1, д. 11, л. 1, 3, 5 — 5об, 6, 7, 9, 11.
- ¹³ С. М. Голицын. Записки уцелевшего //Дружба народов, 1990, № 3, с. 124.
- ¹⁴ ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 1694, л. 3, 7, 9, 11, 12, 14.
- ¹⁵ ГАРФ, ф. 8409, оп. 1, д. 1694, л. 27.

**Список членов Московского общества Красного Креста
для помощи политическим заключенным
(Политический Красный Крест) по состоянию на 1918 год***

Члены-учредители:

1. Вересаев Викентий Викентьевич — литератор.
2. Пешкова Екатерина Павловна.
3. Левинсон Александр Борисович — присяжный поверенный.
4. Броннер Вольф Моисеевич — врач.
5. Броннер Елена Борисовна.
6. Муравьев Николай Константинович — потомственный дворянин, присяжный поверенный.
7. Муравьева Екатерина Ивановна.
8. Винавер Михаил Львович — инженер-техник.
9. Хлынова Лидия Исаевна.
10. Ховрин Александр Александрович.
11. Мухин Николай Леонтьевич.
12. Позина.
13. Цейтлин Мария Соломоновна.
14. Гедеоновская Екатерина Михайловна — стенограф.
15. Малянтович Владимир Николаевич — присяжный поверенный.
16. Перес Антон Иванович — присяжный поверенный.
17. Перес Варвара Ноевна — жена присяжного поверенного.
18. Тагер Александр Семенович — помощник присяжного поверенного.
19. Розенталь Леопольд Людвигович — помощник присяжного поверенного.

* В оригинале приведены все адреса и номера телефонов членов общества (прим. редакции).

20. Гавронская Любовь Сергеевна — Московское общество пособия бедным евреям.

21. Кропоткин Петр Алексеевич — князь, теоретик анархизма.

22. Муромцев Дмитрий Николаевич — потомственный дворянин, коллежский советник, мировой судья.

23. Кускова Екатерина Дмитриевна — член Московского отделения Императорского русского технического общества.

24. Беркенгейм Александр Моисеевич.

25. Студенецкий Сергей Александрович — казначей об-ва для удовлетворения квартирных нужд служащих при Моск. Гор. управе.

26. Петлин Николай Философ<ович>.

27. Батырева Елена Исидоровна.

28. Шацкий Станислав Феофилович.

29. Астров Николай Иванович — коллежский советник, гласный Моск. городской думы.

30. Трайнин Аарон Наумович — помощник присяжного поверенного.

31. Сопикова.

32. Ростковский Евгений Павлович.

33. Либсон Яков Николаевич — присяжный стряпчий Моск. коммер. суда; помощник присяжного поверенного.

34. Гисен Марианна (Марьяна) Борисовна.

35. Филатьев Георгий Викторович — присяжный поверенный, присяжный стряпчий.

36. Филатьева Инна Степановна.

37. Метакса Спиридон Васильевич — присяжный поверенный.

38. Гоптарев Ефим Алексеевич.

39. Бах Александр Николаевич — народоволец, ученый.

40. Селюк Мария Флоровна.

41. Болотин Михаил Леонтьевич.

42. Меринг Берта Борисовна.

43. Мебель Михаил Абрамович — присяжный поверенный.

44. Минор Анастасия Наумовна.

45. Минор Осип Соломонович — член Учредительного собрания, редактор газеты «Труд».

46. Вырубов Василий Васильевич.

47. Панина Софья Владимировна — графиня, благотворительница.

48. Куприянова Лидия Петровна.

49. Николаев Михаил Константинович.

50. Полянский Николай Николаевич — профессор, почетный мировой судья.

51. Година Мария Львовна — зубной врач.

**Члены юридической комиссии при Московском Политическом
Красном Кресте, утвержденные действительными членами
постановлением Комитета от 9/22 апреля 1918 года**

52. Авраамов Василий Иоакимович — присяжный поверенный.

53. Айзенман Семен Борисович — присяжный поверенный.

54. Берлянд Юрий Григорьевич.

55. Бурзи Александр Эрнестович — присяжный поверенный.

56. Богданов Михаил Иванович — присяжный поверенный.

57. Всесвятский Петр Васильевич — помощник присяжного поверенного, мужская гимназия Д. А. Лебедева.

58. Годин Абрам Дмитриевич — присяжный поверенный.

59. Гольдман Михаил Юрьевич — помощник присяжного поверенного.

60. Долматовский Аарон Моисеевич — помощник присяжного поверенного.

61. Ильинский Игорь Владимирович — потомственный дворянин, присяжный поверенный.

62. Подгорный Борис Афанасьевич.

63. Паткин Аарон Лазаревич — помощник присяжного поверенного.

64. Ратнер Борис Ефимович — помощник присяжного поверенного.

65. Рапопорт Александр Юрьевич — помощник присяжного поверенного.

66. Розенблюм Александр Борисович — присяжный поверенный.

67. Симсон Сергей Павлович — потомственный дворянин, присяжный поверенный.

68. Тесленко Николай Васильевич — дворянин, присяжный поверенный.

69. Фальковский Евгений Адамович — присяжный поверенный.

70. Цетлин Гораций Львович.

**Члены хозяйственной комиссии при Политическом
Красном Кресте, утвержденные действительными членами
постановлением Комитета от 9/22 апреля 1918 г.**

71. Борейша.
72. Боренштейн Матимда <Матильда> Моисеевна.
73. Боброва Вера Михайловна.
74. Елинер Любовь Ефимовна — жена помощника присяжного поверенного.
75. Левашкевич Янина Александровна — жена присяжного поверенного (Евелина Александровна).
76. Лидова Елизавета Сазоновна — жена присяжного поверенного.
77. Ман Вера Григорьевна.

**Члены медицинской комиссии при Московском Политическом
Красном Кресте, утвержденные действительными членами
постановлением Комитета от 22/9 апреля 1918 года**

78. Бартяев Сергей Иванович — врач.
79. Бобович Анна Моисеевна — врач.
80. Бунин Иван Андреевич — коллежский ассессор, врач.
81. Гинзбург Роза Львовна — врач.
82. Карасик Ефим Алексеевич.
83. Крупников Давид Петрович — врач.
84. Ландау — врач.
85. Лункевич — врач.

**Члены, принятые на Общем собрании
Политического Красного Креста 11/24 апреля 1918 года**

86. Иорданский Николай Михайлович (от партии к.-д.).
87. Цетлин Лев Соломонович (от партии с.-д. меньшевиков).

Члены, принятые Комитетом от 30/13 мая 1918 года

88. Нольде Дмитрий Александрович.
89. Позняков Алексей Владимирович.
90. Водо Нина Николаевна.

Члены, принятые Комитетом от 3 июня н.с. 1918 года

91. Хорошко Мария Ивановна — жена врача, доктора медицины Василия Конст. Хорошко.
92. Якубович Евгения Соломоновна.
93. Лупц Генриетта Петровна.
94. Токарева Лидия Сазоновна.

Члены, принятые Комитетом от 10 июня 1918 года

95. Перский Яков Григорьевич — присяжный поверенный.
96. Бах Александра Александровна.
97. Бунин Юлий Алексеевич — дворянин, литератор.
98. Юрьева Евдокия Васильевна — вдова надворного советника.
99. Коссовский Максим Ильич — присяжный поверенный.
100. Сабсович Гавриил Рафаилович — помощник присяжного поверенного.
101. Червен-Водали Александр Александрович.
102. Зернов Борис Дмитриевич.
103. Зернова Ольга Абрамовна.

Члены, принятые Комитетом от 17 июня 1918 года

104. Якулов Яков Богданович — присяжный поверенный.
105. Перкаль Наум Исаевич.
106. Оцеп Матвей Александрович — помощник присяжного поверенного.
107. Малянтович Мария Викторовна — жена присяжного поверенного.
108. Белобородов Леонтий Яковлевич — врач.
109. Брио Борис Петрович.
110. Гуревич Соломон Александрович.
111. Кжкевич Елена Александровна.
112. Корженевский Петр Иванович — присяжный поверенный.
113. Челищев Виктор Николаевич — статский советник, мировой судья.
114. Андреев Николай Николаевич — коллежский советник, мировой судья.
115. Шевелкин Владимир Иванович — надворный советник, мировой судья по делам несовершеннолетних.

116. Черкезов Григорий Григорьевич — добавочный мировой судья.

117. Якушкин Николай Вячеславович — добавочный мировой судья.

118. Шейман Иван Иванович — статский советник, мировой судья.

119. Языков Дмитрий Григорьевич — надворный советник, добавочный мировой судья.

120. Гернет Михаил Николаевич.

121. Рабинович Анна Савишна.

122. Иогансон Александр Александрович.

123. Белоруссов Алексей Александрович — пр. поверенный.

124. Барский — присяжный поверенный.

125. Динесман Иосиф Юлианович — помощник присяжного поверенного.

126. Левин.

Члены, принятые Комитетом от 26 июня 1918 года

127. Вербицкая Анастасия Александровна — жена титулярного советника.

128. Мытник Александра Александровна.

129. Шемякина Александра Поликарповна.

130. Кафьева Евпраксия Михайловна.

131. Луковникова Анна Григорьевна — жена купца Ефима Поликарповича Луковникова.

132. Флеров Яков Наумович.

133. Вышковская Бронислава Францевна.

134. Иванчина Вера Васильевна.

Члены, принятые Комитетом от 3 июля 1918 года

135. Гертенев Максим Платон. (Максимил. Плат.). — Моск. Столичн. добавочн. мировой судья.

136. Озеров Григорий Григорьевич — мировой судья.

137. Филатов Всеволод Нилович — коллежский асессор, мировой судья.

138. Мейнгард Георгий Александрович — статский советник, мировой судья.

139. Розен Яков Соломонович.

140. Капциовская Мария Семеновна.

Члены, принятые Комитетом от 10 июля 1918 года

141. Айзенштадт Мария Маврик.
142. Турмакин Роман Самойлович.
143. Файдыш Любовь Петровна — Моск. симфон. капелла.

Члены, принятые Комитетом:

от 24 июля 1918 года

144. Астраханцева Александра Матвеевна.

от 7 августа 1918 года

145. Занамская Мария Ильинишна.

от 14 августа 1918 года

146. Карелин Анатолий Андреевич.

от 29 августа 1918 года

147. Фейгина Софья Ароновна — дочь владельца книжного магазина «Образование».

148. Хрущева Лидия Николаевна.

от 11 сентября 1918 года

149. Виноградский <Виноградский> Михаил Николаевич.

150. Ильинский-Блюменау Александр Адольфович — артист, литератор.

151. Цирг Ольга Павловна.

152. Перес Наталья Антоновна — дочь присяжного поверенного.

от 18 сентября 1918 года

153. Балицкий Василий Васильевич — врач, директор лечебницы нервных болезней.

154. Бириштейн Авадий Давыд.

155. Верховский Глеб Алексеевич — врач.

156. Вакано Екатерина Николаевна.

157. Гартунс <Гартунг> Ольга Мефодиевна — жена присяжного поверенного.

158. Москвина Любовь Васильевна.

159. Хорошко Василий Константинович.

160. Чупров Иван Михайлович — доктор медицины, надворный советник.

от 25 сентября 1918 года

161. Балин Владимир Исаевич.

162. Бубнова Лидия Александровна — Моск. городск. дума.

163. Бартеньева Александра Ивановна.

164. Брюхатов Лев Дмитриевич — дворянин.

165. Владос Харлампий Харлампиевич.

166. Воинова Анна Николаевна.

167. Воскобойников Александр Александрович — присяжный поверенный.

168. Дерюжинский Петр Федорович — присяжный поверенный, юрисконс. Моск. Купеч. Банка.

169. Коновицер Ольга Ефимовна — дочь присяжного поверенного Евфимия Зинов.

170. Крестовский Владимир Всеволодович.

171. Кудрявцев Василий Михайлович.

172. Мирославлев Александр Алексеевич — врач.

173. Молодая Евгения Константиновна.

174. Мельгунова Прасковья Евгеньевна.

175. Мельгунов Сергей Петрович — дворянин, редактор-изд. журнала «Голос минувшего».

176. Деннер Екатерина Карловна.

177. Ермолаева Александра Сергеевна — дочь п.п.граж. < почетного потомственного гражданина >.

178. Леви Розалия Львовна.

179. Майя Анна Львовна.

180. Овсянникова Вера Викторовна — врач.

181. Огородников Николай Александрович.

182. Ордынский Сергей Павлович — присяжный поверенный.

183. Павлова Зинаида Павловна — дом. учительница.

184. Пасикова Антонина Николаевна.

185. Пенкославский Казимир Иосифович, врач.

186. Петрова Анна Павловна.

187. Преферансов Николай Николаевич — врач.

188. Ситковский Петр Порфирьевич — врач.

189. Тагунова Александра Ивановна.

190. Терешкович Николай Миронович — помощник присяжного поверенного.
191. Троицкий Сергей Александрович — врач.
192. Хераскова Екатерина Павловна — дочь статского советника, судебного следователя Павла Михайловича Хераскова.
193. Хитров Михаил Сергеевич — врач.
194. Шмакова Мария Ивановна.
195. Шполянская Надежда Николаевна — зубной врач.
196. Штейнберг Аким Исаакович.
197. Чехова Мария Александровна — содержательница женской гимназии, лектор Моск. женск. педагогических курсов.
198. Яроцкий-Чекин Василий Яковлевич.

от 2 октября 1918 года

199. Левашкевич Альберт Анастасиевич.
200. Хрущов Александр Григорьевич.

от 9 октября 1918 года

201. Диатроптов Петр Николаевич — врач.
202. Домбровский Иосиф Витальевич — присяжный поверенный.
203. Лебедева Вера Дмитриевна.
204. Кашенко Петр Петрович — врач.
205. Мартынов Алексей Васильевич — коллежский советник, доктор медицины, профессор Моск. университета.
206. Немчинова Стефани Петровна.
207. Немчинова Софья Владимировна.
208. Работнов Леонид Дмитриевич — врач.
209. Страхова Любовь Федоровна.
210. Фейт Анна Николаевна.
211. Фридлиндер Рафаил Григорьевич — инженер-техник.

от 23 октября 1918 года

212. Гавронский Борис Осипович.
213. Родионова Ольга Сергеевна.
214. Липаева Мария Андреевна.
215. Медведков Виталий Николаевич.
216. Петрункевич Александра Михайловна.

217. Шлезингер Николай Карлович — п.п.гр. < почетный потомственный гражданин >, доверенный об-ва русских трубопрокатных заводов.

218. Батанова Анна Ивановна.

219. Жилкин Иван Васильевич.

от 13 ноября 1918 года

220. Кальмеер Иосиф Семенович — присяжный поверенный.

221. Пиланковская Юлия Павловна.

от 20 ноября 1918 года

222. Зернова Ольга Алексеевна — учительница.

223. Курносова Ольга Яковлевна — Бутырское 5-е им. Н.В.Гоголя городское училище.

от 6 декабря 1918 года

224. Спиро Раиса Исадоровна.

225. Чернов Николай Федорович — директор торгово-промышленного т-ва Т. И. Гаген.

226. Ярмолаевич Александра Федоровна.

ИСТОЧНИКИ:

ГАРФ, ф. 8419, оп. 1, д. 67, л. 1—5 с оборотами, оригинал, чернила.

«Вся Москва» на 1917 год. Адресная и справочная книга гор. Москвы. Издание товарищества А. С. Суворина — «Новое время», Москва, Городская типография, 1917.

Никита Заболоцкий

ДЕЛО Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО

Документы и письма

На общем фоне несчетных жертв и исковерканных судеб участь Николая Алексеевича Заболоцкого (1903 — 1958) не кажется самой трагической. Он получил «всего лишь» пять лет лагерей — меньше по 58-й статье не давали. Правда, эти пять лет растянулись до шести с половиной да еще добавилось полтора года по существу принудительной работы при лагере. После всего перенесенного в заключении он остался живым, в частности, и потому, что не попал на предназначенную ему первоначально Колыму, большую часть срока проработал не на общих работах, а чертежником при строительном управлении лагеря. Судьба уберегла его от ножа уголовника и пули охранника, в первые дни войны вытащила из партии заключенных, потопленных на барже в волнах Амура.

Но сверхчеловеческое напряжение на допросах, которая работа, скудное питание, постоянное сопротивление тлетворному влиянию тюрьмы и лагерей — все это подорвало здоровье, изранило душу, укоротило жизнь. В письмах жене Заболоцкий писал: «Может быть, мы и будем вместе, и отдохнем, и детей вырастим, но душа моя так незаслуженно, так ужасно ужалена на веки веков».

Мы публикуем ряд документов из дела по обвинению Заболоцкого, письма его товарища по заключению Татосова и два стихотворения Николая Алексеевича.

Документы демонстрируют действие огромного равнодушного бюрократического механизма, перемалывающего судьбы людей. Как это ни странно, в материалах дела просматривается не только произвол, но и выполнение репрессивными органами предусмотренных законом формальных юридических процедур. Однако, даже когда соблюдалась видимость законности, сотрудники НКВД с легкостью поворачивали дело в нужную им сторону.

В деле была особенность, выделяющая его из ряда подобных дел того времени. Контрреволюционная органи-

зация, в которую якобы входил Заболоцкий, по версии НКВД, возглавлялась поэтом Н. С. Тихоновым. Но этот «глава заговора» не только не был арестован, но и вскоре награжден орденом Ленина, а в 1944 — 1946 годах руководил Союзом писателей СССР. Так что концепция обвинения страдала, мягко говоря, непоследовательностью, что, казалось бы, должно было упростить хлопоты жены и друзей о пересмотре дела Заболоцкого. Но и до лета 1939 г., когда еще не было известно, в чем обвиняется Николай Алексеевич, уже делались первые попытки облегчить его положение. Сразу после его ареста, отбросив опасения за собственную судьбу, стали писать в разные инстанции В. А. Десницкий и М. М. Зощенко, помогали его семье А. И. Гитович, Н. Л. Степанов, И. Н. и Б. В. Томашевские, Е. Л. и Е. И. Шварцы... Из публикуемых документов видно, что целый ряд известных деятелей литературы подключился к хлопотам за невиновного поэта. И это происходило в то время, когда, как пишет Н. Л. Степанов, «каждый, как мог, отпихивался, отстранялся от таких дел».

Представленные здесь документы свидетельствуют также о том, что и после освобождения из неволи Заболоцкого не оставили в покое — большого труда стоило ему получить разрешение жить в Москве. За ним установили «агентурное наблюдение», в 1951 г. пытались выслать из Москвы... Добавим, что лишь немногие его оригинальные произведения пробивались в печать сквозь редакционные и цензурные ограничения, особенно до 1956 г. Все это не могло не сказаться на душевном самочувствии поэта и на его творчестве.

Знакомясь с письмами Н. А. Заболоцкого и Г. Г. Татосова, читатель почувствует не только атмосферу лагерной жизни, но и крепость тех дружеских уз, которыми лагерь спаивал заключенных-единомышленников. Однако до 1956 г. Заболоцкий и его освободившиеся из лагерей товарищи избегали тесного общения, не без оснований полагая, что их связи могут быть использованы для новых обвинений и репрессий.

В свете публикуемых здесь материалов открываются новые грани поэзии Заболоцкого.

ДОКУМЕНТЫ ИЗ СЛЕДСТВЕННОГО ДЕЛА
Н. А. ЗАБОЛОЦКОГО

Протокол допроса

1938 г. марта месяца 20 дня. Я, пом. нач. 10 отд. IV отдела мл. лейтенант ГБ Лупандин, допросил в качестве обвиняемого

1. Заболоцкий
2. Николай Алексеевич
3. Дата рождения: 1903
4. Место рождения г. Казань
5. Место жительства Канал Грибоедова, 9, кв. 45
6. Русский, гр-н СССР
7. Паспорт отобран при обыске
8. Литератор, член Союза советских писателей
9. Сын служащего, агронома
10. Социальное положение а) до революции жил с родителями
б) после революции учащийся и литератор
11. Женат; жена Заболоцкая Екатерина Васильевна 1906 г. р., б/п, дом. хозяйка, сын Никита 6 лет, дочь Наталья 11 мес. Отец и мать умерли, брат Заболоцкий Алексей Алексеевич — научн. сотр. Петергофского биологического института
12. Образование высшее. Окончил Педагогический ин-т им. Герцена в 1925 г.
13. В партиях не состоял
14. Нет. Нет
15. Грамота ЦИК'а Грузии
16. Категория воинского учета — в запасе, командир взвода
17. Служба в Красной Армии с 1926 по 1927 — одногодичник
18. Не служил
19. Не участвовал
20. Не ведет

**Показания обвиняемого Заболоцкого Николая Алексеевича
20 марта 1938 г.**

Вопрос: Вы арестованы как участник антисоветской организации. Следствие предлагает вам дать полные и правдивые показания по этому вопросу.

Ответ: К антисоветской организации я не принадлежал, и о существовании таковой мне не известно.

Вопрос: Это неверно. Располагаем достоверными данными о том, что вы с группой своих политических единомышленников вели активную антисоветскую деятельность.

Ответ: Никакой антисоветской деятельностью я не занимался.

Вопрос: Вы напрасно запираетесь. Учтите, что ваши единомышленники арестованы и дают показания, изобличающие вас как участника антисоветской организации, в составе которой вы вели преступную деятельность. Будете говорить правду?

Ответ: Я это отрицаю. К контрреволюционным организациям я никогда не принадлежал.

Записано с моих слов верно и мною лично прочитано.
Н. Заболоцкий (подпись).

Допросил пом. нач. 10 отделения IV отдела УГБ
мл. лейтенант гос. без. Лупандин (подпись)

Заключение

о психическом состоянии следственного заключенного Заболоцкого Николая Алексеевича, 35 лет, находившегося на испытании в Отделении Судебно-Психиатрической Экспертизы с 23/III по 2/IV-38 г.

Сведения со слов испытуемого: <...> В себе Заболоцкий подчеркивает своеобразные реакции на неожиданности, также неприятности — «все обрывается, ошеломляешься». Как особенность отмечает за собой чрезмерно развитое зрительное воображение. <...>

Развитие данной болезни (анамнез Морби): Арестован 19 марта при полном здоровье. Последующие ряд суток был взволнован, почти не спал, мало ел, начал ощущать острое умственное истощение, сосредотачивался с трудом. Наряду с душевным напряжением чувствовал необычные физические ощущения теплых волн от ног к груди, подкатывания спазмов к глотке, оттягивания головы назад, онемение конечностей, наплывающие рыдания. Отвлекался от тягостных ощущений причинением себе боли, укусом, например, себе пальца, также уклонением в воспоминания о семье, представлял их ярко в воображении, либо всматриваясь в очертания паркета, черточек и теней на стене

(иллюзорно). Углубившись, чувствовал даже присутствие дочери, мысленно развертывал все поведение ее. Чтоб не очнуться, избегал смотреть на следователя. В своем сознании чувствовал какое-то раздвоение — переживал счастье, поглощенный домашними сценами, с другой стороны, понимал, «что все видимо — подобие сна, а явь ужаснее». Ловил себя на смешении и отождествлении истинных фактов и кажущихся, так, записи протоколов принимал за собственную служебную переписку, представлял себя на службе, и одновременно мелькало, что он в заключении и слышит выкрикивания по фамилии заключенных в коридоре. В случае засыпания виделись кошмары вроде заключения в каменный мешок, под морское дно и т.п.

Психическое состояние: Прибыл Заболоцкий в Судебно-Психиатрическое отделение 23 марта, в первые часы отмечалось приподнятое состояние, ослабленное самообладание — много говорил, касался интимности ближайших переживаний. Легко, с чувством воспроизводил воспоминания о семье, которые смягчали его душевное состояние. Ориентировка в текущем и своем положении сохранена была полностью, с резкой чувственной реакцией на это. Первую ночь спал мало, с просыпаниями.

В дальнейшем Заболоцкий вял, подавлен, что постепенно сменилось обычным тонусом — стал общаться, много занят своим здоровьем, заинтересован испытанием, причем сомневается, что врачи хорошо постигнут его болезнь, мнительно предсказывает себе повторение психотических вспышек.

Никаких чувственных обманов, также извращенных восприятий, бредовых толкований за период испытания у Заболоцкого не наблюдалось. Припадков не было.

Физическое состояние: При поступлении обнаружены довольно обширные кровоподтеки — на левой ягодице, у правого соска, на правом предплечье. Менее крупные и не первой свежести — рассеяны у кисти и рук, кое-где по телу и у левого глаза. Видимых признаков перелома костей не обнаружено. Во внутренних органах без особых отклонений. Пульс подвижный, хорошего наполнения. Неврологических симптомов со стороны нервной системы не имеется, функционально рефлексy повышены, кожные сосуды возбудимы умеренно. Кожно-болевая чувствительность несколько на туловище обострена.

Заключение. Основываясь на изложенном, экспертиза заключает: Заболоцкий Н. А. перенес острое психотическое состояние по типу реакции с перемежающимся сумеречным изменением сознания. В настоящее время Заболоцкий Н. А. душевно здоров

и вменяем. Проявляет черты невропатии. В период правонарушения Заболоцкий Н. А. был также здоров и вменяем.

Зав. отделением эксперт-психиатр д-р Келлчевская

Ординатор отделения

эксперты-психиатры д-р Пуятюва
д-р Гонтарев

2.04.38 г.

Протокол допроса

**Показания обвиняемого Заболоцкого Николая Алексеевича
22 июня 1938 г.**

Вопрос: На предыдущих допросах вы не дали показаний в своей антисоветской деятельности. Предлагаем вам прекратить заперательство и дать исчерпывающие показания о своей антисоветской деятельности.

Ответ: Никакой антисоветской деятельностью я не занимался.

Вопрос: Вы даете неправильные показания. Следствию известна ваша принадлежность к антисоветской группе правых, существующей среди писателей г. Ленинграда. Признаете вы это?

Ответ: Нет, отрицаю. Ни к какой антисоветской группе я никогда не принадлежал и о существовании такой группы ничего не знаю.

Вопрос: Вам известна Тагер Е. М.

Ответ: Да, писательницу Тагер Е. М. я знаю. Живем мы с ней в одном доме. Близкого знакомства я с ней не имел.

Вопрос: Тагер Е. М. на допросе от 11 июня 38 года о вашей антисоветской деятельности показала: «Вокруг Тихонова Н. С. примерно с 1931 года группировались антисоветски настроенные писатели: Заболоцкий Н. А., Корнилов Б. П. (перечисляет). Тихонов и его группа пользовались большим вниманием и поддержкой Бухарина... В своей контрреволюционной деятельности группа имела отчетливо правое направление. Произведения ее

участников имели контрреволюционный кулацкий характер». Вы и после этого будете отрицать свою контрреволюционную деятельность?

Ответ: Мои литературные произведения «Столбцы» и «Торжество земледелия» действительно являются формалистическими. В этом я признаю свою политическую ошибку, о чем я заявлял в своих выступлениях устных и печатных. Но еще раз заявляю, что ни в какой антисоветской организации я не состоял. Общение с Тихоновым у меня было чисто деловым по литературным вопросам.

Вопрос: Вы вновь пытаетесь скрыть свою антисоветскую деятельность. На том же допросе Тагер показала: «Тихонов всячески продвигал в литературу Заболоцкого Н. А. — автора ряда антисоветских произведений. После провала «Торжества земледелия» Заболоцкого Тихонов Н. С. и другие участники нашей антисоветской организации немедленно приняли меры к его реабилитации, объявив о «неудаче» Заболоцкого. В спешном порядке были организованы покаянные выступления Заболоцкого». Рекомендуем вам прекратить попытки заpiresательства и рассказать следствию о своей преступной деятельности.

Ответ: Я выступал с признанием своих политических ошибок через три года после опубликования «Торжества земледелия», на дискуссии о формализме в 1936 году. Никто к этому выступлению меня не понуждал, выступал я по собственной инициативе. Со стороны Тихонова в части продвижения меня в литературу я никаких попыток не чувствовал.

Вопрос: Лившица Бенедикта Константиновича вы знаете?

Ответ: Да, литератора и переводчика Лившица Бенедикта Константиновича я знаю. Мое знакомство было поверхностным.

Вопрос: Лившиц Б. К. на допросе 11 января 38 года о вашей антисоветской деятельности показал: «Мы проводили контрреволюционную агитацию в основном двумя путями: в печати и путем устных высказываний. В ленинградских журналах печатаются контрреволюционные произведения Корнилова, Заболоцкого и других участников организации... Мы искусственно привлекаем внимание к творчеству таких писателей, как... Корнилов, Ку克林, Тагер, Заболоцкий, являвшихся участниками организации. Их произведения, глубоко враждебные всему подлинно советскому, поднимались нами на щит». Прекратите заpiresательство и дайте исчерпывающие показания о вашей антисоветской деятельности.

Ответ: Еще раз заявляю, что участником какой бы то ни было контрреволюционной организации я не был и о существовании таковой ничего не знал.

Ответы с моих слов записаны правильно и мною лично прочитаны. — Н. Заболоцкий (подпись).

Допросил пом. нач. 10 отд. IV отдела УГБ мл. лейтенант государственной безопасности — Лупандин (подпись).

Б. К. Лившиц (1886 — 1938) был арестован 26 октября 1937 г. и на допросе 27 октября виновным себя не признал. Нужные следователям показания он подписал только 11 января 1938 г. и в том же году был расстрелян. Е. М. Тагер (1895 — 1964) была арестована 20 марта 1938 г. До 11 июня свою вину она отрицала. На «дополнительном» (так в протоколе) допросе 11 июня 1938 г. она вынуждена была подписать показания, разоблачающие участников мифической контрреволюционной организации и подкрепляющие обвинения Б. К. Лившица, Н. А. Заболоцкого и других писателей. По отношению к Лившицу и Тагер на следствии, несомненно, применялись официально разрешенные так называемые «физические воздействия», то есть пытки.

Е. М. Тагер была приговорена к 10 годам ИТЛ. После повторного ареста при допросах в 1951 г. от своих показаний 1938 года она отказалась.

Допрашивавший Н. А. Заболоцкого и Е. М. Тагер палач с четырехклассным образованием Н. Н. Лупандин в августе 1938 г. был переведен на хозяйственную работу, а в 1949 г. — уволен на персональную пенсию союзного значения. Умер в 1977 г.

Н. В. ЛЕСЮЧЕВСКИЙ — ПО ЗАКАЗУ ОРГАНОВ НКВД

3 июля 1938 г.

О стихах Н. Заболоцкого¹

1.

Н. Заболоцкий вышел из группы так называемых «обэриутов» — реакционной группки, откровенно проповедовавшей безыдейность, бессмысленность в искусстве, неизменно превращавшей свои выступления в общественно-политический скандал. (В группу входили Н. Заболоцкий, А. Введенский, К. Вагинов, Д. Хармс и др.) Трюкачество и хулиганство «обэриутов» на трибуне имело лишь один смысл — реакционный протест против идейности, простоты и понятности в искусстве, против утверждавшихся в нашей стране норм общественного поведения.

Заболоцкого «обэриуты» объявляли «великим поэтом», которого «оценят потомки», который займет в истории место родоначальника новой поэзии.

2.

В 1929 г. в Издательстве писателей в Ленинграде вышла книжка стихов Заболоцкого «Столбцы». В этой книжке Заболоцкий дает искаженное через кривое зеркало «изображение» советского быта и людей. Это — страшный, уродливый быт, это — отвратительные, уродливые люди. Их только и видит Заболоцкий. Попытка представить это «изображение» как сатиру на старый быт являлась дешевой маскировкой. Ибо Заболоцкий, как сам он утверждал, писал о «новом быте». И он одинаково уродливо, одинаково издевательски изображает и советских служащих, и «дамочек», и красную казарму, и красноармейцев, и нашу молодежь. Вот, например, характеристика молодежи:

Потом пирует до отказа
В размахе жизни трудовой.
Гляди! Гляди! Он выпил квасу,
Он девок трогает рукой
И вдруг, шагая через стол,
Садится прямо в комсомол.

¹ Первая публикация: Ст. Лесневский — Литературная Россия. 1989, 10 марта.

Заболоцкий юродствует, кривляется, пытается этим прикрасить свою истинную позицию. Но позиция эта ясна — это позиция человека, враждебного советскому быту, советским людям, ненавидящего их, т.е. ненавидящего советский строй и активно борющегося против него средствами поэзии.

3.

В 1929 г. («Звезда № 10») и в 1933 г. («Звезда» № 2 и 3) были напечатаны куски из поэмы Заболоцкого «Торжество земледелия». Это — откровенное, наглое контрреволюционное «произведение». Это — мерзкий пасквиль на социализм, на колхозное строительство. Если принять во внимание, что первый отрывок из «Торжества земледелия» напечатан в год великого перелома, то особенно станет ясна субъективная, сознательная контрреволюционность автора поэмы, его активно враждебное выступление против социализма в один из острейших политических моментов.

Выписывать цитаты из «Торжества земледелия» не имеет, в сущности, смысла, так как вся поэма, от первой до последней строчки, — грязный пасквиль брызжущего слюной ненависти врага. Но все же для примера приведу две цитаты.

Вот «картина» коллективизированной деревни, «картина» «торжества земледелия»:

Повсюду разные занятия:
люди кучками сидят,
эти — шьют большие платья,
те — из трубочки дымят.
Один старик, сидя в овраге,
объясняет философию собаке;
другой, также — царь и бог
земледельческих орудий,
у коровы шупал груди
и худые кости ног.
Потом тихо составляет
идею точных молотилок
и коровам объясняет,
сердцем радостен и пылок.

А вот «итог» достижений социализма по Заболоцкому:

В хлеву свободу пел осел
достигнув полного ума.

Только заклятый враг социализма, бешено ненавидящий советскую действительность, советский народ, мог написать этот клеветнический, контрреволюционный, гнусный пасквиль.

4.

В последующие годы Заболоцкий декларировал отход от своих старых позиций, «перестройку». Не подлежит сомнению, что это была лишь маскировка притаившегося врага. В самом деле, разве можно было бы в 1937 г. опубликовать такие откровенно воинственно-контрреволюционные стихи, как «Торжество земледелия»? Теперь Заболоцкий пишет «иные» стихи. Он даже публикует оды в честь вождей. Но сколько в этих «одах», по существу, равнодушия, искусственного, мнимого «огня», т.е. лицемерия! А основными для Заболоцкого этих лет являются «пантеистические» стихи, в которых под видом «естествоиспытателя», наблюдающего природу, автор рисует полную ужаса, кошмарную, гнетущую картину мира советской страны.

У животных нет названия —
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье —
Их невидимый удел.

За «животными» без труда можно распознать людей, охваченных коллективизмом, людей социализма.

Или еще более откровенные строки:

Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.

На безднах мук сияют наши воды,
На безднах горя высятся леса!

(Из стихов, опубликованных в 1937 г. в «Литературном современнике» и затем вышедших отдельной книжкой в Ленгослитиздате.)

В 1937 г. при полной, активной поддержке Горелова Заболоцкий пытался опубликовать в «Звезде» стихотворение «Птицы». Это — несомненно, аллегорическое произведение. В нем рисуется (с мрачной физиологической детализацией) отвратительное кровавое пиршество птиц, пожирающих невинного голубка.



Николай Заболоцкий
Конец 30-х годов

Таким образом, «творчество» Заболоцкого является активной контрреволюционной борьбой против советского строя, против советского народа, против социализма.

Литературный критик (кандидат Союза советских писателей), заместитель отв. редактора журнала «Звезда» Н. Лесючевский

3/VI 38 г.

**Обвинительное заключение
по обвинению Заболоцкого Н. А. в преступлении,
предусмотренном ст. 58-10 и 58-11 УК**

«Утверждаю»
пом. нач. УНКВД по ЛО
майор Гос. безопасности: Хатеневер

31 июля 1938 г.

IV отделом УГБ УНКВД ЛО вскрыта и оперативно ликвидирована антисоветская троцкистско-правая организация среди писателей г. Ленинграда.

Организация создана в 1935 г. по прямым заданиям троцкистского центра в Париже на основе блока ранее существовавших антисоветских троцкистских и правых групп среди писателей.

Следствием установлено, что данная организация получала соответствующие задания от деятеля этого центра Кибальчича.

Материалами следствия установлено, что организация вела свою антисоветскую деятельность по линии воспитания в контрреволюционном духе молодых писателей, отрыва их от создания подлинно советских произведений, пропаганды контрреволюционных троцкистских установок в среде писателей. Ряд участников организации являются сторонниками террористических методов борьбы с Советской властью.

Следствием по делу обвин. Заболоцкого Николая Алексеевича установлено, что он входил в состав антисоветской правой группы данной организации с 1931 г.

Являлся автором антисоветских произведений, использованных троцкистско-правой организацией в своей контрреволюционной агитации.

Посещал сборища антисоветской группы и по заданию троцкистско-правой организации осуществлял организационно-политическую связь с грузинскими буржуазными националистами.

На основании изложенного **ОБВИНЯЕТСЯ:**

ЗАБОЛОЦКИЙ Николай Алексеевич, 1903 г.р.,
ур. г. Казани, сын агронома, русский, гр. СССР,
беспартийный, литератор, до ареста член Союза
советских писателей, проживает канал Грибоедова, 9,
кв. 45 —

в **ТОМ**, что являлся участником антисоветской троцкистско-правой организации и осуществлял ее связь с грузинскими буржуазными националистами. Являлся автором антисоветских произведений, использованных организацией в своей антисоветской агитации — т. е. в пр. пр. ст. 58-10 и 58-11 УК РСФСР.

ВИНОВНЫМ СЕБЯ НЕ ПРИЗНАЛ, но полностью изобличается показаниями **ЛИВШИЦА Б. К.** и **ТАГЕР**.

Настоящее следственное дело направить на рассмотрение Особого Сопещения при Наркоме Внутренних Дел СССР.

Пом нач 10 отд. IV отдела мл. лейтенант Лупандин

Нач 10 отд IV. отдела лейтенант ГБ Лотошев

«Согласен» нач IV отдела УГБ ст. лейтенант ГБ Гейман
(подписи)

СПРАВКА: Обв. Заболоцкий Н. А. содержится
в Лентюрье УГБ с 19 марта 1938 года.
Вещественных доказательств по делу нет.

Пом нач 10 отд. IV отдела
мл. лейтенант Лупандин (подпись)

Выписка из протокола

**Особого совещания при Народном комиссаре внутренних дел СССР
от 2 сентября 1938 г.**

Слушали: 245. Дело № 43838/ЛО — о Заболоцком Николае Алексеевиче, 1903 г. р.

Постановили: Заболоцкого Николая Алексеевича за к.-р. троцкистскую деятельность заключить в исправтрудлагерь сроком на ПЯТЬ лет, сч. срок с 19/III — 38 г. Дело сдать в архив.

Отв. секретарь Особого совещания — подпись.

На документе штамп с вписанным местом заключения — Колыма.

5 апреля 1940 г. Н. В. Лесючевский написал еще один донос — по поводу якобы предвзятого, необъективного характера пересмотра дела Заболоцкого в 1939 — 1940 г. Этот пересмотр был предпринят по заявлению заключенного поэта, которое он, минуя обычную процедуру подачи жалоб, сумел переслать жене. Заявление было подкреплено литературными характеристиками ряда авторитетных писателей и передано А. А. Фадеевым лично Прокурору СССР Панкратьеву, который и поручил перепроверить дело Ленинградской областной прокуратуре. В результате перепроверки, тщательно проведенной старшим следователем Ручкиным, Ленинградская областная прокуратура в письме от 26 января 1940 г. предложила Прокурору СССР «возбудить вопрос об отмене постановления Особого совещания при Наркоме Внутренних дел СССР от 2/IX — 38 г., которым Заболоцкий заключен в исправтрудлагерь на 5 лет».

Второй донос Лесючевского, написанный, по всей вероятности, тоже по заказу НКВД, дал формальное основание этой организации не менять положения заключенного Заболоцкого. С докладом можно познакомиться по публикации Е. В. Лунина в газете «Невский проспект», 1990 г., № 1 и 2.

В награду за верную службу в конце 40-х годов Н. В. Лесючевский был назначен директором издательства «Советский писатель» в Москве.

Е. В. ЗАБОЛОЦКАЯ — Л. П. БЕРИИ

Телеграмма. Весна 1940 г.

Москва НКВД т. Берия

По заявлению моего мужа поэта Заболоцкого Николая Алексеевича поддержанному писателями Фадеевым Зощенко Асеевым Чуковским Тихоновым Гитовичем Антокольским Фединым Тыняновым Каверинным Шкловским Катаевым Лозинским Прокуратура Союза седьмого сентября 1939 года начала пересмотр дела собрала материал и в апреле сорокового года передала Вам тчк Авторитетная комиссия Союза советских писателей по запросу Прокуратуры дала высокую оценку Заболоцкого как поэта и гражданина тчк Прошу Вас ускорить затянувшееся дело.

Заболоцкая Екатерина Ленинград канал Грибоедова 9 кв 18¹

Пом. ПРОКУРОРА
Союза Советских Социалистических
Республик
Москва
8.6.1940 г.

Секретно

Нач. Спецотдела т. Зотову

Возвращаю дело по обв. Заболоцкого. Тов. Панкратьев М. И. признал, что оснований к опротестованию постановл. Особого Сопсовещания — нет, и распорядился жалобу оставить без удовлетворения.

Подпись

¹ Когда семья арестованного Н. Заболоцкого в августе 1938 года получила разрешение вернуться из ссылки, ее квартира была уже занята. Литфонд выделил ей комнату в том же доме в коммунальной квартире № 18.

Е. В. ЗАБОЛОЦКАЯ — И. В. СТАЛИНУ

Штамп: Поступило 18 ноября 1940 в... ЦК ВКП(б).

Многоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Посылаю Вам тоненькую книжечку стихов Н. Заболоцкого. Отдельные строчки из этих стихотворений даже сейчас, когда Заболоцкий больше двух с половиной лет в заключении, читаются по радио, — так близки они нашей жизни.

Я умоляю Вас о внимании к делу поэта Заболоцкого. Больше года я ходатайствую о пересмотре дела Н. А. Заболоцкого и добиться пересмотра не могу. Материалы по делу переданы мною на имя г. Поскребышева, но никакого ответа я не имею.

Зная Вашу любовь и внимание ко всем людям, я решаюсь тревожить Вас и просить Вашей помощи.

Помогите мне вернуть сыну и маленькой дочери отца и снять с советского поэта позорное клеймо врага народа.

С глубоким уважением и любовью: Е. Заболоцкая (подпись)

Ленинград, канал Грибоедова дом 9, квартира 18
Екатерина Васильевна Заболоцкая.

Штамп: Секретариат НКВД СССР 20 ноября 1940...

«Утверждаю»
зам нач Управления НКГБ ЛО и ГОР
Капитан Государственной безопасности
Макаров (подпись). 6 мая 1941 г.

Заключение по арх. следделу № 43838 — 1938 года.

Город Ленинград, 5 мая 1941 г.

Я, пом. нач. след. части УНКГБ по г. Ленинграду лейтенант Государственной Безопасности Голованов, на основании приказа НКВД СССР № 0165 — 40 г., рассмотрев жалобу заключенного Заболоцкого Н. А. и проверив материалы арх. следдела № 43838 — 38 г., по которому постановлением Особого Сопещения НКВД СССР от 2/IX — 38 г. осужден к 5 г. ИТЛ —

Заболоцкий Николай Алексеевич, 1903 г. р., ур. г. Казани, русский, б/п, несудимый, из служащих, до ареста литератор, б. член Союза советских писателей, проживал в г. Ленинграде, кан. Грибоедова, д. 9, кв. 45,

44-029/63

СЕКРЕТНО

Министерство Государственной Безопасности СССР
Центральный архив

Подлежит возврату

в УГБ по Ленинградской области

ОБЩИЙ СЛЕДСТВЕННЫЙ ФОНД

Учтено в 1962 г. 43838-38

ДЕЛО по обвинению *Заболоцкого*
Николая Алексеевича

~~АРХ. № 507271~~

УПРАВЛЕНИЕ КГБ при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР
по ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П-63237 Дело в 2
Том № 1

АРХ. №-~~33767~~

~~33767~~

НАШЕЛ:

Заболоцкий Н. А. арестован 19/III — 38 г. б. IV Отд. Управления НКВД ЛО СССР как участник контрреволюционной организации правых, существовавшей среди писателей г. Ленинграда. Кроме того, Заболоцкий являлся автором ряда явно антисоветских произведений, использованных участниками контрреволюционной организации в своих враждебных целях.

В доказательство обвинения приняты показания осужденных за контрреволюционную деятельность Лившица и Тагер, которые, называя Заболоцкого как соучастника контрреволюционной группировки, приводят ряд фактов его антисоветской деятельности, в том числе и в области литературы.

Заболоцкий Н. А. на предварительном следствии виновным себя не признал.

Допрошенный в качестве свидетеля литературный критик Лесючевский такие произведения Заболоцкого, как «Торжество земледелия», книгу стихов «Столбцы» и др., — характеризует как контрреволюционные, выражающие борьбу Заболоцкого против советской действительности.

Дело Заболоцкого Н. А. после проведенной дополнительной проверки по линии Леноблпрокуратуры было доложено прокурору Союза ССР, который ходатайство Заболоцкого и представление прокурора Лен. области о пересмотре дела Заболоцкого оставил без удовлетворения.

Из имеющихся в Управлении НКГБ по г. Ленинграду материалов устанавливается следующее:

1. Заболоцкий имел тесную связь с Лившицем и Тагер, которые изобличают его в принадлежности к контрреволюционной группировке, таким образом, утверждения Заболоцкого в его жалобах о том, что с Лившицем и Тагер он был знаком поверхностно, — опровергаются.

2. Заболоцкий совместно с Тагер (до ареста последней) оказывал активную поддержку семьям репрессированных за контрреволюционные преступления.

3. Арестованная в 1940 г. за проведение антисоветской агитации б. работник Детиздата Паперная Э. С. еще в 1937 г. в кругу работников заявляла, что Заболоцкий неискренний советский литератор. Его отдельные статьи в газетах есть не что иное, как издевательство и маскировка, что свои статьи Заболоцкий обсуждает совместно с Олейниковым, придавая им «надлежащую» форму (Олейников осужден к ВМН).

В силу изложенного и не находя оснований для пересмотра дела Заболоцкого, —

ПОЛАГАЛ БЫ:

1. Ходатайство Заболоцкого Николая Алексеевича о пересмотре решения Особого Совещания НКВД СССР оставить без удовлетворения.
2. Настоящее Заключение вместе с делом Заболоцкого Н. А. через II Отдел УНКГБ ЛО направить в Особое Совещание НКВД СССР.

Пом нач след. части УНКГБ гор. Ленинграда
Лейтенант Государственной Безопасности Голованов
(подпись)

«Согласен» зам нач след. части УНКГБ г. Ленинграда
старший лейтенант Гос. Безопасности Хорсун (подпись)

СПРАВКА: I. Заболоцкий Н. А. отбывает наказание в
Востоклаге НКВД. Гор. Комсомольск-на-Амуре.

Пом нач след. части УНКГБ гор. Ленинграда
лейтенант Гос. Безопасности Голованов (подпись)

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ — В ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ

В Особое Совещание НКВД СССР, г. Москва.

<17 февраля 1944 г.>

з/к Заболоцкого Николая Алексеевича, бывш. члена Союза Советских Писателей (Ленинград), арестованного 19.03.1938 г., осужденного Особым Совещанием НКВД к 5 годам заключения в ИТЛ по обвинению в КРТД (контрреволюционной троцкистской деятельности) и по окончании срока задержанного в лагерях в порядке директивы № 185 до окончания войны.

Заявление

I. КАК МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ, что в передовой стране мира человек, не совершивший никакого преступления, отсидел в лагерях положенные ему 5 лет и оставлен в заключении до конца войны? Ошибки судебных органов 1937—1938 гг. памятны всем. Частично они уже исправлены. Но все ли исправлено, что было необходимо исправить? Прошло уже 6 лет. Не пора ли заново пересмотреть некоторые дела, в том числе дело ленинградского поэта Заболоцкого? Он все еще жив и все еще не утерял веры в советское правосудие.

2. ЛИТЕРАТУРНАЯ ИСТОРИЯ

Вся моя сознательная жизнь была посвящена искусству, поэзии. Советская власть дала мне возможность получить высшее образование, стать культурным человеком. В 1929 г. в Ленинграде вышла первая книга моих стихов «Столбцы», которая была воспринята как явление в поэзии тех годов необычное. Был заложен первый камень, выработана литературная манера. Многочисленные критические отзывы поднимали дух и звали к большой работе. Этой работой явилась поэма «Торжество земледелия», написанная в 1929—30 гг. и напечатанная в 1933 г. в ленинградском журнале «Звезда» — поэма на тему о торжестве коллективизации, полная утопических мечтаний о золотом веке, когда возродится вся природа, руководимая свободным человечеством, когда исчезнет насилие не только человека над человеком, но и насилие человека над природой, уступив место добровольному и разумному сотрудничеству.

То, что произошло вслед за выходом этой поэмы, было для меня полной неожиданностью и большим ударом. Ц. О. «Правда» поместила резкую статью, в которой поэма расценивалась как враждебное, кулацкое произведение. Критика получила установку, грозные статьи последовали одна за другой. Оглушенный, я замолчал. Что случилось? Меня не поняли? Почему так извратили суть моей поэзии, весь дух моего произведения?

Должен признаться, что смысл происшедшего далеко не сразу был осознан мной. Я был твердо уверен, что нашел новое слово в искусстве. Уже многие мне подражали; на меня смотрели как на зачинателя новой школы. Большие писатели, авторитетные люди читали наизусть мои стихи. Менее всего я считал себя антисоветским человеком. Я осознавал свою

работу как обогащение молодой советской поэзии. И, несмотря на это, ц. о. партии отверг меня.

Книжные представления о том, что новое слово в искусстве не сразу признается, — еще довлели надо мной. И я решил ждать, ища сочувствия у окружающих. И не печатался до 1935 года.

Но постепенно смысл происшедшего выяснился для меня. В погоне за поэтической культурой я не избежал того, что в дальнейшем стало именоваться формализмом в искусстве. Изощренная форма заслонила в моей поэзии ясность ее содержания и дала повод к неправильному ее истолкованию. Способствовала этому и утопическая идея о возрождении природы, частично заимствованная мною у поэта-футуриста Хлебникова. Образовался разрыв между писателем и читателем. Нужно было ликвидировать его, сохранив основные особенности найденного стиля.

Это удалось мне сделать в 1935—37 гг. За эти годы я написал ряд новых стихов и поэм, из которых наибольшую известность получили «Горийская симфония», «Север», «Седов», «Прощание», напечатанные в «Известиях» и центральных литературных журналах.

В эти годы мои стихи вновь читаются артистами с эстрады, записываются на пластинках. В критике наступает перелом. Появляются серьезные критические работы, высоко оценивающие мои произведения. «Литературная газета» начинает широкую дискуссию о моих стихах. В 1936—37 гг. я провел большую работу по переводу «Витязя в тигровой шкуре» Руставели. ЦИК Грузии за этот перевод наградил меня грамотой и денежной премией. В эти годы я — участник всех писательских пленумов и активный работник Ленинградского отделения Союза Советских Писателей.

В расцвете творческих сил, преодолев формалистические тенденции прошлого, получив литературный опыт, я был полон новых больших замыслов. Начал стихотворный перевод «Слова о полку Игореве». Довел до половины историческую поэму из времен монгольского нашествия. Предстояла огромная работа по первому полному переводу Фирдоуси «Шах-Намэ».

3. В ЧЕМ МЕНЯ ОБВИНИЛИ?

КРТД — контрреволюционная троцкистская деятельность — таково обвинение, свалившееся на мою голову, обвинение, позорную печать которого я ношу на себе уже около 6 лет.

Будто бы была в Ленинграде к<онтр>-р<еволюционная> писательская организация, вожаком которой был поэт Н. С. Тихонов. Вокруг него группировались некоторые, к этому времени уже арестованные писатели — Корнилов, Куклин, Лившиц, Тагер, Заболоцкий. В организации были «бухаринские настроения». Раздували авторитет друг друга. Печатали к<онтр>-р<еволюционные> произведения, напр<имер> «Торжество земледелия» Заболоцкого.

В этом роде будто бы дали показания Б. К. Лившиц и Е. М. Тагер, протокол допроса которых был частично зачитан мне на следствии. Оба «свидетеля» — люди для меня далекие, мало знакомые — только по Союзу Советских Писателей. Никаких личных счетов. Как будто бы порядочные люди. В чем дело? Что заставило их дать заведомо ложные показания (если они действительно их дали¹)? И почему, несмотря на мои неоднократные просьбы, мне не предоставили очной ставки с моими обвинителями?

4. О МЕТОДАХ СЛЕДСТВИЯ

Я, поэт Н. Заболоцкий, заключенный, имею основание считать умышленно неправильными и частично просто поддельными имеющиеся по моему делу документы, составленные в 1938 г. следствием Ленинградского НКВД, руководимого в то время Заковским и другими.

Сразу же после ареста я был подвергнут почти четырехсуточному непрерывному допросу (с 19 по 23 марта 1938 г.). Допрос сопровождался моральным и физическим издевательством, угрозами, побоями и закончился отправкой меня в больницу Судебной психиатрии — в состоянии полной психической невменяемости. В больнице я пролежал 10 дней, после чего, еще не оправившийся от болезни, снова был доставлен в тюрьму для продолжения следствия.

Ошеломленный вопиющей несправедливостью обвинения, оглушенный дикой расправой, без пищи и без сна, под непрерывным потоком угроз и издевательств, на четвертые сутки я потерял ясность рассудка, позабыл свое имя, перестал понимать, что творится вокруг меня, и постепенно пришел в то состояние невменяемости, при котором человек не может отвечать за свои поступки. Помню, что все остатки своих сил духовных я собрал на то, чтобы не подписать лжи, не наклеветать на себя и людей.

¹ Ложные показания были даны ими под пытками.

И под угрозой смерти я не отступал от истины в своих показаниях, пока разум мой хотя в малой степени подчинялся мне.

Но разве могу я быть уверенным, что злонамеренно-преступное следствие не воспользовалось моей невменяемостью и не использовало ее для фабрикации нужных ему «документов»?

По крайней мере я хорошо помню одно заявление, якобы подписанное мной и однажды показанное мне следователем. Подпись под ним была действительно очень похожа на мою, хотя я никаких подобных заявлений не подписывал.

Все перечисленное дает мне право утверждать: все материалы следствия должны быть заново подтверждены мною. Только в этом случае Особое Совецание сможет отделить истину от лжи в моем деле и определить степень виновности следственных работников, превративших законное следствие в беспримерную расправу над советским писателем.

5. О МОИХ ОДНОДЕЛЬЦАХ

Обратимся к показаниям свидетелей.

В качестве жоака к<онтр>-р<еволюционной> писательской организации Лившиц и Тагер называли поэта Н.С. Тихонова. Кому неизвестно это имя?

Оно до сих пор смотрит на нас со страниц газет и журналов, о нем говорит радио. Орденоносец, славный защитник Ленинграда, горячий патриот, один из лучших советских поэтов.

Он — вождь контрреволюции? Позор преступникам, измыслившим эту клевету!

Какова же после этого цена «свидетельских показаний»? И в минуты смертельного изнеможения я не позволил себе клеветы на Тихонова. Как же смели наклеветать на меня те — двое? Должно быть, сама смерть смотрела на них, если они, позабыв совесть свою, решились на подлое дело. Но я не виню их. Есть предел силы человеческой.

В качестве членов организации свидетели, кроме самих себя, указали на Корнилова и Куклина. Как будто нарочно в одну кучу свалили самых разнородных и ничем не связанных друг с другом людей. Со спокойной совестью могу утверждать, что ни с одним из них никогда близок не был. <...> Что касается Лившица и Тагер, то они вообще никакого отношения к молодой ленинградской поэзии не имели. Белыми нитками шита вся эта выдумка об организации. Это не только выдумка, но как

бы специально придуманная нелепость, очевидная сама по себе каждому, кто имеет хоть небольшое представление об этих людях.

6. О «БУХАРИНСКИХ НАСТРОЕНИЯХ»

Трудно гадать, что разумели под этим термином мои обвинители. Когда Бухарин был назначен ответств<енным> редактором «Известий», он через Ленинградское отделение газеты пригласил некоторых ленинградских поэтов дать стихи для «Известий». Приглашено было 5 человек: Тихонов, Саянов, Корнилов, Прокофьев и я. После этого и при Бухарине, и после него, в течение трех лет (1935 — 1937 гг.) я напечатал в «Известиях» до десятка стихотворений и две статьи на литературные темы: о Пушкине и советской поэзии и о Лермонтове. Все редакционные переговоры вел через Ленинградское отделение «Известий» и только один раз послал тетрадь стихов лично Бухарину — для отбора стихов, подходящих для газеты.

И это — все. Так разве можно на этом основании обвинять меня в «бухаринских настроениях»? Бухарин был ответств<енным> редактором правительственной газеты, в которой печатались сотни авторов. Одним из этих авторов был я. Никаких связей с Бухариным у меня не было и быть не могло. Конечно, термин «бухаринские настроения» придавал делу некоторую долю пикантности, но приклеивать его к человеку без всяких на то оснований — это уже грязное и преступное дело.

7. ЧТО ЖЕ ОСТАЕТСЯ ОТ ОБВИНЕНИЯ?

Итак, Тихонов, как центр к<онтр>-р<еволюционной> организации отпадает сам по себе. Разношерстный состав обвиняемых не дает возможности свести их в одну группу, как бы ни хотелось этого моему следователю. Миф о «бухаринских настроениях» ничем не подтвержден и не выдерживает никакой критики. Что же остается реального во всем моем обвинении? Только поэма «Торжество земледелия».

Но даже если формально подходить к этому вопросу, то не нужно забывать о том, что моя поэма была напечатана в советском журнале, прошла цензуру и № журнала не был изъят после выхода его из печати. Если же говорить по существу, то вопрос об этой поэме — вопрос специфически литературный, и он должен решаться на страницах газет и журналов, но вовсе не в следственных органах НКВД. Ибо от формализма, от литературной ошибки до контрреволюции — шаг огромный и далеко не обязательный. Ведь если бы формалистические

извращения, т.е. несоразмерная и самодовлеющая изысканность формы в ущерб содержанию, — карались советским судом, то очень многие из крупных советских писателей в свое время понесли бы кару за свои формалистические грехи. Однако этого не случилось. Почему же, спрашивается, я явился исключением и столь дорого заплатился за свой литературный промах?

8. О ДВУХ КОМПРОМЕТИРУЮЩИХ ЗНАКОМСТВАХ

Как и у всякого писателя, у меня было довольно много знакомств, главным образом — литературных. Но из всех знакомств моего следователя больше всего интересовали два — с писателями Матвеевым В. П. и Олейниковым Н. М. Оба они были арестованы органами НКВД, первый в 1934 г., второй — в 1937 г. Матвеев в прошлом принадлежал к зиновьевской оппозиции. В период моего знакомства с ним (примерно с 1932 по 1934 гг.) он был восстановлен в партии и работал редактором в Госиздате (Ленинград). Был автором двух книг о гражданской войне. Матвееву нравились мои стихи, и в частности поэма «Торжество земледелия». Он считал возможным печатать меня в то время, когда я был опорочен критикой, и говорил об этом в редакциях. Ни малейшей к<онтр>-р<еволюционной> политической окраски в наших отношениях не было, и его прошлое мало интересовало меня, тем более что оно было известно всем. Знакомство было поверхностное и чисто литературное.

С Н. М. Олейниковым я имел знакомство более тесное и встречался с ним значительно чаще, т.к. был его соседом по квартире в доме писателей в Ленинграде (кан. Грибоедова, 9). Остроумный собеседник и поэт-юморист, Олейников был близок мне в части некоторых литературных интересов. Он высоко ставил мои литературные работы. Мы одинаково критически относились к работе Лен<инградского> отд<еления> Детиздата, где Олейников работал в качестве редактора, а я печатал свои книги для юношества и детей. В 1936 — 37 гг. Олейников часто болел и находился в состоянии творческой депрессии. В эти годы мое знакомство с ним — опять-таки чисто литературное и лишенное каких бы то ни было к<онтр>-р<еволюционных> тенденций — почти распалось и встречались мы значительно реже.

Поскольку эти писатели были впоследствии арестованы органами НКВД, то, может быть, эти два компрометирующих меня

знакомства сыграли свою роль и при моем аресте? Ведь можно подумать, что я тянулся к чуждым людям, которые в дальнейшем были осуждены советским судом. В жизни это было совсем не так. Я назову десяток моих близких знакомых и друзей, репутация которых чиста и не запятнана. Все они дружески относились ко мне и высоко ценили меня как писателя.

Многие из них широко известны советскому обществу. Но следствие не интересуется их именами. Следствие интересуется только теми моими знакомствами, которые могут меня скомпрометировать. Поэтому и я должен специально говорить только о них в этом моем заявлении.

9. Я ПРОШУ ВНИМАНИЯ К СЕБЕ

Если бы я был убийцей, бандитом, вором; если бы меня обвиняли в каком-либо конкретном преступлении, я бы имел возможность конкретно и точно отвечать на любой из пунктов обвинения. Мое обвинение не конкретно — судите сами, могли ли я с исчерпывающей конкретностью отвечать на него?

Меня обвиняют в троцкизме, но в чем именно заключался мой троцкизм — умалчивают. Меня обвиняют в «бухаринских настроениях», но в чем они проявились — эти «бухаринские настроения», — мне не говорят. Происходит какая-то чудовищная игра в прятки, и в результате — загубленная жизнь, опозоренное имя, опороченное искусство, обреченные на нищету и сиротство семья и маленькие дети.

Может быть, все это обвинение — не более чем декорация и в основе моего дела лежит неизвестная мне чья-нибудь злостная клевета, какое-нибудь измышление моих литературных врагов? Трудно предположить, но на основании столь непрочного, столь явно рассыпающегося обвинения я, советский писатель, уже 6 лет как лишен свободы. Но здесь я могу лишь только бесплодно ломать себе голову, теряясь в догадках, ибо в точности мне ничего не известно.

В первые годы моего заключения я неоднократно обращался к Нар<одному> Комиссару НКВД, Верховному прокурору и в Верховный Совет с ходатайством о пересмотре моего дела. Ответа я не получил. Теперь, во время войны, когда враг стоит перед катастрофой и уже близок час полного торжества советского оружия, мне кажется, настал момент снова поднять голос из бездны моего небытия, снова воззвать к советскому правосудию.

Я прошу внимания к себе. Я нашел в себе силу остаться в живых после всего того, что случилось со мною. Все шесть лет заключения я безропотно повиновался всем требованиям, выносил все тяготы лагеря и безотказно, добросовестно работал. Вера в конечное торжество правосудия не покидала меня. Мне кажется, я заслужил право на внимание.

10. Я ПРОШУ О ПОЛНОМ ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА

Я обращаюсь в Особое Совецание НКВД с ходатайством о полном пересмотре моего дела.

Я прошу критически отнестись к документам моего «следствия» — по причинам, которые я изложил в этом заявлении.

Ввиду того, что дело мое связано с литературной работой, и в частности с моей поэмой «Торжество земледелия», — я прошу об организации экспертной комиссии с компетентными представителями Союза Советских Писателей, которая должна дать свое заключение — в какой мере моя поэма является криминальной с точки зрения советских законов.

Союз Советских Писателей может дать общую оценку моей литературной и общественной деятельности; а ряд ленинградских писателей, близко знающих меня, — подтвердить правильность моих объяснений в части моих литературных знакомств и пр.

Все перечисленное вместе с этим моим заявлением поможет восстановить истинную картину моего дела.

Сейчас я еще морально здоров и все свои силы готов отдать на служение советской культуре. Несмотря на болезнь (у меня порок сердца), я готов выполнять свой долг советского гражданина в борьбе с немецкими захватчиками. У меня нет и не было причин считать себя врагом Советского государства.

Я прошу Особое Совецание снять с меня клеймо контрреволюционера, троцкиста, ибо не заслужил я такой кары, — совесть моя спокойна, когда я утверждаю это. Я мог допустить литературную ошибку, я мог не всегда быть разборчивым и достаточно осмотрительным по части знакомств, — но быть контрреволюционером — нет, им я не был никогда!

Верните же мне мою свободу, мое искусство, мое доброе имя, мою жену и моих детей.

Н. Заболоцкий

Алтайский исправительно-трудовой лагерь НКВД,
ст. Кулунда Омской ж. д., с. Михайловское

На бланке Государственного издательства Художественной Литературы
20/IV 1945 г.

**Народному комиссару внутренних дел СССР
Тов. Л. П. Берия**

Посылая Вам просьбы дочери В. Г. Короленко — С. В. Короленко о М. П. Кривинской и писателей Н. С. Тихонова, И. Г. Эренбурга и С. Я. Маршака о поэте Н. А. Заболоцком, прошу Вас об удовлетворении обеих просьб: первой — в интересах лучшей разработки и подготовки к изданию произведений В. Г. Короленко и второй — в интересах возвращения к переводческой работе одного из наших лучших поэтов-переводчиков.

П. Чагин

Зам. директора Гослитиздата. (Подпись)

Н. С. ТИХОНОВ, И. Г. ЭРЕНБУРГ, С. Я. МАРШАК — Л. П. БЕРИИ

Дорогой Лаврентий Павлович!

Обращаемся к Вам с просьбой помочь талантливому поэту Николаю Алексеевичу Заболоцкому.

19 марта 1943 года истек срок его заключения (пять лет). В порядке существующих общих указаний он был оставлен в лагере до конца войны. 18.VIII.1944 г. по ходатайству Управления Алтайского лагеря постановлением Особого совещания НКВД он был освобожден из заключения в порядке директивы НКВД и Прокуратуры СССР № 185 п. 2 с оставлением по вольному найму для работы в лагере до конца войны.

Автор широко известных, глубоко патриотических произведений, посвященных величю нашей родины («Горийская симфония», «Север» и др.), Н. А. Заболоцкий является также талантливым переводчиком Руставели. Его перевод «Витязя в тигровой шкуре» был удостоен почетной грамоты и премии ЦИК Грузинской ССР. Государственное издательство привлекает его в настоящее время к работе в качестве переводчика.

Однако условия жизни и работы Н. А. Заболоцкого лишают его возможности заниматься литературным трудом. До сих пор

Н. А. Заболоцкий работал чертежником в Алтайском крае, а теперь вместе со строительством перебросен в Караганду. Климат Караганды противопоказан его здоровью и может оказаться губительным для его 12-летнего туберкулезного сына (жена и двое детей, эвакуированные из Ленинграда в 1942 году, переехали к Н. А. Заболоцкому полгода тому назад). Кроме того, для работы поэта-переводчика необходима постоянная связь с издательством, возможность пользования библиотеками и т. д.

Мы просим Вас разрешить Н. А. Заболоцкому переехать с семьей в Ленинград (или Сиверскую под Ленинградом, где у его жены имеется дача). Это даст возможность талантливому поэту принять участие в важной работе. Вместе с тем мы не сомневаемся в том, что большой талант Н. Заболоцкого принесет еще много пользы делу нашей литературы.

22/III — 1945 г.

Николай Тихонов
Илья Эренбург
С. Маршак (подписи)

«Утверждаю»
Зам. наркома госбезопасности СССР
Генерал-лейтенант Огольцов
(подпись)

9 февраля 1946 г.

Заключение

« » января 1946 года я — ст. оперуполномоченный 3 отдела 2 управления НКГБ СССР — майор Кутырев, рассмотрев поступившие ходатайства председателя Союза Советских Писателей Тихонова Н. С., зам. директора Государственного издательства художественной литературы Чагина П. И. и писателей Эренбурга И. Г. и Маршака С. Я. о разрешении въезда в город Ленинград поэту Заболоцкому и его семье, —

НАШЕЛ:

Заболоцкий Николай Алексеевич, 1903 г. рождения, уроженец г. Казани, русский, гр-н СССР, поэт, быв. член Союза советских писателей, 19 марта 1938 года был арестован УНКВД

по Ленинградской области. Обвинялся в том, что с 1931 года являлся участником правотроцкистской группы.

На следствии Заболоцкий в предъявленном ему обвинении виновным себя не признал. Решением Особого Совещания НКВД СССР от 2/IX—38 года был осужден к 5 годам заключения в ИТЛ. Наказание отбывал в Алтайском ИТЛ НКВД. 18 августа 1944 года в связи с отбытием срока наказания Заболоцкий из-под стражи был освобожден и в соответствии с директивой НКВД и Прокуратуры СССР № 185 оставлен в лагере для работы по вольному найму, до окончания войны.

В 1944 году Заболоцкий подавал заявление о пересмотре его дела. Постановлением 2 Управления НКГБ СССР от 11.VIII — 44 г. ему в этом было отказано.

В советских литературных кругах Заболоцкий известен как автор ряда популярных произведений и переводчик грузинской поэзии. Наиболее известными произведениями Заболоцкого являются поэма «Горийская симфония», посвященная тов. Сталину (здесь зачеркнуто: книга стихов «Столбцы» и др.). В 1937 году Заболоцким был сделан новый перевод поэмы Руставели «Витязь в тигровой шкуре», за что ему была присуждена почетная грамота и премия ЦИК Грузинской ССР. Тогда же Заболоцким переведен на русский язык ряд стихотворений грузинских поэтов: Орбелиани, Пшавела, Чиковани и др. Помимо стихов и переводов Заболоцкий работал в области детской литературы, в частности им сделана популярная обработка для детей «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, «Тиля Уленшпигеля» Шарля де Костера и др. В настоящее время Заболоцкий привлекается Гослитиздатом к переводческой работе.

Учитывая вышеизложенное, —

ПОЛАГАЛ БЫ:

Разрешить Заболоцкому и его семье проживание в г. Ленинграде и одновременно ориентировать УНКГБ по г. Ленинграду о взятии Заболоцкого под агентурное наблюдение.

Ст. оперуполном. I отд. 3 отдела 2 управл. НКГБ СССР
Майор Кутырев (подпись)

Начальник 3 отдела 2 управл. НКГБ СССР
Подполковник Шубняков (подпись)

«Согласен» Зам. начальника 2 управл. НКГБ СССР
Генерал-лейтенант Родионов (подпись)

Зам. народного комиссара государственной безопасности

тов. Огольцову

Писателя Заболоцкого Николая Алексеевича

Заявление

Прошу Вас разрешить мне и моей семье проживание в гор. Москве, а не в Ленинграде, ввиду того, что у меня есть возможность поселиться в черте гор. Москвы, в то время как в Ленинграде в настоящее время жилплощади я не имею.

Моя семья состоит из трех человек: жена Заболоцкая Екатерина Васильевна (рожд. 1906 г.), сын Никита (рожд. 1932 г.), дочь Наталья (рожд. 1937 г.) и проживает в настоящее время в г. Караганде.

Н. Заболоцкий

16 февраля 1946 г.

На заявлении резолюции:

Т. Родионову. Можно согласиться. Мы ему разрешили жить в Ленинграде, куда он ехать не желает. Договориться с НКВД по этому поводу. Огольцов. 18.И.46.

Т. Кутырев. Срочно письмо т. Галкину. 20/И. Подпись.

Тов. Шубнякову. Организуйте выполнение указания тов. Огольцова. 19/И — 46. Родионов.

А. А. ФАДЕЕВ И Н. С. ТИХОНОВ — С. И. ОГОЛЬЦОВУ

28 июля 1951 г. № 337

**Заместителю министра государственной безопасности СССР
товарищу Огольцову С. И.**

Просим Вашего распоряжения об отмене решения Начальника Управления милиции города Москвы тов. Крайнова о лишении права жительства в Москве писателя, члена Союза Советских Писателей СССР тов. Заболоцкого Николая Алексеевича.

Заболоцкий Н. А. был арестован в 1938 году Ленинградским УНКВД и по постановлению Особого совещания НКВД отбыл пятилетний срок заключения в лагерях НКВД, после чего в 1946 году вернулся в Москву и по ходатайству Управления лагерей

НКВД и Союза Советских Писателей СССР получил право прописки и проживания в г. Москве.

С мая 1946 года и по настоящее время Заболоцкий активно участвует в литературно-общественной жизни Москвы и всей своей литературной деятельностью зарекомендовал себя как советский человек и талантливый поэт, пишущий стихи преимущественно на современные темы. <...>

Высылка Заболоцкого из Москвы оторвет его от необходимой для дальнейшего развития его творчества постоянной связи с писательским коллективом, с центральными издательствами и редакциями журналов.

Ваше решение по вопросу об отмене распоряжения о высылке Н. А. Заболоцкого из Москвы просим сообщить т. Крайнову и нам.

Генеральный Секретарь Союза Советских Писателей СССР
А. Фадеев

Зам. Генерального Секретаря Союза Советских Писателей СССР
Н. Тихонов

А. А. ФАДЕЕВ — Л. П. БЕРИИ

(На бланке Союза советских писателей СССР)
25 августа 1951 г. № 361

Министру государственной безопасности СССР

Секретариат Союза советских писателей СССР возбуждает ходатайство о снятии судимости с писателя Заболоцкого Николая Алексеевича, члена московской организации ССП СССР.

По мнению Секретариата Союза писателей Н. А. Заболоцкий своей работой как поэт и член Союза писателей заслужил того, чтобы судимость с него была снята.

Из прилагаемого заявления Н. А. Заболоцкого и списка его основных литературных работ можно видеть, что он работал много и плодотворно.

Со своей стороны, Секретариат считает необходимым отметить такие его книги, как сборник стихов, изданный «Советским писателем» в 1948 г., в котором лучшие стихотворения посвящены социалистическому строительству, как стихотворный перевод «Слова о полку Игореве», получивший высокую

ный перевод «Слова о полку Игореве», получивший высокую научную оценку, как перевод классических и современных грузинских поэтов в Антологии грузинской поэзии, изданной Гослитиздатом в 1949 г., как перевод классической поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» и многие другие оригинальные и переводные поэтические произведения, изданные отдельными книгами или напечатанные в повременных изданиях.

Учитывая, что Н. А. Заболоцкий — поэт высокой квалификации и продолжает расти, Секретариат Союза советских писателей СССР считает возможным и необходимым снять с него судимость, чтобы и это последнее обстоятельство уже не мешало Н. А. Заболоцкому войти в строй советской поэзии в качестве ее равноправного участника и создателя.

Приложения:

1. Заявление Н. А. Заболоцкого Генеральному секретарю ССП СССР А. Фадееву о снятии судимости с Н. Заболоцкого.

2. Список основных литературных работ Н. Заболоцкого за 1946 — 51 гг.

3. Копия справки № 278/53400.

4. Копия справки Управления Алтайского исправительно-трудового лагеря от 29.1.1945 г., № 9/20.

5. Копия письма Управления Саранского исправительно-трудового лагеря от 29 ноября 1945 г., № 6/8236.

6. Копия письма Управления Саранского исправительно-трудового лагеря Председателю Правления ССП СССР т. Н. С. Тихонову от 6 сентября 1945 г., № 5/6216.

7. Копия письма Генерального секретаря ССП СССР А. А. Фадеева и заместителя Генерального секретаря Н. С. Тихонова заместителю министра государственной безопасности т. Огольцову.

8. Характеристика на творческую и общественную деятельность Н. А. Заболоцкого в Грузии председателя Союза писателей Грузии Г. Леонидзе.

9. Книги с произведениями Заболоцкого в количестве 14 экз.

Генеральный Секретарь ССП СССР
А. Фадеев

Резолюция: *К т. Волкову.* Заключение и справку по делу передать на рассмотрение Особого Совещания. Огольцов. 29. 8. 51

Совершенно секретно

Справка на ЗАБОЛОЦКОГО Николая Алексеевича

На Заболоцкого Н. А. после его освобождения из лагерей компрометирующих материалов не получено, агентурно характеризуется положительно.

Начальник 1 отдела 5 Управления МГБ СССР
Полковник Агаянц (подпись)

21 сентября 1951 г.

Совершенно секретно

«Утверждаю»
Зам министра госбезопасности СССР
Генерал-полковник Гоглидзе

20 сентября 1951 года.

Заключение

19 сентября 1951 года я — ст. оперуполномоченный 7 отделения 1 отдела 5 Управления МГБ СССР — майор Ананьев, рассмотрев поступившее в МГБ СССР заявление Заболоцкого Николая Алексеевича, 1903 года рождения, уроженца гор. Казани, русского, беспартийного, писателя, члена Союза советских писателей, проживающего на Беговой улице, в доме № 1-а, корпус 29, кв. 1, о снятии с него судимости, —

НАШЕЛ:

Заболоцкий Н. А. был арестован 19 марта 1938 года УНКВД Ленинградской области. Основанием к его аресту послужили показания арестованных в 1937 — 1938 гг. участников антисоветской троцкистско-правой организации среди писателей гор. Ленинграда — Тагер Е. М. и Лившица Б. К. о том, что Заболоцкий входил в состав антисоветской правой группы этой организации и являлся автором антисоветских произведений, которые ис-

пользовались участниками организации в своих преступных целях. Арестованному Лившицу Б. К. о принадлежности Заболоцкого Н. А. к группе правых известно со слов писателя Тихонова Н. С. Последний аресту не подвергался, будучи допрошен в январе 1940 года Ленинградской областной прокуратурой в качестве свидетеля, охарактеризовал Заболоцкого положительно, никаких показаний о его антисоветской работе не дал.

Выездной сессией Военной Коллегии Верховного суда СССР Лившиц Б. К. 20 сентября 1938 года осужден к ВМН, на судебном заседании виновным себя не признал и данные им на предварительном следствии показания подтвердил.

Тагер Е. М. тогда же была осуждена к 10 годам ИТЛ, виновной себя признала, показания, данные ею на предварительном следствии, также подтвердила. Будучи арестованной в 1951 году, Тагер Е. М. свои показания, данные ею в 1938 году, отрицает. Однако показала, что она до 1925 года поддерживала связь с эсерами и разделяла их взгляды.

Заболоцкий на следствии виновным себя не признал.

Решением Особого Совещания при НКВД СССР от 2 сентября 1938 года Заболоцкий за контрреволюционную троцкистскую деятельность был осужден к пяти годам ИТЛ.

Наказание Заболоцкий отбывал в Алтайском лагере НКВД, освобожден из-под стражи 18 августа 1944 года и был оставлен в лагере на работе по вольному найму, в соответствии с директивой НКВД и Прокурора СССР № 185, до конца войны.

За время отбывания наказания Заболоцкий Н. А. дважды ходатайствовал перед НКВД и Прокуратурой СССР о пересмотре его дела, и в обоих случаях ему в этом было отказано.

В 1946 году Заболоцкому на основании его заявления и ходатайства Союза советских писателей заместителем министра госбезопасности СССР тов. Огольцовым разрешено проживание в гор. Москве.

Союзом советских писателей Заболоцкий характеризуется с положительной стороны.

Компрометирующих материалов на него после освобождения из лагеря не поступало.

В своем заявлении в адрес Союза советских писателей просит снять с него судимость.

Учитывая, что на Заболоцкого после освобождения из лагеря компрометирующих материалов не получено, а его литературная деятельность Союзом советских писателей СССР и Грузии характеризуется положительно, —

ПОЛАГАЛ БЫ:

Архивно-следственное дело на Заболоцкого Николая Алексеевича внести на рассмотрение Особого Совещания при МГБ СССР с предложением: судимость с Заболоцкого Н. А. снять.

Ст. оперупол. 7 отд 1 отд. 5 Управл. МГБ СССР
Майор Ананьев

«Согласны»

Нач 1 отдела 5 Управл. МГБ СССР Полковник Агаянц

Нач 6 отдела 5 Управл. МГБ СССР Полковник Рассыпнинский

Начальник 5 Управления МГБ СССР Полковник Волков

От руки: На ос/совещание. Прокурор (подпись) 4/Х 51 г.

Постановлением Особого совещания при министре государственной безопасности от 6 октября 1951 года судимость с Николая Алексеевича Заболоцкого была снята.

В ПРЕЗИДИУМ ЛЕНИНГРАДСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

18 марта 1963 г.
№ 10/302 с

СЕКРЕТНО
экз. № 1

Протест

(в порядке надзора)

По постановлению Особого Совещания от 2 сентября 1938 г. Заболоцкий Николай Алексеевич, 1903 г. рождения, урож. гор. Казани, б/п, с высшим образованием, поэт; член Союза советских писателей — заключен в ИТЛ сроком на 5 лет.

Он признан виновным в том, что являлся участником антисоветской троцкистской правой организации, посещал собрания указанной организации, являлся автором антисоветских произведений, которые использовались организацией для антисоветской агитации, т.е. в пр. пр. ст. ст. 58-10 (части нет), 58-11 УК РСФСР.

Дело подлежит прекращению по следующим мотивам:

Заболоцкий виновным себя ни в чем не признал.

В качестве доказательств его вины положены показания литературных работников Лившица и Тагер, допрошенных по другим делам. Копии их показаний приобщены к данному делу. Эти лица «показали», что Заболоцкий входил в контрреволюционную группу писателей, возглавляемую Николаем Тихоновым. Общеизвестно, что писатель Николай Тихонов никакой антисоветской группы не возглавлял, следовательно, Заболоцкий в такого рода группу войти не мог.

К делу также приобщен отзыв о стихах Заболоцкого литературного критика Лесючевского, который характеризует творчество Заболоцкого «активной контрреволюционной борьбой против советского строя».

Такой вывод Лесючевского неправдоподобен, потому что после осуждения Заболоцкого писатели Фадеев, Тихонов, Асеев, Маршак, Леонидзе и многие другие характеризуют его произведения в целом положительно; с политической точки зрения выдержанными.

Лесючевский при проверке дела в 1940 г. пояснил, что отзыв об отдельных произведениях Заболоцкого он давал поспешно в УНКВД ЛО на основании отдельных вырезок из произведений и того, что помнил о них на память.

Учитывая несостоятельность обвинения Заболоцкого, руководствуясь Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года,

ПРОШУ:

Постановление Особого Совецания от 2 сентября 1938 г. в отношении Заболоцкого Николая Алексеевича отменить, дело производством прекратить за отсутствием состава преступления.

Приложение: дело № 33767 в 2 т., заявление на 1 л.

Прокурор города Ленинграда Государственный советник юстиции 3-го класса Соловьев

24 апреля 1963 года по заявлению жены Н. А. Заболоцкий был посмертно реабилитирован.

ПИСЬМА

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ — В МАХАЧ-КАЛУ
ИНЖЕНЕРУ А. П. ДАНИЛЕНКО

Октябрь 1944
Село Михайловское Алтайского края

Здравствуйте, дорогой Алексей Петрович!

Из Вашего письма Гавриилу Михайловичу* узнал Ваш адрес и спешу написать Вам пару слов. С августа месяца этого года я работаю по вольному найму на старой должности в проектно-отделе. Дела наши здесь подошли к концу, и в скором времени мы выбываем отсюда, куда — пока еще неизвестно. Возможно, что скоро прибудет ко мне из Кировской области моя семья (жена и двое детей) и мы все вместе поедem по новому назначению.

Очень рад был узнать о счастливой перемене в Вашей судьбе, о чем узнал, правда, с большим запозданием, и в то же время сожалею о Вашей болезни, от которой желаю Вам поскорее избавиться. Часто вспоминаю я о нашей жизни на Дальнем Востоке, о Вас, о Гургене Георгиевиче. Судьба Гургена Георгиевича меня очень интересует, и если Вы что-либо знаете о ней, прошу Вас сообщить мне и, если возможно, — его адрес.

Относительно наших общих знакомых могу сообщить только то, что Гр. Гр. Способин недавно умер от болезни сердца и старости и мы его похоронили здесь, на Михайловском кладбище. На похоронах было человек 30 народу, и мы всем отделом простились с нашим стариканом. Н. А. Державин — где-то на Даль-

* Г. М. Зотов — инженер, работавший вместе с Заболоцким в строительном управлении Алтайлага и затем — в Караганде.

нем Востоке, вестей от него я не имею. О старых комсомольчанах и общих знакомых — нового ничего не знаю.

В Махач-Кале я бывал в 1937 г. на похоронах Сулеймана Стальского, причем городок этот мне не особенно нравится ввиду больших ветров с моря. Буду рад получить от Вас весточку. С нового места жительства постараюсь написать еще.

Будьте здоровы, желаю Вам всего лучшего.

Н. Заболоцкий

Г. Г. ТАТОСОВ — Н. А. ЗАБОЛОЦКОМУ

5 мая 1956. Грозный

Дорогой Николай Алексеевич!

Никакого другого обращения придумать не могу, так как, несмотря на уйму лет, легших между нами, память не стерла ничего из моей старой головы и Вы стоите передо мной как живой.

Все время интересовался Вами и только года три-четыре назад, обретаясь в сибирской тайге, прочел в «Литературной газете» в заметке о Гурамишвили Ваше имя и обрадовался за Вас. Дальше в той же газете читал хвалебную статью о Вас за перевод Важа Пшавелы. На съезде писателей говорили о Заболоцком как о переводчике. Читал там же Ваши строки из Шиллера, встретил Вашу подпись под некрологом и т. д. и т. д. Как видите, «Гарпагон» (Н. Заболоцкий. Моление о махорке) следил за Вашей судьбой.

Не писал Вам до тех пор, пока все, что тяжелым грузом лежало на плечах, с меня не было снято. Чист как агнец, и поэтому пишется.

Прекрасно понимаю, что время стерло многое, что сближало нас в свое время, пути разошлись, интересы стали разными — все понимаю. Но я-то Вас помню, и в этом отношении время ничего со мной не сделало. Оно усердно поработало над моей физиономией, выкрасило мои волосы в цвет, более подходящий к снегу, чем к человеку, а перед памятью и чувствами оказалось бессильным. Помню каждую мелочь дальневосточной эпопеи, которая, окончившись у меня в 1946 г., вновь благодаря недоброй

памяти Берии в 1950 г. обратилась в пожизненную ссылку в Сибирь, где я и пробыл до 1955 г.

Теперь живу снова в Грозном с женой, которая героически переносила все тяготы разлуки и которой я обязан тем, что могу сейчас писать, чувствовать, двигаться и мыслить. Что было, то прошло, и писать об этом не хочется.

Как Вы, Николай Алексеевич? Как Ваша семья? Как Никита и Наташа? Мне кажется, я не забыл имена Вашей детворы. Много Вашей жене и детям пришлось перенести: Ленинград в блокаде, эвакуация с малышами, мытарства. Честь и слава Русской Женщине. Душевные подвиги Волконской и Трубецкой кажутся маленькими перед теми подвигами, которые совершали наши женщины в трудные времена. Честь им и слава еще раз.

Сейчас возле меня лежит том «Литературной Москвы». «Уступи мне, скворец, уголок», «Некрасивая девчонка», «Журавли» — хорошо! Очень хотел бы иметь Ваши стихи и переводы, но здесь их, как ни стараюсь, достать не могу.

Сам я продолжаю баловаться стихами. Перевел «Греческую комнату» А. Мицкевича. «Я турнир» К. Тетмайера. Есть перевод Мицкевича Л. Мартынова. Мне кажется, что мой ближе к оригиналу. Я Вам посылаю несколько моих стихов, а Вы меня раздракните или похвалите, что можно похвалить. Думаю, что если бы под некоторыми была Ваша подпись — они давно были бы в печати. Многие хвалят, но не печатают. Стихов у меня много, но большинство для «внутреннего употребления».

Ваше «Моление о махорке» много лет хранил, а когда утратил, скорбел, так как оно было чудесным и по содержанию и по художественному оформлению.

В селе Покатеево (Иркутская обл.) встретил Рубена Мхитаряна. Помните, парикмахер был под Комсомольском? Я жил у него, и он всегда тепло вспоминал о Вас, рассказывал, как Вы разговаривали с ним по-армянски после занятий с маститым ученым Татосовым. Он восстановлен в партии.

Надо заканчивать. Когда хочешь о многом поговорить, мысли шарахаются в разные стороны и письмо получается сумбурным, за что прошу не ругать меня.

Дружески обнимаю Вас и шлю большой-большой привет Вашей жене и детям. Если есть время и желание написать мне, буду очень рад Вашему письму.

Гурген

Мой адрес: гор. Грозный. Проспект Сталина, 32, подъезд 13, кв. 98.
Татосов Гурген Георгиевич.

Р. С. Вас, Руставели, Пшавелу и Шиллера хочу иметь. Ваш
отзыв о стихах — тоже.

Г.

Н. А. ЗАБОЛОЦКИЙ — Г. Г. ТАТОСОВУ

11 мая 1956. Москва.

Дорогой Гурген Георгиевич!

Сердечно рад был добрым вестям о Вас; Ваше письмо снова обрадовало меня. Множество раз за эти годы вспоминал Вас — разве могло быть иначе! Желая Вам хорошего отдыха, сердечного успокоения и долгих дней — Вам и Вашей жене! Расскажу немного о себе. В Москве я с 1956 года. Семья моя чудесным образом уцелела и осталась в живых после войны, и я соединился с нею еще до возвращения в Москву. Вы удивительно запомнили имена моих детей! Теперь они уже взрослые люди. Никита — аспирант вуза, Наташа — студентка 2-го курса.

Живем в Москве, в маленькой и тесной, но отдельной квартирке; занимаюсь, главным образом, переводами, — большими благами не пользуюсь, но и нужды нет, и в семье достаток. Будете в Москве, не забудьте проведать — познакомлю Вас с семьей, посидим — побеседуем, вспомним, какую кашку мы с Вами хлебали-расхлебывали...

Полтора года назад хватил меня инфаркт, выжить — выжил, но с того времени здоровье идет под уклон. Круг дней близится, видимо, к завершению: ничто бесследно не проходит. Но дети подросли, времена пришли утешительные, так что и со здоровьем расставаться не так страшно.

Я с удовольствием пошлю Вам мои переводные книжки. Оригинальной же книги покуда нет, обещают выпустить в конце года. Тогда и пошлю. Вы напрасно думаете, что я здесь пользуюсь особым успехом: мое имя весьма скромное.

Что касается Ваших стихов, то, по правде говоря, они мне не очень понравились. И дело не в том, что они не профессиональны, что в них много промахов по части размера и

прочего, — все это можно было бы выправить, но по сути — правка эта дела не исправит. Все дело в том, что Ваши стихи безлики, в них нет творческой индивидуальности, подобных стихов очень много. В этом их основной грех. Простите, что говорю прямо и откровенно. Я так Вас люблю, что мне было бы слишком совестно лукавить перед Вами.

Дорогой Гурген Георгиевич! Я крепко надеюсь, что мы с Вами еще встретимся и потолкуем. В надежде на эту встречу шлю Вам самые лучшие пожелания и прошу передать от меня дружеский привет Вашей жене.

Будьте здоровы, дорогой, обнимаю Вас. Книжки пошлю на днях. Пишите мне!

Н. Заболоцкий

Г. Г. ТАТОСОВ — Н. А. ЗАБОЛОЦКОМУ

21 мая 1956. Грозный

Дорогой Николай Алексеевич!

Получил и письмо Ваше, такое теплое и хорошее, и книги. Лучшего подарка мне и не хотелось.

Мысли, какие бороздили голову: давным-давно встретились люди благодаря огромному несчастью, свалившемуся на их неповинные головы, жили вместе, потому что иначе жить было нельзя, потянуло друг к другу (по крайней мере — меня), а потом жизнь разбросала их в разные стороны, пути пошли разные, время притупило остроту встреч и впечатлений друг о друге, и только память восстанавливала образ человека, который был тебе и близок и дорог. Часто жизнь при новых встречах таких людей преподносит горькие пилюли. Равнодушные, холодное безразличие и даже отчужденность бывают результатом попытки возобновить хорошее старое. Со мной это бывало не раз с «друзьями», с которыми связывало многолетнее общее. А в Вас, дорогой мой, я не ошибся. «Каким ты был, таким остался». И так хорошо сейчас на сердце оттого, что есть хорошие люди на земле. Даже если они ругают твои стихи! Вы и представить себе не можете, Николай Алексеевич, с каким бы удовольствием я обнял бы Вас и наговорился досыта. Ведь я школу солидную

прошел. Сколько мест, встреч, впечатлений, материалов. Поговорить и вспомнить есть о чем.

Лирические излияния пока в сторону. Лучше о Вас поговорим: этот проклятый Ваш инфаркт мне не дает покоя. И Ваше смирение перед ним. Неужели никак и ничем нельзя бороться с этой дрянью? Ведь Вам немного лет и сдавать позиции никак нельзя, тем более что Вы сами подтверждаете, что «времена пришли утешительные». Хочется видеть Вас бодрым, здоровым и утверждающим жизнь, а не наоборот.

От всей души рад тому, что вся Ваша семья прошла все ужасы войны благополучно, что вы все вместе. Я прекрасно помню фотографию, которую Вы мне показывали в 1939 г. Ваша жена и двое малышей. Трудно представить, что они уже взрослые, что Никита — аспирант, а Наташа — студентка, что они уже взрослые люди, нашедшие свои пути и шагающие по ним. Ну и слава Аллаху. Пусть их жизнь не туманит ничто. Они в детстве испытали с лихвой, что такое оборотная сторона жизни.

За оценку стихов, конечно, не сержусь, и обиды в душе нет. Я никогда не мнил себя поэтом. Просто до боли люблю поэзию, помимо воли самого тянет писать стихи, что я и делаю. Великолепно понимаю, что писать надо грамотно, а у меня этого часто не бывает. Все это знаю, а писать тянет.

Оценку своих стихов я дал себе сам в своей будущей эпитафии:

Любил бумагу писчую,
Имел перо скрипучее.
Писал стихи он нищие,
А думал, что кипучие...
И мысли были дерзкие,
Дерзее быть не может.
Прими останки мерзкие
К себе скорей, о Боже!

Есть у меня стихи, где видно мое лицо, но их не посылал Вам, так как они в рукописях, а отпечатать было негде. Если встретимся с Вами, тогда попотчую стихами. А встретиться хочется. Может быть, осенью сумею приехать в Москву.

Должен сказать, что, читая уйму стихов, появляющихся в печати, пришел к выводу, что столько дряни печатается, которую даже я не написал бы, а если б и написал, то постеснялся бы печатать. Что же это такое, Николай Алексеевич? Это же не

выдвижение молодых талантов, а порча их. Наряду с хорошими, действительно поэтическими произведениями, затрагивающими душу человеческую, появляются такие вещи, что за русскую поэзию стыдно делается. Да и большие наши поэты, пользуясь, видимо, блистательным именем своим, протаскивают в печать бледные, не волнующие читателей произведения. Нельзя так, — говорю я, читатель — простой человек, ждущий хороших стихов. Гонорар — штука, конечно, неплохая, но имя дороже. То же и с прозой. <...>

Думаю, что сейчас должны появиться на свет значительные произведения, где жизненная правда раскроется во всем своем многообразии и красоте и заменит литературные недоноски, которых пишут, которых ругают, но которые все еще есть. Не оскудела же земля Русская писателями? Понимаю, что им было тяжело, но теперь времена изменились и мы, читатели, ждем и чудесной поэзии, и такой же прозы.

Ну я расфилософствовался и начал прописными истинами заниматься. Это и скучно, и неинтересно. Письмо получилось длинное и, кажется, несуразное. За это простите. Черновики писать не умею и не люблю. Письмо — не деловая бумага, и что просится в него, то и вкладываю.

Дорогой Николай Алексеевич! Еще раз большое спасибо за книги.

Передайте мой самый теплый и дружеский привет Вашей жене и Никите и Наташе. Думаю, они не обидятся на меня за то, что я их называю ласково, по именам. А Вас крепко-накрепко обнимаю и жму Вашу руку.

Гурген

Пишите. Буду рад Вашим письмам. Скоро у нас появятся абрикосы. Попробую послать Вам, но за сохранность не ручаюсь.

Можно ли при инфаркте кушать паюсную икру? Я иногда бываю на Каспии и имею возможность достать ее не по елисеевским ценам. Если можно, с удовольствием пошлю Вам наш каспийский подарок.

Жена моя в претензии, что я не шлю от ее имени привета Вам и Вашей семье. Делаю это!

Г.

НИКИТА ЗАБОЛОЦКИЙ — Г. Г. ТАТОСОВУ

15 января 1972. Москва

Глубокоуважаемый Гурген Георгиевич!

Пишет Вам сын поэта Николая Алексеевича Заболоцкого. Недавно я прочел сохранившиеся Ваши письма к отцу шестнадцатилетней давности и решил обратиться к Вам с просьбой.

В одном из писем отцу Вы пишете: «Память не стерла ничего из моей старой головы...» Я сейчас собираю биографические материалы об отце, и каждое Ваше слово о Николае Алексеевиче того времени, когда Вы были с ним вместе, было бы для меня чрезвычайно ценным.

Пишу коротко, потому что не знаю, дойдет ли это письмо до Вас. Ведь прошло столько лет, да и адрес Ваш наверняка изменился.

Никита Заболоцкий

Г. Г. ТАТОСОВ — Н. Н. ЗАБОЛОЦКОМУ

16 февраля 1972. Грозный

Дорогой Никита Николаевич!

Письмо Ваше и обрадовало, и взволновало меня. Получил я его в самом начале февраля, но не мог сесть за письмо к Вам, так как гипертония свалила меня и писать было трудно. Сейчас вхожу в норму и первое, что я делаю, — письмо к сыну человека, которого я любил больше, чем родного.

Мне есть, что рассказать, Никита Николаевич, но как этот огромный материал уместить в письмах, даже не представляю. Это — наше первое знакомство в Свердловской пересылке, это — многодневный и очень многотрудный этап до Комсомольска, это — кражи и грабежи на пересылках, это — обиды и душевные травмы, это — работа в управлении и попытки комсомольских поэтов встретиться с Николаем Алексеевичем, это — наше путешествие (на другой день после войны) в глубину тайги, к

реке Хунгари, это — наши беседы и своеобразные игры, это — споры и воспоминания о той жизни, которая была и которой нет, которая должна наступить снова (мы в это глубоко верили так же, как абсолютно верили в победу над фашизмом). Очень много и грустных (больше), и веселых событий, вернее, не веселых, а радостных (лишний кусок хлеба, вежливое обращение охраны, человеческое слово начальства). Очень много всего, что не вместится в рамки письма. Об этом надо говорить, говорить, говорить. Лучше всего, конечно, встретиться.

Если здоровье позволит, я в этом году думаю съездить в Москву (там у меня родной брат), тогда мы, конечно, встретимся и я увижу всех вас — и Екатерину Васильевну, и Наташу, и Вас. Всех вас видел на фотографии 1939 года и это фото хорошо помню.

Николая Алексеевича я никогда не забываю. Каждый день я, глядя на его портрет, желаю ему доброго утра и доброй ночи. Может быть, это на чей-нибудь взгляд сентиментально, но это будет всегда.

Больше всего жалею, что у меня украли на раскурку лист бумаги, где был рисунок Николая Алексеевича и его стихи — шестнадцать чеканных строк. Происхождение этого стихотворения имеет свою предысторию, и ее длинно рассказывать, расскажу коротко. Я оказался обладателем 25 пачек махорки, которая ценилась на вес золота. Как-то, когда я собирался лечь спать и откинул одеяло, увидел, что к подушке был пришпилен лист, на котором был изображен я, огромного роста, с нимбом вокруг головы, а внизу, у моих ног, на коленях стоял Николай Алексеевич, простирая ко мне руки. Сверху был заголовок: «Моление о махорке». Я был приравнен ко всем скупцам мира, наиболее порядочным из которых был Гарпагон, и мне категорически предлагалось выдать махорку. Стихи, Никита Николаевич, были великолепны, рисунок тоже, и я до сих пор не могу забыть об этой потере.

Посылаю Вам письмо одного нашего товарища по несчастью — Алексея Даниленко (несколько строк Даниленко написаны на письме к нему Н.А. Заболоцкого, которое приведено выше. — *Публикатор*). Письмо это он мне переслал, но сам, хотя и обещал, не приехал, и где он сейчас и жив ли — не знаю. Это письмо Вам нужнее, чем мне, хотя в какой-то части касается меня.

У меня есть еще одно теплое, очень дружеское письмо Николая Алексеевича, присланное мне в 1956 году. В нем он под-

верг беспощадной (и правильной) критике мои стихи — я тоже стремился стать поэтом, но... Это письмо я Вам тоже пошлю.

Дружески и по-отцовски обнимаю Вас и Наташу, мой низкий поклон маме.

Подпись

Г. Г. ТАТОСОВ — Н. Н. ЗАБОЛОЦКОМУ

7 марта 1972. Грозный

Сегодня получил Ваше письмо, дорогой Никита Николаевич, и чуть-чуть познакомился со всеми вами.

Немного о себе: я — юрист по образованию, профессия — адвокат (была), сейчас на пенсии. Я на 9 месяцев старше Вашего отца. В этом году стукнет 70 лет, если доживу до этого срока. Писать о хворях и прочей неприятности не буду — это не интересно, скучно и противно. Пенсия средняя, но хватает на все.

Я два раза был в Москве во время жизни Николая Алексеевича — в 1947 и 1954 годах, но ни разу не зашел, так как паспорт у меня был с такой отметкой, при виде которой даже милиция чувствовала себя не совсем нормально, а мне не хотелось, чтобы хоть малейшая тень коснулась имени Вашего отца, хотя мне очень хотелось обнять его. Только в 1956 году, после реабилитации, я написал ему, и завязалась переписка. В 1958 году я собирался в Москву, и тут — нелепая, неправильная, ненужная смерть Николая Алексеевича, ошеломившая меня, перечеркнула эту поездку.

Я посылаю в архив Вашей семьи письмо Николая Алексеевича.

В биографиях поэтов и писателей, отдавших дань 1937 году, как-то умалчивается об этой стороне их жизни, и я не знаю, сумеете ли Вы расширить рамки биографии Вашего отца, включив в нее этот отрезок жизни. Наша встреча многое бы решила. Я бы Вам все рассказал, а Вы использовали все, что нужно.

Могу сказать одно: Николай Алексеевич, будучи в самых тяжелых условиях: в голоде, холоде и прочих «удобствах», никогда не сомневался в победе над Гитлером, был глубоко убежден, что Ленинград не падет. До войны он никогда не высказывал сомнения о нашем государстве, я ни разу не слышал от него

ни одного слова недовольства*. И я, и он были глубоко убеждены, что правда будет.

Некоторое время мы оба работали в проектном бюро, которое проектировало стройку, описанную Ажаевым в романе «Далеко от Москвы». Книгу эту я не люблю, потому что в ней нет главных героев, построивших нефтепровод. Койки наши были рядом, и я с огромным удовольствием слушал Николая Алексеевича, говорившего о поэзии, поэтах, писателях, с которыми он встречался; рассказывал он о работе над Шота Руставели, и однажды пришла книга «Витязь в тигровой шкуре» в его переводе. Фамилии переводчика не было указано.

Перед сном почти каждый день мы играли в игру: брали первое попавшееся слово и из этого слова составляли другие слова. Выигрывал тот, у кого получалось слов больше. Должен признаться, что я проигрывал чаще. Если кто-нибудь из нас доставал лишний кусок хлеба, его по-братски делили и священнодействовали над чугунной печкой, поджаривая сухарики, которые считали деликатесом номер один.

К сожалению, мы не всегда работали вместе. Николай Алексеевич был чертежником, а я большую часть своего срока то валил лес, то добывал камень, то копал землю, но вечером мы обязательно встречались.

А сейчас я в хронологическом порядке попробую коротко рассказать об этапах нашей жизни.

Ноябрь 1938 года. Свердловская пересылка. Мы познакомились перед отправкой этапа. Ехали в разных вагонах. Вновь встретились в январе 1939 года на пересылке в Комсомольск-на-Амуре. Там у Николая Алексеевича украли все вещи, и он остался без всего. Скоро нас одели и отправили в поселок Старт в лагерь. Вначале лесоповал и каменный карьер, а затем образовалось проектное бюро, и Н.А. был взят туда чертежником. Случай (рассказывать долго) и меня привел в проектное бюро дневальным (мальчик на все руки).

1940-й год встречали в Старте: Мы, 19 человек, жили и работали в двух окруженных проволокой бараках. 17 мужчин и 2 женщины-инженеры.

1940 год. Комсомольск-на-Амуре. Управление лагерем. Н. А. в техническом отделе, я в юрбюро.

* Конечно, Н. А. Заболоцкий еще и опасался соглядатаев, которые всегда были в лагерьях и могли услышать его слова. — *Публикатор.*

22 июня 1941 года началась война. Сразу нас переправили в тайгу за Амур, и мы работали на реке Хунгари. Ломали камень (скалы), возили на тачках и сбрасывали в реку, строя дорогу Комсомольск — Совгавань. Нас перевозили с колонны в колонну, и в конце концов мы вновь оказались близ Комсомольска, в проектно-монтажном отделе.

Так до 1943 года, когда меня увезли в Астраханский, а затем Бакинский лагеря и мы с Николаем Алексеевичем расстались.

Это очень коротко, а ведь за каждым эпизодом жизнь, страдания, волнения, иногда улыбка, и очень редко — смех.

Если жене станет лучше, я постараюсь летом побывать в Москве. Я ведь и брата не видел 11 лет. На этом пока закончу.

Екатерине Васильевне, Вашей жене и Наташе с тремя дочурками поздравления с праздником. Желаю им много радости и счастья.

Вас дружески обнимаю.

Гурген

Пишите обо всем, что Вас интересует об отце, — отвечу. Может, конкретные вопросы больше помогут?

15 апреля 1972. Грозный

Дорогой Никита Николаевич!

Причиной моего длительного молчания — хвори. Сейчас все вновь вошло в приблизительную норму, и я с удовольствием сажусь за это письмо.

Прежде всего отвечу на Ваши вопросы: да, армянским языком занимался с Николаем Алексеевичем я, и вот как это было. Когда нас на второй день войны убрали из Комсомольска в глубинную тайгу, дело с работой над проектом нефтепровода на Северный Сахалин застопорилось, и нас снова взяли на проектную работу. Поместили в 30 — 40 км. от Комсомольска, отвели нам один барак, где стояли и столы, и наши койки. Весь контингент колонны был из уголовников, и мы жили, как на острове. Одним из представителей лагерной аристократии был парикмахер — армянин. Когда нас привезли, он стал интересоваться, есть ли среди нас армяне, и, узнав, что я армянин, стал меня опекать, то есть доставать лишний кусок хлеба, иногда —

мяса, картофеля и т. п. По-русски Рубен Мхитарян (парикмахер) почти не умел говорить, и я его тренировал по русскому языку. Однажды, когда Николай Алексеевич собрался пойти побриться, я ему посоветовал: войдя, скажите Рубену «барев» — это значит «здравствуй», — он наверняка обрадуется. Возвратясь от парикмахера, Н. А. рассказал, что впечатление он произвел своим «барев» потрясающее и был побрит по первому разряду — хорошей бритвой, с компрессом и одеколоном (последний разрешался для охраны, но так разбавлялся Рубеном, любителем выпить, что сами понимаете, во что он превращался). Этот случай и был толчком к началу наших занятий. Работу мы кончали поздно, но это не мешало нам заниматься. Рубен мне очень помогал, так как я армянский язык знал не очень уж хорошо.

Занятия шли успешно. Николай Алексеевич уже стал составлять довольно сложные фразы, к великой радости Рубена, который очень полюбил Вашего отца и всегда угощал его табакком, бывшим на вес золота.

Много лет спустя, в 1950 году, я, побыв три года на свободе, вновь был осужден на пожизненную ссылку и в Сибири случайно встретился с Рубеном. Он очень интересовался Николаем Алексеевичем, и я ему рассказал, что Н. А. в Москве, читал ему статьи о нем, которые вырезал из разных изданий.

Занятия наши продолжались до 1943 г., то есть до моего отъезда в Астраханский лагерь. Да, стремление к интеллектуальной жизни постоянно было внутри Николая Алексеевича. Это сказывалось во всем — и в его заинтересованности знаниями окружающих, в желании постичь эти знания, в изучении местной природы.

А самым главным было — не потерять своего лица, не скатиться вниз, не стать животным. Слишком много и долго писать об этом, но я надеюсь, что мы встретимся и я расскажу о том, что нас окружало и кто нас окружал и как трудно было остаться самим собой, не огрубеть душевно, не опуститься. Ни грязная ругань, ни жуткие ссоры и драки из-за пустяков, ни тяжелая работа, ни пренебрежительное и презрительное отношение к нам — ничто не изменило Вашего отца, он остался таким же чистым, мягким и добрым, каким был. Он для меня был примером, всегда успокаивал меня и говорил: только не опуститься, не потерять своего сокровенного.

За все это время только один раз я видел его разгневанным, но вывел его из себя человек, с которым мы все не могли жить рядом. Он был наш руководитель, тоже заключенный. Отвраща-

тительный человек и, что самое страшное, дурак, уверенный, что он умен. Звали его Творовский Антон Антонович. Этот тип стал исправлять написанное Николаем Алексеевичем, причем исправлять неправильно, с нравоучениями. Это привело к вспышке.

По-моему, в тот же год Н. А. получил письмо от Екатерины Васильевны, в котором сообщалось о том, что должны быть изданы какие-то его произведения. Он был этому очень рад и сказал мне, что, если получит гонорар, весь его отдаст на постройку танка.

Никита Николаевич! Я всегда буду рад встретиться и поговорить с Вами, рассказать все, что осталось в памяти.

Всех вас дружески обнимаю. Пишите вопросы, не стесняйтесь.

Гурген

Г. Г. ТАТОСОВ — Н. Н. ЗАБОЛОЦКОМУ

5 мая 1972. Грозный

Дорогой Никита Николаевич!

... Сегодня я отвечу на Ваш вопрос о том, как мы встретились и познакомились с Николаем Алексеевичем.

В октябре 1938 года меня привезли в Свердловск из Москвы и заперли на 4-м этаже свердловской тюрьмы в камере, где находилось свыше 300 человек, в основном уголовников. Из камеры можно было видеть огромные корпуса с зарешеченными окнами, сквозь которые заключенные переговаривались знаками глухонемых. Так я узнал случайно, что в одной из камер находится ленинградский поэт Заболоцкий, со стихами которого я был знаком. Часть из них мне нравилась, часть казалась спорной, но сам поэт интересным. Попытки связаться с Николаем Алексеевичем успеха не имели, и только в начале декабря знакомство состоялось.

Из нашей камеры вызвали много людей на этап, и я попал в их число. Нас отправили вниз, в огромную камеру, где с вещами толпились сотни людей. Я обратил внимание на человека в очках золотого цвета. Светлая бородка оттеняла его лицо,

да и сам он как-то выделялся из этой многоликой толпы. Кто-то на мой вопрос о незнакомце ответил, что это Заболоцкий. Я подошел к нему, сказал, что очень люблю стихи, его — тоже, и мы познакомились.

Часа два мы разговаривали, охватив за это время и русскую поэзию, и наше несчастье, и наши дела на свободе, и наших любимых. Договорились не расставаться, но нас разъединили: я попал в один вагон, он — в другой. Нас адресовали на Колыму, но в дороге переадресовали, и мы попали в Комсомольск-на-Амуре, на пересылку. Там мы вновь встретились и уже не расставались до 1943 г.

Что представляла собой пересылка и кто ее, населял? Огромный барак длиной метров 35 — 40, в котором и днем и ночью горел свет керосиновых ламп «летучая мышь», был холодным и сырым. Вдоль стен в два этажа тянулись нары. Вместо досок были уложены жерди. Сами понимаете, как нам лежалось. Уголовники и политические были вместе, и это порождало для нас адово состояние. Где-то, в одном из углов, насильно раздевали человека, так как без его ведома на его одежду шла азартная карточная игра. В другом углу лилась кровь в бессмысленной драке, очень часто возникающей по пустякам. Ругань, циничная, непристойная, кощунственная, висела в воздухе... Вот в такой обстановке жили мы недели три. Нас сортировали, проверяли и готовили к дальнейшему этапу.

В один нехороший день у Николая Алексеевича украли все вещи. Он, огорченный и растерянный, ходил по бараку и наивно спрашивал, кто взял его вещи. В ответ слышались едкие и злые слова; где-то отвечали, что взял вещи Яшка, а когда Н. А. спрашивал, какой Яшка, кто-то отвечал гнусной, грязной, похабной рифмой.

Всю погань, которая нас окружала, я хорошо знал, так как, работая в адвокатуре, очень часто встречался с ними, понимал жаргон, и они меня не совсем числили «Иваном Ивановичем», как всю интеллигенцию. Когда мы встретимся, я многое расскажу об «Иванах Ивановичах», посрамивших звание культурных людей и заслуживших презрительные клички, но сейчас речь не об этом, хотя это очень важно, чтобы знать, в какой атмосфере приходилось жить Николаю Алексеевичу.

Я сказал, что о вещах думать уже нечего — они давно вынесены из барака и проданы, — что нам надо держаться друг друга, чтобы было меньше обид от нечисти, нас окружающей.

Мы рядом поселились на нарах, и началась наша лагерная жизнь.

Мы стремились попасть вместе на одну колонну (первичная лагерная единица). Так и случилось: мы оба попали в поселок Старт (около 30 км. от Комсомольска), где работали на лесоповале, каменных и земляных работах — там, где тяжелее всего. Немного времени спустя внутри колонны было организовано проектное бюро (нефтепровод на Сахалин), куда попал и Николай Алексеевич. Я же продолжал покорять природу.

Бюро возглавлял некто Кормилицин, бывший начальник службы связи НКПС. В бюро работало человек 12, но из них помню Мамаева — главного инженера Тульского оружейного завода, инженера Печенкина, не помню, откуда он. Две фигуры были очень интересными: Арон Львович Соколовский — бывший бундовец, прошедший в 1931 году по процессу меньшевистского центра, и Лазарь Борисович Залкинд — бывший редактор шахматного журнала СССР, судившийся вместе с Соколовским, человек, о котором есть несколько строк у Сойерса и Кана в «Тайной войне против Советского Союза». Оба люди огромной эрудиции, высокой интеллигентности, великолепные собеседники и товарищи. Вот кто в это время окружал Николая Алексеевича. Часть людей я позабыл, но они значения иметь не могли.

Дальше состав бюро пополнился, но об этом после. Сейчас хочу вернуться назад к Свердловску. Со мной в камере сидел мальчик, сын Ионы Якира. Ему было лет 15. Он был умен, ласков, красив и беспредельно любил отца. Мальчик тянулся ко мне, рассказывал об отце и был глубоко уверен, что отец жив и послан в Монголию для секретной работы. Я знал, что это не так, знал, что жизнь Якира оборвана нелепо и трагически, но не мог этого сказать ребенку. Потом о П. Якире я узнал из газет, которые приводили разговор Хрущева с Якиром в Алма-Ате. Говорят, сейчас Петр Якир в Москве, и если Вы, Никита Николаевич, что-нибудь о нем знаете, напишите мне — кто он и что он. Меня очень интересует судьба его. Я его по-отцовски любил. Вот и все отступление от главной темы.

Я вскоре тоже попал в проектное бюро. Как это случилось, писать долго и неинтересно. Главное — попал в спокойное место, когда уже не надеялся выжить. Съедала цинга, сил не было совсем — ведь я под следствием был с января 1937 года по октябрь 1938-го. Все силы ушли на это ужасное время.

Жили относительно спокойно. Говорю — относительно, потому что нередко нас будили ночью и отправляли грузить в вагоны камень. Но часто вечера были спокойны. Шла тихая беседа, воспоминания о близких. Дел своих никто не касался. Все понимали, что дела искусственно созданы, и говорить о них было больно и неприятно. Был уже 1939 год.

Через какое-то время нас перевели на другую колонну, создали зону в зоне. Огородили два барака и небольшое пространство между ними колючей проволокой. В одном бараке мы жили, в другом работали. Стало нас 19 человек. Из них две женщины: Духовная — инженер из Киева, и Храмова — из Щадринска. Но об этом в следующий раз...

Всей семье Заблоцких, всем вам желаю радости и много доброго. Очень рад, что должен выйти двухтомник.

Дружески Вас обнимаю.

Гурген Татосов

7 — 12 июня 1972. Грозный

Дорогой Никита Николаевич!

Вчера получил пластинку, и радости моей не было конца. Несколько раз прослушал ее, взволновался, услышав голос Николая Алексеевича, и эти сутки нахожусь в состоянии тихой грусти. Вереницей проходят воспоминания о бесцельно прожитых годах, в которые веселого не было ничего...

Вы уехали, и мне стало Вас не хватать, как будто я знал Вас очень давно и очень близко...

Сейчас я хочу остановиться на двух эпизодах: 1) период образования проектного бюро и 2) о кино.

Начальником колонны, где было образовано проектное бюро, была женщина. Ей было 26 лет, была она очень красива, но какой-то порочной красотой. В прошлом она была воровкой, потом освободилась, вышла замуж за командира взвода охраны. Он нас сторожил, она перевоспитывала. Ей очень нравилось бывать в проектном бюро и смущать людей изощренной, виртуозной руганью, которая у нее не сходила с языка. Я тогда еще не работал в проектном бюро, и мне Николай Алексеевич с омерзением рассказывал об этой женщине. Плюс ко всему Елена

мание на некоторых из бюро. Первым ее фаворитом был молодой техник Иван Дзюба. Результат — штрафная колонна, так как муж узнал о шашнях в тайге. Долго рассказывать, как ухитрялась Елена Павловна все это проделывать. Коротко: она направляла Дзюбу в тайгу одного на работу и сама приходила к нему.

Дзюба исчез, и она обратила внимание еще на двоих, самых молодых, — Николая Алексеевича и некоего Блюшкина. Оба дали ей резкий отпор и оба очутились на общих работах в каменном карьере. Только острая необходимость в чертежниках спасла Николая Алексеевича от карьера, и через неделю его снова взяли в бюро.

Николай Алексеевич рвался ко всему, что могло его приобщить к жизни вне лагеря. Для нас такой возможностью было кино. Я часто не ходил смотреть картины — настроения никакого не было, а он ругал меня и говорил, что все, что нас связывает с волей, с настоящей жизнью, хотя бы в кино — мы должны видеть, участвовать в этом...

Дружески обнимаю Вас.

Гурген Татосов

24 июля 1972. Грозный

Дорогой Никита Николаевич!

Прежде всего спасибо за поздравление, которое пришло в самый день рождения. Не написал вовремя из-за обычной своей хвори — давление. А вчера для меня была большая радость — двухтомник Николая Алексеевича... Читаю, перечитываю, физически ощущаю ласку этих книг, и на душе у меня хорошо.

Хочется поделиться с Вами еще одним воспоминанием. Мне кажется, что об этом я не говорил. Но прежде должен сказать, что Вы совершенно правы, относя события с Еленой Павловной к весне 1939 года. Это именно так.

Теперь о другом. Это было, когда мы работали на реке Хунгари. Какая там была работа, я Вам рассказывал: лом, кирка, тачки, камень. Время для нас было тяжелое — ели плохо, работали световой день. И был суровый неразумный закон держать людей, не выполнивших норму, до тех пор, пока она не будет выполнена. Среди нас были старые люди, кроме пера, в руках

никогда ничего не державшие, и этот закон, естественно, обрушился на них. Сколько бы их ни держали, норму они выполнить не могли, и тогда мы все сговорились оставаться со стариками и за них доделывать работу. Мы все — означает наша группа, человек 10 — 12. Охрана пошла на это с удовольствием, так как ей тоже не хотелось торчать всю ночь в карьере, и делала нам скидки на норму.

Первым о помощи несчастным людям заговорил Николай Алексеевич, и мы пошли на это, так как нельзя было оставлять людей на гибель. Потом, когда обстоятельства изменились, и Соколовский и Залкинд (о них шла речь) были бесконечно благодарны нам и, уже сидя за столом в проектном бюро, вспоминали очень тяжелые дни. Теперь их, наверное, уже нет: им тогда было около 60 лет. Но семьи их, наверное, в Москве.

Николай Алексеевич не мог равнодушно смотреть, когда обижали людей, и без того обиженных, и всегда остро и болезненно переживал все несправедливости к людям, а их, несправедливостей, было немало.

Жена Эмилия Ивановна все болеет, и я ни на один день не могу ее оставить. По этой причине моя поездка в Москву пока под вопросом. Но я очень хочу познакомиться со всеми вами (Вас-то я уже знаю) и стремлюсь что-то предпринять...

Ваш Гурген Татосов

10 января 1973. Грозный

Дорогой Никита Николаевич!

Вот уже два месяца, как я не беседовал с Вами. А причина одна: всякие хвори, которые снова дали о себе знать.

«Картины Дальнего Востока» Н. А. Заболоцкого — это то, что нас окружало все годы пребывания на этом Востоке. Тайга всегда начинается с мелколесья, но дальше в ее глубины она делается могучей, величественной и необыкновенно красивой. Красива настолько, что даже душевно раненные, бесконечно печальные, больше думающие даже не о себе, а о дорогих нам людям, мы не могли не очаровываться и не восхищаться этой природой, в особенности в районе реки Хунгари. Я Вам уже рассказывал об этом, но рассказывать можно еще и еще. Жаль только, что великая гармония природы по вине людей, злых, грубых, жестоких до предела, опошлялась и опьянение (именно опьянение)

ее красотой было болезненным и несло с собой щемящую и безысходную грусть. Вот и сейчас пишу Вам, а на душе становится так же тоскливо, как бывало тогда.

И камень. Действительно море камня, первозданного и нарушенного нами впервые за миллионы лет... Там, где мы разбивали трассу, нарушая вековой покой камня, теперь ходят поезда Комсомольск — Совгавань, и из окна люди действительно видят «вздыбленное каменное море», обильно политое потом, кровью, слезами, усеянное погибшими людьми. Наше пребывание на Хунгари и исход оттуда были полны трагедии, но я об этом говорил с Вами и повторяться не буду.

Теперь об экскаваторе. Эта маленькая машина, с ковшом на 0,5 кубометра, на своем боку имела надпись «Марион». Она в какой-то степени спасала нас от тяжелой погрузки камня, и мы, приходя в карьер и уходя с работы, здоровались и прощались с нею:

— Здравствуй, Мариоша! До свидания, Мариоша!

Мы с удовольствием заготавливали для нее дрова (у нее был газогенераторный двигатель, и ела она дров много) и ласково ее похлопывали по железным бокам.

Лесных пожаров было много. Начиная с мая тайга начинала гореть от каждого пустяка: брошенная спичка, недопогашенный костер, молния. Иногда рецидивисты нарочно устраивали пожар, надеясь при всеобщем аврале и сутолоке как-нибудь сбежать, но это бывало редко.

Я прекрасно помню, как в Старте поздно ночью мы проснулись от зарева и, выйдя во двор, увидели огромную сопку, всю в пламени. Это было феерическое, грозное, вызывающее какой-то внутренний трепет зрелище. Мы долго стояли и наблюдали за пожаром. Ночью нас на гашение не брали.

Вот и ответы на Ваши вопросы, Никита Николаевич.

Двухтомник Николая Алексеевича в Грозном разошелся молниеносно. Многие любители поэзии остались без этих книг. У меня четыре издания Заболоцкого, но ни одного никому не даю и снова, наверное, прослыл Гарпагоном...

О жизни своей рассказывать не буду — она течет неизменно одинаково. Книги, книги, книги. Огромного большинства друзей нет в живых, а новых заводить не хочется...

Вашим письмам всегда рад. И Вас, и семью Вашу дружески обнимаю.

Гурген Татосов

Май 1974. Грозный

Дорогой Никита Николаевич!

Все получил. (Речь идет о машинописи составленного мною первого варианта «Истории заключения Н. А. Заболоцкого». — *Публикатор.*) Огромное спасибо. Прочел залпом. На протяжении повествования встречаются неточности, но они не имеют особого значения. Об этих неточностях напишу после того, как уже медленно и внимательно прочитаю все снова. Опять окупился в недоброе прошлое и все эти дни не в своей тарелке.

Всем Заболоцким мой низкий поклон. Вас обнимаю.

Гурген Татосов

Февраль 1977. Грозный

Дорогой Никита Николаевич!

После долгих страданий 5 февраля умерла Эмилия Ивановна. Она все годы болезни лежала дома, и я до самой ее смерти ухаживал за нею. Вот чем объясняется мое молчание. Я совершенно опустошен и писать не в состоянии — Вы это поймете. Пройдет время, и тогда поговорю с Вами. Привет Вашей семье, маме и сестре.

Гурген Татосов

Январь 1978. Грозный (последнее письмо)

Дорогой Никита Николаевич!

Всех вас поздравляю с Новым годом и очень хочу, чтобы Новый год был лучше, чем уходящий, принесший мне горе и печаль. Все время болею, а хочется написать большое письмо о книге воспоминаний*. Многое мне известно по рассказам Николая Алексеевича. В книге почти нет ничего об отношении

* Воспоминания о Заболоцком. М. Советский писатель. 1977 г. 2-е, дополненное издание вышло в 1984 г.

Н. А. к Андрею Белому, а мы о нем говорили часами, и Н. А. очень хвалил его.

Вся беда — здоровье, писать много не хватает сил...
Обнимаю Вас.

Гурген

В КИНО

Утомленная после работы,
Лишь за окнами стало темно,
С выраженьем тяжелой заботы
Ты пришла почему-то в кино.

Ражий малый в коричневом фраке,
Как всегда выбиваясь из сил,
Плел с эстрады какие-то враки
И бездарно и нудно острил.

И смотрела когда на него ты
И вникала в остроты его,
Выражение тяжелой заботы
Не сходило с лица твоего.

В низком зале, наполненном густо,
Ты смотрела, как все, на экран,
Где напрасно пыталось искусство
К правде жизни припутать обман.

Озабоченных черт не меняли
Судьбы призрачных, плоских людей,
И тебе удавалось едва ли
Сопоставить их с жизнью своей.

Одинока, слегка седовата,
Но еще моложава на вид,
Кто же ты? И какая утрата
До сих пор твое сердце томит?

Где твой друг, твой единственно милый,
Соучастник далекой весны,
Кто наполнил живительной силой
Бесприютное сердце жены?

Почему его нету с тобою?
Неужели погиб он в бою
Иль, оторван далекой судьбою,
Пропадает в далеком краю?

Где б он ни был, но в это мгновенье
Здесь, в кино я уверился вновь:
Бесконечно людское терпенье,
Если в сердце не гаснет любовь

1954

ЭТО БЫЛО ДАВНО

Это было давно.
Исхудавший от голода, злой,
Шел по кладбищу он
И уже выходил за ворота.
Вдруг под свежим крестом,
С невысокой могилы сырой
Заприметил его
И окликнул невидимый кто-то.

И седая крестьянка
В заношенном старом платке
Поднялась от земли,
Молчалива, печальна, сутула,
И, творя поминанье,
В морщинистой темной руке
Две лепешки ему
И яичко, крестясь, протянула.

И как громом ударило
В душу его, и тотчас
Сотни труб закричали
И звезды посыпались с неба.

И, смятенный и жалкий,
В сиянье страдальческих глаз,
Принял он подаянье,
Поел поминального хлеба.

Это было давно.
И теперь он, известный поэт,
Хоть не всеми любимый
И понятый также не всеми, —
Как бы снова живет
Обаянием прожитых лет
В этой грустной своей
И возвышенной чистой поэме.

И седая крестьянка,
Как добрая старая мать,
Обнимает его...
И, бросая перо, в кабинете
Все он бродит один
И пытается сердцем понять
То, что могут понять
Только старые люди и дети.

1957

Составление, подготовка текстов и публикация Никиты Заболоцкого.

2

ВСТРЕЧА В ТИМИРЯЗЕВКЕ

В Москве в клубе Тимирязевской академии 19 — 21 июня 1994 года прошла третья международная конференция «Сопrotивление в ГУЛАГе». Общество «Возвращение» выражает глубокую благодарность руководству и коллективу академии, окружившим вниманием и заботой более двухсот участников конференции, прибывших из разных стран. Конференция не имела спонсорской поддержки, но все же мы смогли оплатить дорогу и пребывание в Москве бывшим узникам ГУЛАГа, приехавшим в Москву из разных уголков России и стран СНГ. Среди них выделялась группа участников Кенгирского восстания, сорокалетие которого отмечалось как раз в дни конференции (см. журнал «Воля», № 2 — 3).

В том же номере нашего журнала помещено обращение участников III международной конференции «Сопrotивление в ГУЛАГе» к российской общественности.

Бывшие узники ГУЛАГа и нацистских концлагерей посчитали своим долгом инициировать общественное движение «Объединение граждан России» с целью построения открытого демократического общества.

Сотни тысяч семей в нашей стране подвергались необоснованным репрессиям — они знают, что такое тоталитаризм. Это и есть та немалая часть общества, которая, будучи объединенной, способна активно влиять на положение в России, которая в силу своего опыта более всего заинтересована в порядке, законности, в подлинно демократических преобразованиях. В редакцию «Воли» поступило немало откликов на эту инициативу из разных регионов, в частности из Санкт-Петербурга, Ярославля, Томска, Кургана, Челябинска, Владивостока... Обращение бывших узников ГУЛАГа и нацистских концлагерей выявило потребность в таком объединении.

К сожалению, московское историко-литературное общество «Возвращение» лишено финансовой возможности провести



**Выступление председателя гражданского комитета
Ханса Швенке (Германия) на 3-й международной конференции
«Сопротивление в ГУЛАГе»**

структурную организацию подобного Движения, но оно может играть роль информационного центра — и тем в большей степени, чем больше будет в России распространителей журнала «Воля».

Издание печатной продукции становится все более дорогим. Именно поэтому очередные номера журнала «Воля» выходят позже намеченного срока.

На конференции «Сопrotивление в ГУЛАГе» состоялась презентация двадцати трех книжек продолжающейся серии «Поэты — узники ГУЛАГа», подготовленных и выпущенных в свет Заярой Артемовной Веселой. В этой уникальной серии, издаваемой небольшим — 200 — 300 экземпляров — тиражом, в основном стихи неизвестных поэтов.

На презентации книги «Голоса» (воспоминания французенок — узниц нацистских концлагерей) отмечалось сходство судьбы узников двух тоталитарных систем; высокой оценки заслужила книга голландского историка Марка Янсена «Суд без суда» о первом показательном процессе над левыми эсерами (1922 г.); с глубоким волнением слушали выступление автора книги «Если не выскажусь — задохнусь!» Андрея Эйзенбергера и Цецилии Александровны Воскресенской, сохранившей его письма из лагеря; автор книги «Конец штази» (история одной секретной службы) Анне Ворст и видный политический деятель Германии Ханс Швенке рассказали об обстановке в ГДР в период ликвидации штази, о документах из архивов этого учреждения, свидетельствующих о тоталитарной слежке за гражданами; говорилось о высоких художественных достоинствах повести Вилена Разина «Строка в «амбарной» книге» и об искренности и открытости книги Валентины Иевлевой «Непричесанная жизнь».

Со времени проведения этой конференции прошло больше года. Мы намечаем издать отдельным сборником материалы всех конференций, а пока печатаем, на наш взгляд, наиболее актуальные и сегодня выступления участников конференции 1994 года.

Александр Базаров

ДЫРА В СТАТИСТИКЕ

Дорогие друзья! Я заведу кафедрой экономической теории Курганской сельскохозяйственной академии. Наверное, вам будет интересно то обстоятельство, что провинциальная политическая жизнь, а таковой провинцией является наш Курган, да и не только Курган, более трагикомична, иной раз более ортодоксальна, чем в Москве. И часто она выливается в такие политические страсти, которые не только остры, но и смешны. Любое новое движение, как правило, возникает в двойственном варианте: сначала на местах, от естественных демократов, а затем в варианте номенклатурном. И часто провинция представлена в центральных российских политических организациях дважды: один вариант — естественно возникший, другой — номенклатурный. Как правило, последний имеет больший вес.

И все-таки я считаю, что лучшим вариантом для России явился бы вариант компромисса, постепенного сближения на основе уважения национальной культуры, на основе подлинного постепенного решения экономических проблем и постепенного вовлечения в политический процесс самой порядочной и пока в значительной степени политически инертной глубинки.

Несколько слов о себе. Как ученый я работаю уже 10 лет над проблемами массовых репрессий против крестьянства. Мною издана книга, с которой на прошлой конференции, наверное, познакомились, кое-кто взял («ГУЛАГ. АгроГУЛАГ» Первая часть). Это документальный рассказ об экономических, политических репрессиях против крестьянства, о ссылке и раскулачивании на Урале. Урал виделся не только образцом проведения политических кампаний, но и стал одним из основных регионов социалистической колонизации, местом ссылки. В настоящее время я продолжаю эту работу наряду с общественной работой.

К следующей конференции, я вам обещаю, выйдет результат... большой книгой — результат моей работы, охватывающей период от раскулачивания, выселения, ссылки до предвоенного времени. Это будет и 37-й год на Урале, это и «закон о пяти колосках», это и чертогон борьбы с вредительством, то есть

как стал колхоз и как мы стали колхозниками и по психологии, и по политическим убеждениям.

Особое внимание занимает проблема ссыльного детства. Я привез сюда фильм, документальный фильм, который недавно снял по материалам детской ссылки. Фрагменты этого фильма прошли 7 мая на НТВ, сейчас стоит вопрос о прогоне этого фильма на Центральном телевидении. Мне кажется, что во многом, что мы получились такими, что мы стали политически инертными, что мы очень медленно просыпаемся, виновата долговременная массированная репрессия и по отношению ко взрослому населению, и репрессии по отношению к детям.

На Урал к 1934 году было сослано более 250 тысяч детей, особенно в первую ссылку. Большая часть из этого детства пала жертвой голода. С 1931-го по 1934 год, по данным ОГПУ, образовалась страшная дыра в статистике: 150 тысяч детских душ только на Урале. Затем последовала так называемая интеграция детских детдомов. Когда детские детдома были распределены между такими «просветительскими» органами, как ОГПУ, НКВД, Собес, Минздрав, и каждая из этих организаций проявила себя в худшей степени по отношению к российскому детству. Вот этот фильм, который я привез, если есть возможность, мы его, наверное, сможем посмотреть, если будет видеоаппаратура.

В заключение мне хочется сказать, что на компромисс как единственную форму национального сближения нужно идти, не забывая о нашей истории, не забывая о тех, кто страдал безвинно. Я думаю, что что-нибудь из того, что я сделал профессионально, как ученый, может быть, войдет и в ту историю, которой мы будем в будущем учить наших детей, длинной истории России.

Я привез несколько экземпляров книги. Всем я подарить не могу, но подойдите в перерыве — я вам подпишу эти книги с удовольствием, потому что я в первый раз на такой конференции. И хоть я профессиональный преподаватель, волнуясь страшно. Простите меня за это и поймите. Спасибо.

Людмила Новикова

ГУЛАГ И ШКОЛА

В начале июня по радиостанции «Свобода» выступала Фатима Салказанова, совершающая поездку по городам Урала и Сибири с французским телевидением. Она воспроизвела разговоры с пермскими детьми. Выяснилось, что дети не знают о лагерях, которые так недавно существовали в их краях. Такими же незнайками оказались и взрослые.

И это не единичный факт. Почти повсюду дети вырастают равнодушными людьми, живущими только сегодняшним днем и думающими только о своем личном благополучии. Мы ужасаемся, взирая на кучи мусора на наших улицах и дворах, на поломанные деревья и на вытоптаный газон. Нас потрясают так называемые «разборки» прямо под нашими окнами и разгул преступности по всей стране.

Почему же такое стало возможным? Да потому, что в стране давно царят лагерные нравы. Настоящие граждане не допустят варварского отношения к природе, они ценят и берегут свои леса, луга и даже болота. Они уважают неприкосновенность человеческой личности. Общество, где человек практически лишен даже права на жизнь, не может называться гражданским. Вот почему у нас так остро стоит вопрос о гражданском воспитании. Все дети рождаются беззащитными и ласковыми. Со временем у каждого развиваются индивидуальные черты, вплоть до таких, как честолюбие и властолюбие. Но если у человека есть моральные запреты, то даже самый большой честолюбец не станет добиваться своей цели нечестными средствами. Он будет сердиться, приходить в отчаяние, но никогда не прибегнет к клевете, несправедливым обвинениям и уничтожению своего конкурента. Таким его делает разумное семейное воспитание. Если на все свои «почему» он получал ответы, если от него не скрывали правду и он видел, что родители всегда справедливы, то многие скверные поступки товарищей для него просто неприемлемы.

Идея гражданского воспитания не нова. Существовала она и в СССР. Будущих граждан воспитывали на примере Павлика

Морозова. Ребенок играл в военные игры. А детские книги воспитывали непримиримого человека-борца.

Вся система народного образования была подчинена одной цели: создать человека «социалистического» общества. Учебные пособия и даже так называемые «классные часы» были ужасающе однообразными. То же однообразие охватывало и пионерскую и комсомольскую работу.

Особенно скучными были уроки истории. Нельзя было отступить ни от одной буквы учебника. У детей возникало стойкое отвращение к этому предмету. И тем не менее некоторым талантливым учителям и краеведам удавалось заинтересовать ребят изучением истории родного края. В местах, где происходили сражения во время Великой Отечественной войны, начали создавать группы поиска, и дети открывают захоронения и даже помогают установить имена погибших.

Все это прекрасно. Но сколько могил совсем иного рода еще ждут своих следопытов! Сколько Куропат и Бутово! И географическая карта ГУЛАГа представляет собой сплошное белое пятно для школьника.

Мы считаем, что школьникам нужны пособия по истории тоталитарных систем. Первым таким пособием может стать книга для чтения, предназначенная младшим школьникам. Вспомним наши детские любимые книги, ими зачитываются и нынешние дети. Ребенок до слез жалеет Каштанку и Муму, восхищается Дубровским, дрожит, читая «Вия» и «Страшную месть». Книги развивают в нем сострадание к слабым и обездоленным.

Так почему же не подобрать отрывки из художественных текстов, оставленных нам стилистами — узниками ГУЛАГа? Здесь будут и Гаген-Торн, и Слиозберг, и Гущик, и Сухомлина, их много, талантливых писателей — прозаиков и поэтов.

В книгу войдут короткие истории, которые вызовут массу вопросов. А учитель подтолкнет детей на новые вопросы. Люди живут в очень холодных местах, у них нет настоящего дома, а барак или даже палатка, как это может быть? Они не родственники, но почему-то живут все вместе. Почему тети и дяди живут отдельно друг от друга? А дети у них есть? Почему дети остались с бабушками и дедушками, а не приедут к родителям? Что едят эти странные взрослые? Что такое баланда? Почему этим людям не платят денег? Ведь они же работают? Кто же они? Кому понадобилось их арестовывать? И почему?

При умелом подборе текстов дети поймут, что эти люди жили в стране, которой управляла шайка злых разбойников. Раз-

бойники заставляли их на себя работать, всех несогласных убивали, а потом убивали друг друга, заматывая следы. Простые люди терпели. И чем лучше был человек, тем больше его мучили. Юный читатель станет смотреть на этих страдальцев с сочувствием. Однако во всем надо знать меру — нельзя перегружать книгу описанием ужасов. Ведь в наших архивах есть трогательные и прекрасные истории и стихи. Какие чудесные картины природы мы видим в письмах Татьяны Мягковой к ее маленькой дочери! Какие поэтические письма пишет Берте Бабиной ее муж, в них нет ни слова о трудностях, но зато сколько наблюдений за звездами и воспоминаний о музыке. Алла Лебединская в лагере пишет стихи о детстве, о Снежной Королеве и стойком оловянном Солдатике... Я не могу удержаться, чтобы не процитировать несколько строф из ее «Голубиной книги».

Детство с запахом ромашки,
В пятнах вишен и морошки,
Свет, играющий в пятнашки
С тенью листьев на дорожке.

.....
Спор грибных дождей и града
В торопливой перебранке;
Мокрый сад в сиянье радуг,
В брызгах солнца спозаранку.

.....
И, врываясь на рассвете,
В шуме, щебете и блеске,
Далью моря бередил ветер,
Вздув, как парус, занавеску.

.....
И когда он на рассвете,
Пролетая, звал с собою,
За ограду рвались ветви
Взбунтовавшейся листвою.
Ветви рвались за ограду,
В дальний край, за облаками,
Где сияют арки радуг
За горами, за долами,
За чертой земли, за краем
Света — в некотором царстве,
В синем Золушкином рае,
В тридесятм государстве.

Такие стихи вызовут у ребят уважение и восхищение — у поэта дома осталась совсем маленькая дочка.

Конечно, только на сборнике текстов останавливаться нельзя, нужна система. Перед глазами детей уже прошла череда самых разнообразных людей — ученые, крестьяне, бывшие партийцы и бывшие аристократы... Потом выяснилось, что у многих в семье были репрессированные. Естественно, у детей появится много вопросов.

Младшие школьники чувствительны и впечатлительны. Ребята среднего школьного возраста пытливы и любознательны. Их заинтересуют и старый фанерный чемодан, и фотографии в альбоме соседки. Им захочется узнать побольше о своей деревне, о своем городе, о прошлой жизни родных и знакомых. Под руководством опытного краеведа они откроют и места захоронений, и редкие документы и фотографии, и имена тех, кто жил здесь «в минусе» или на «сто первом километре».

Конечно, можно организовать вечера памяти и приглашать на них стариков, помнящих былые времена и желающих поговорить о них с молодежью. Не исключено, что найдутся и такие, кто станет вздыхать о прежней счастливой жизни. С одной стороны, это и неплохо, так как даст возможность вспыхнуть стихийной дискуссии. Но если часто проводить торжественные встречи и парадные церемонии, то идея гражданского воспитания может выродиться, стать привычной и скучной.

К старшим классам дети будут уже подготовлены к восприятию курса истории тоталитарных систем. В этом курсе значительное место займут события, о которых в прежних учебниках истории стыдливо умалчивалось: организованный голод 30-х годов, гонения на церковь, обезглавливание армии накануне второй мировой войны... и, конечно же, массовые расстрелы и репрессии. По-новому будет рассматриваться и история геноцида гитлеровцев в отношении евреев.

Самой трудной окажется проблема учителей и наставников. Если будут созданы даже очень хорошие пособия и учебники, то, попав в руки учителей прежней формации, они ничего не изменят в деле гражданского воспитания и образования. Обо всем этом надо думать и думать... Но без коренных перемен новые, прогрессивные идеи обречены на неудачу.

В странах Западной Европы давно поняли необходимость гражданского воспитания. Оно обострило комплекс вины у немцев. Германии удалось воспитать граждан!

Недавно французы — бывшие узники нацистских лагерей — подарили нам свое учебное пособие, посвященное проблеме гражданского воспитания. Это не очень большая, но емкая книга,

состоящая из двух частей. Она, несомненно, может помочь в нашем деле. Авторы-составители рассматривают ход войны 1940 — 45 годов во Франции: оккупацию, Сопротивление и депортацию. Каждая из двух частей содержит несколько приложений: дается подробная библиография книг, газет, журналов, фильмов и почтовых марок; тексты песен и стихов, написанных в лагере; фотографии; географические карты. Даются продуманные рекомендации о том, как проводить школьные торжественные церемонии, посвященные памятным датам, как организовывать школьные конкурсы, какие музеи, выставки и памятники можно посетить и в какие места совершить паломничество.

Первая часть книги написана Жаном Мансоном и предназначена ученикам. Исторический материал в ней изложен кратко, четко, логично. Для нашего школьника такой учебник был бы труден — французы рационалистичнее нас. И все же эти коротенькие главки производят сильное впечатление. Поражают страдания людей. Поражает героизм участников Сопротивления.

В этой части предлагаются также система упражнений и темы для исследования. Так, учащиеся третьего класса разыскивают фотографии и документы, составляют карты, подбирают иллюстративные материалы, рассказывают о путешествии по памятным местам, находят материалы о героях Сопротивления, связанных с их родными местами. Детям предлагается подготовить речь для торжественного собрания, посвященного памятной дате; произнесет ее тот, у кого она получилась ярче и доходчивее. А выпускникам даются темы, требующие умения размышлять и четко аргументировать свои доводы. Я назову некоторые из этих тем:

— На стенах Мемориала бывших узников на острове Сите в Париже написано изречение: «Прости, но не забудь». Как вы его понимаете?

— «Отчизна возрождается в том месте, где я погиб». Прокомментируйте эту стихотворную строчку Луи Арагона, выгравированную на памятнике партизанам, погибшим в борьбе за Францию в Валь д'Анфер в Седроке.

— Лагерь для участников Сопротивления и нацистская концентрационная система.

Вторая часть пособия написана Жоржем Веллером. В ней излагается примерно тот же материал, но автор останавливается и на более глубоких аспектах, например, на психологии палачей и жертв. В систему оболванивания и обезличивания заключен-

ных входили и скученность в бараках и публичные казни, причем исполнителями назначались уголовники. Узники переставали доверять людям, а некоторые становились добровольными доносчиками. Но, несмотря на все это, и в лагерях готовилось Сопротивление.

Гражданским воспитанием занимаются не только на уроках истории и литературы. Начиная с 1961 года ежегодно проводятся конкурсы школьников по проблемам Сопротивления и депортации. Победители вместе со своими учителями выезжают в Париж, где им вручаются награды.

Закончить свое выступление мне хочется небольшим отрывком из поэмы Леона Бутбейна, опубликованным во французском пособии. Поэма написана белым стихом.

КОНЕЦ

Они уж близко. Вот они! Конеч!

.....
Заря торжественно встает,
Холмы еще подернуты туманом.
Они проходят в лагерь и тупо
Жуют резиновую жвачку.
Они — пришельцы из других миров...
Я поднял голову:
Деревья зацвели.
И в первый раз за все эти три года
Я разрыдался.

Валерий Абрамкин

ГУЛАГ СЕГОДНЯ

Я занимаюсь сегодняшним ГУЛАГом, являясь директором центра содействия реформе нового правосудия, экспертом в комиссии по правам человека при президенте, экспертом комиссии по пыткам в Госдуме России. Буквально несколько слов о ситуации сегодня в наших тюрьмах и лагерях. Потому что часто спрашивают, а вот можно ли то, что происходит сегодня, называть ГУЛАГом, не является ли это оскорблением памяти тех, кто прошел ГУЛАГ, кто погиб в ГУЛАГе. Я совершенно определенно могу сказать вам, что ГУЛАГ существует, более того, он крепнет, и, более того, есть опасность того, что он может стать главным препятствием демократическому будущему России, то есть будущему наших детей и наших внуков. Сейчас в России один миллион заключенных. Об условиях: цифры на 1991 год — заболеваемость туберкулезом в 17 раз стала выше, смертность — в десять раз выше. По последним сведениям, положение ухудшилось. По некоторым регионам заболеваемость выросла с 1991 года в 8 раз, по другим — в 3 раза. Например, опять-таки по официальным данным, скажем, при обследовании заключенных Нижегородской области 98 процентов имели дефицит веса. То есть люди просто голодают. Конечно, возникает вопрос: а кто же там сидит сегодня? Вроде бы нет политических, вроде бы везде пишут, что сейчас сидят только самые страшные злодеи. Я с 89-го года посещаю и лагерь и следственные изоляторы, и у меня такое впечатление, что милиция ловит не преступников, а тех, кого легче поймать.

Я все время прошу показать мне какого-нибудь крутого мафиози, рэкетира, какого-нибудь крупного преступника. И вот все, кого мне показывают, никак не похожи на тех мафиози, которых описывают в газетах. Коррупция в правоохранительных органах достигла фантастических размеров. И, по опросам населения, многие больше боятся милиции, чем преступников. Потому что, когда ОМОН врывается в коммерческую фирму и кладет всех сотрудников на пол, избивает, занимается гра-

бежом, то непонятно, кого звать: ну что, звать тогда, так сказать, этих крутых мафиози, что ли? Возможно, вы знаете недавний случай. В одной из камер Бутырской тюрьмы была устроена сходка воров в законе. Да, туда собрали воров, которые находятся в Бутырках, и с воли еще восемь человек пришли. Да, и был ужин. Две официантки обслуживали. Там и икра была, и все было. Вот это размах коррупции. Вы могли бы себе представить, скажем, несколько лет назад, что такое возможно? В Бутырках, откуда не было никогда побегов. Когда взяли эту смену дежурившую, у одного из офицеров в кармане было полторы тысячи долларов. Это, видимо, не вся сумма, которую он получил. Потому что у входа еще два человека ждали своей очереди поужинать вместе с ворами в законе. Материалы, которые уже собраны нами, говорят о зверских и диких пытках, которые применяются во время следствия. Вы, наверное, помните хабаровский сюжет, когда подозреваемого так профессионально пытали, что он называл в качестве соучастников всех своих друзей. Два его подельника погибли. Одного посадили на кол. Это вот такое средневековье сейчас существует.

Это все факты, установленные в Госдуме Российской Федерации. На кол посадили! А второго забили насмерть и поручили местному мафиози спрятать его труп в лесу. Труп спрятали. Этот случай интересен не зверством, а тем, что все-таки была проверка и все это было подтверждено. Результат: некоторых уволили, некоторых привлекли за превышение должностных полномочий. По октябрьским событиям в Москве, когда милиция забирала простых людей, были свидетельства более 80 журналистов. Практически только в одном случае как-то виновный был наказан. И вот это страшная ситуация, потому что возрождаются сталинские традиции неразборчивости и избыточности репрессий. Это страшно потому, что эти органы выходят из-под контроля.

Это страшно потому, что руководитель бывшего КГБ заявляет по телевидению в «Итогах», что права человека будут нарушаться, но в интересах подавляющего большинства населения. А его заместитель напомнил историю, что в 1919 году в Моссовете выступал председатель московской ЧК и сказал, что за год они преступность побороли — почти всех расстреляли. Вот он говорит, что такие жесткие меры большинство населения сейчас поддержит. Это заявляет руководитель высшего эшелона власти. И потом Ельцин говорит, что нет социальной базы коммунизма. Так она вот под ним, эта база. Я был в четверг

в Бутырской тюрьме, я там провел год в 1980 году, условия жуткие, они хуже, чем описаны, скажем, Шаламовым в его документальной повести «Бутырская тюрьма». Сейчас в камере на 60 метров — сто человек. Мы, когда туда входили (я был с комиссией Думы), спросили, у кого есть вопросы, и, чтобы подойти к этим людям, нужно было пробираться, как в переполненном трамвае. Люди чешутся. В тюрьме нет лекарств, нечем лечить чесотку. Тюрьма задолжала 28 миллионов рублей за лекарства, им уже не отпускают. Мы сейчас покупаем хотя бы на одну камеру лекарства. Это общая картина. Мы выпускаем книги... Недавно выпустили «Как выжить в советской тюрьме». Там не только юридические советы, там просто общее представление о тюремном мире сегодня. И, может быть, вам это будет интересно. Также мы выпускаем книги серии «Уголовная Россия: тюрьмы и лагеря». Первый том — это «Тюремный мир глазами политзаключенных», «Письма из зоны» — второй том.

И будут еще книги «Женские лагеря», «Мужские лагеря», «Малолетка», «Бунтующий ГУЛАГ». Каждый вторник по радио «Россия» выходит передача для заключенных «Облака» в 20 часов 10 минут. Это 20-минутная передача. Мы называем ее «голосом заключенных», помня о том, что в России не только миллион заключенных, не только миллионы их родственников, но и миллионы бывших зэков. По разным оценкам, от 15 до 25 процентов взрослого населения — бывшие заключенные. Вот, может быть, все эти факты хотя бы немножко развеют дурной туман, тот, что сейчас нагнетают под видом борьбы с преступностью. Потому что на самом деле понятно, что эти ведомства целью своей не ставят действительно бороться с преступностью, они хотят еще больше средств, возможностей, беспредела и так далее. Эти страшные следователи, которые пытаются подследственных, — угроза России. Это готовое будущее ЧК. Вот на этой тревожной ноте я хотел бы закончить. Большое спасибо.

В

Галина Воронская СЕРПАНТИНКА

В теплицу после обеда пришел косоглазый нарядчик.

— Иди, Рада, в лагерь. И вещи, какие есть в теплице, забирай с собой.

Рада пасынковала помидоры и вся перепачкалась зеленью. Она удивленно посмотрела на нарядчика.

— Сам толком не знаю. Говорят, пришла телефонограмма везти тебя в Магадан, и машину с конвоем прислали. Да ты не тушуйся, Магадан не Серпантинка!

Только этого ей недоставало! Сейчас самое лучшее было сидеть на месте и чтобы о тебе никто не вспоминал. Вызов в Магадан, когда по лагерям шли аресты, расстрелы и добавляли сроки, не предвещал ничего хорошего.

В тамбуре было много людей, все побросали свою работу. Заключенные смотрели на нее откровенно жалостливыми глазами.

— До свидания, Рада!

— Прощайте, Рада Николаевна!

— Спасибо вам за хлеб, за махорку, дай Бог, чтобы у вас все хорошо кончилось!

Они провожали ее, как провожают в последний путь. Рада улыбалась жалкой кривой улыбкой, еле сдерживая слезы.

— Спасибо. Счастливо вам оставаться. Спасибо.

В лагере уже все знали. Тетка Павлина всплакнула, прижав Раду к мягкой широкой груди.

— И куда они тебя, мое дитятко, волокут? Мало им, что такую молоденькую зазя в лагере гноят.

Прибежала Нюша из кухни с буханкой хлеба, салом и большим куском соленой горбуши.

— Это тебе повар старший велел передать. Пусть, говорит, напоследок хоть поест досыта.

— Что вы меня отпевааете? Меня в Магадан везут, а не на Серпантинку.

— И-и, милая!- Они же врут, как сивые мерины! Намедни одному картедешнику сказали: в Магадан, мол, вызывают, а самого свезли на Серпантинку — и в расход.

В самом деле, ей просто не пришло в голову, может быть, ее тоже повезут на Серпантинку, а про Магадан говорят для успокоения.

Ольховая в пестром халатике лежала с закинутыми за голову руками. Фельдшер дал ей на сегодня освобождение от работы. Она лениво протянула воркующим голосом:

— А вдруг Раду вызывают на пересмотр дела и освободят!

На Ольховую все дружно зашикали. Известно, как сейчас пересматривают дела: вместо пяти дают восемь или десять, а то и двадцать пять.

Рада с тоской поглядела на свою пустую койку. Постель она уже связала в узел. Оказывается, у нее была не такая уж плохая жизнь: выращивала в теплице помидоры, считала время до окончания срока, иногда даже удавалось доставать книги и потихоньку их читать, любовалась долгими северными закатами над сопками. Неужели эту замечательную жизнь у нее теперь отнимут? За что? Что она сделала?

«За что?» Это, как припев к песне, шло теперь через ее жизнь и жизнь ее товарищей. «За что?» — писали и выцарапывали на стенах камер и пересылок, вырезали на скамейках и деревянных столах. «За что?» — неизменно кончались все рассказы заключенных о своем деле и следствии.

Прибежала растрепанная маленькая Лидка-Чинарик, сунула кулек с шоколадными конфетами.

— «Мой» тебя так жалеет, так жалеет. Молоденькая, говорит, такая, и чего ее «на луну» отправляют?

Тетка Павлина помогла донести Раде вещи до вахты, утерла косынку свои добрые выцветшие глаза, перекрестила Раду широким русским крестом.

У вахты уже фыркала машина и ждали два незнакомых вохровца. Раду посадили в кузов между ними. Машина тронулась, проплыл мимо беспорядочно разбросанный «вольный поселок», вдали торчали «отвалы» и промприборы. Поворот, еще поворот, они заехали за сопку. Раде всегда хотелось знать, что там, за этой сопкой, но теперь ее это не радовало. Там опять были сопки, безымянные, бесконечные, как волны.

Они ехали по узкой ухабистой дороге, отходящей от центральной трассы. Сопки, сопки теснились со всех сторон. Дальние — синие, ближние — серо-зеленые, а между ними лежали

болота с бурными кочками; а над всем этим распростерлось белесое небо.

Было жарко, и хотелось пить.

— Куда мы едем?

Длинноносый вохровец отрезал:

— Куда надо, туда и везем. А тебе зачем?

— Интересно.

— Ин-те-ре-е-сно! В лагере ей сидеть интересно. Молодая, а уже успела советскую власть предать. Она тебя, советская власть, кормила, поила, учила, а ты ей напакостила. Контр-революцию разводила?

— Ничего я не разводила. Отвяжись!

Вмешался второй конвоир:

— Все они, кого ни спросишь, ничего не делали. А за что им десятки да пятерки прилепили, неизвестно. Политрук говорил: у нас ни один человек зря не сидит. Тебе сколько дали?

— Не твое дело!

— Наверное, десятку, а то и пятнадцать. Хороша птичка. За ней одной машину гоняют.

— А может быть, у нее двадцать пять, — вставил длинноносый.

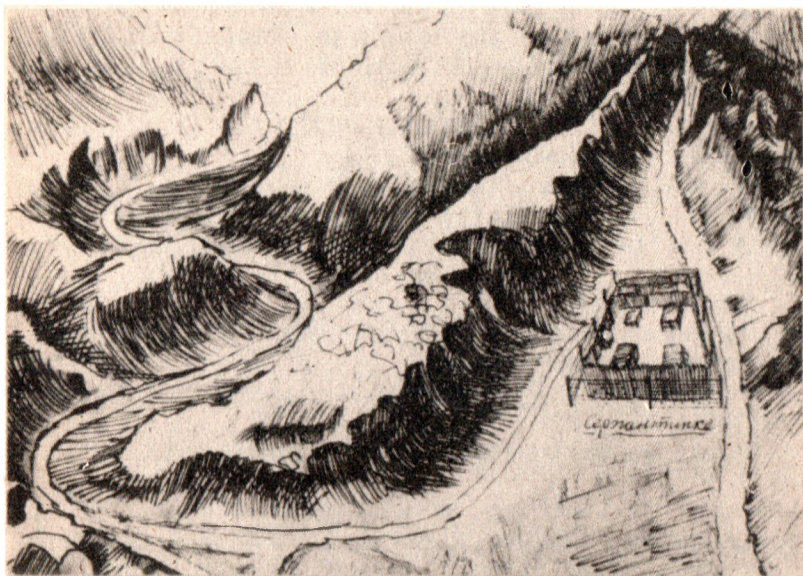
— Может, и двадцать пять, — охотно согласился второй вохровец.

Наверное, им нравилось, что они везли женщину с таким большим сроком. Господи! Какие же дураки ей попались! А если ее действительно везут на Серпантинку? Неужели до последней минуты она не услышит настоящего человеческого слова?

Вечером они приехали в большой незнакомый поселок, машина остановилась у длинного свежешвыкрашенного розового здания райотдела. Раду ввели в комнату к дежурному. За письменным обшарпанным столом сидел плечистый парень с белокурым коком и с треугольными темными бровями, он был похож на клоуна. Зевая, дежурный взял пакет и какую-то бумажку от конвоира.

— Значит, едем в Магадан? Ты чего там в лагере, чернявая, натворила? Куда вот только тебя девать на ночь? Сидорчук, — крикнул он в полуоткрытую дверь, — маленький изолятор у нас занят?

— Занятый. Сами распорядились туда завмага и беглого с прииска посадить.



Серпантинка
Рисунок И. Ф. Тартина

— А-а! — сладко зевнул дежурный. — И куда тебя девать? Машина только завтра будет. А-а-а! Здесь нельзя оставить — служебное помещение. Прямо хоть домой к себе приглашай, — оглядел Раду с головы до ног, — а я бы не прочь, пригласил. — Глаза у него стали маленькими и масляными. — Боюсь только, что начальство заругает. А все-таки куда тебя на ночь девать? — Он поскреб затылок. — Придется тебя везти на Серпантинку, там есть женские камеры. — Увидел испуганные глаза Рады. — Да ты не бойся. Завтра отправим в Магадан, а одну ночьку переночуешь.

Все-таки ее везли на Серпантинку! Наврал или не наврал дежурный про Магадан? Впрочем, зачем ему врать, не очень-то они церемонятся с заключенными. Но ведь Ньюша рассказывала про человека, которому сказали, что его везут в Магадан, а отправили на Серпантинку!

Сгущались сумерки, уже прошла пора белых ночей, неясные звезды высыпали в небе. Дорога петляла по сопкам, потом машина спустилась в глубокую долину и остановилась у проволочных ворот, рядом была вахта. К темному небу тянулись вышки. Конвоир показал бумажку, машина проехала еще немного и встала у высокого глухого забора, густо перевитого колючей проволокой. Здесь была вторая вахта. Раде велели выйти. Она рассмотрела вдали домики с плоскими крышами, без тамбуров, похожие на товарные вагоны. Было непривычно пустынно и тихо.

Молодая вертлявая женщина с красными сережками обыскала с явным удовольствием Раду и ее вещи. Губастый дежурный, в небрежно накинутой на плечи черной телогрейке, играя тяжелой связкой ключей, велел Раде идти вперед.

У одного из домиков отомкнул ржавый висячий замок, такие замки раньше висели на лабазах. Пахло спертым, прокисшим воздухом, на нарах на каком-то тряпье сидели две женщины. Окно завешено мешковиной, под низким дощатым потолком — зарешеченная пыльная лампочка, она то вспыхивала, то совсем угасала, дверь за Радой заперли. Женщины встали с нар, и Рада ужаснулась их невероятной худобе и грязным рваным платьям.

— У вас не отобрали на вахте еду? — хрипло спросила высокая женщина с прямыми до плеч седыми волосами, подвязанными тряпочкой. Огромные темные глаза пристально смотрели на Раду.

— Нет, нет. — Рада засуетилась и начала развязывать мешок. — У меня есть сахар, сало, хлеб и даже шоколадные конфеты.

— Даже шоколадные конфеты! — эхом откликнулась вторая женщина. Она была моложе первой, на ней было надето зашпаленное платье в красную полоску с большим вырезом, из него выпирали ключицы.

Рада торопилась и никак не могла развязать узел.

— Дайте мне, — сказала седая женщина и попыталась развязать веревку, но у нее не было сил.

Раду поразили ее руки — кости, покрытые морщинистой бурой кожей.

Наконец Рада развязала узел и достала еду. Женщины набросились на нее, они ели все подряд: сало, конфеты, кету, хлеб, опять сало.

— Послушайте, — робко сказала Рада, — вы, наверное, давно голодные, это вредно — все сразу съесть.

— А вам жалко продуктов? — В темных глазах седой женщины мелькнули злые огоньки.

— Мне не жалко. После голода нельзя сразу много есть, вы заболаете.

— Нам не страшно, если мы заболеем, — сказала вторая женщина и заплакала, — теперь уже все равно. — Она всхлипывала и растирала слезы по лицу руками.

— Опять разнюнилась, — раздраженно заметила седая, — все время ревет и ревет, с ума от нее можно сойти. Всех хороших женщин расстреляли, а эту плаксу оставили специально действовать мне на нервы. Она скоро вся размокнет от слез. А почему вы не едите?

— Мне не хочется.

— Нам тоже вначале не хотелось. Но мы уже второй месяц сидим на «трехсотке» и горячей воде. Хорошо, кое-что приносят с собой товарищи, вот как вы. Теперь нас будет трое, я надеюсь, вы не такая рева, как Мара. — И она показала глазами на женщину в полосатом платье.

— Меня завтра увезут в Магадан, я у вас только переночую.

— Вранье. Никто бы вас не сажал сюда на одну ночь. Раз вы попали на Серпантинку, то нужно знать, что вас ждет. Эта дуреха все надеется на чудо, и представьте себе: я как-то днем задремала, а она встала на колени и давай Богу молиться, между прочим, муж у нее член партии.

— Ну и что ж! Это мое личное дело, — взвизгнула Мара.

— Вдобавок она еще истеричка. Время от времени закатывает истерики. А вы бросьте иллюзии: отсюда только одна дорога.

— А может быть, она действительно только переночует у нас, и ее отвезут в Магадан, — неуверенно вставила Мара.

— Глупости! Всегда у вас в голове глупости!

Женщины наелись. Мара под села к Раде, потрогала ее волосы, лагерную блузку.

— Какая молодая и здоровая! Я тоже была почти такая, когда меня сюда привезли, правда, Клавдия Ивановна?

Клавдия Ивановна убирала продукты.

— Никогда вы такой не были. Вы значительно старше ее. К чему все это? У вас есть курицево?

— Я не курю.

— Какой эгоизм. Ехали на Серпантинку и не взяли с собой курицево. В лагере все можно достать. Почему-то, когда поешь, курить больше хочется.

В камере надсадно звенели комары, полог на окне из мешковины не защищал от них.

— Вот если бы еще закурить, — мечтательно сказала Клавдия Ивановна.

— Вы давно здесь вдвоем?

— Восемнадцать дней. Раньше нас было девять человек, а в соседней камере за этой стеной было четверо, сейчас там никого нет. Когда меня привезли три месяца назад, здесь было шестнадцать человек, многие спали на полу.

— Где же они? — спросила Рада.

Ей никто не ответил. И только тогда она поняла, какой ужасный вопрос она задала.

Раду поразила тишина в зоне. В лагере никогда так не бывало, до отбоя на поверку над лагерем всегда стоял гул. Ходили в столовую, в санчасть, в амбулаторию, слышались шарканье ног, ругань, разговоры. А здесь тишина, и эти домики, похожие на теплушки, запертые на огромные висячие замки.

Рада спросила про Лину Васильевну.

— Да, она здесь была. Довольно милая женщина, хотя слишком часто плакала, особенно когда вспоминала мужа и сына. Ее взяли от нас примерно месяца два назад. Все, кого забирают, просят оставшихся передать приветы и всякие там прощальные слова их родным и твердят свои адреса. Родные живут за десять тысяч километров, а главное, отсюда обратно в лагерь никто не выходит. Бесплезная трата слов и нервов.

Они улеглись на нары. Электрическая лампочка все мигала, очевидно, электроэнергия подавалась от движка.

— Мы не спим по ночам, — сказала Мара, — но вы можете спать, потому что прежде чем... вас хоть один раз вызовут к уполномоченному.

— Зачем?

— Чтобы у вас была видимость дела. Нас с Клавдией Ивановной, например, обвинили в организации повстанческой лагерной группы. Чаще всего предъявляют это обвинение. До вызова вы можете спать спокойно.

Рада ворочалась с боку на бок, ей казалось, что она никогда не уснет, но все же она задремала. Проснувшись от какого-то неясного, далекого шума и оттого, что Мара, лежавшая около нее, содрогалась от крупной дрожи. Эта дрожь передалась Раде, и, полусонная, еще ничего не понимая, она почувствовала, что происходит что-то страшное.

— Что это? — шепотом спросила она Мару.

— Работают трактора...

Действительно, вдаль работало несколько тракторов.

— Ну и что ж? — все так же шепотом спросила Рада.

— А то, — четко выговаривая слова и не понижая голоса, ответила Клавдия Ивановна, — а то, если работают трактора — значит, расстреливают.

В зоне было по-прежнему тихо, только вдаль работали трактора. Через полчаса они замолкли.

— Все. — Клавдия Ивановна повернулась спиной, может быть, на самом деле хотела спать, а может быть, притворялась.

Раде вспомнилось, что в одной книге она прочитала о том, что казнь есть нечто большее, чем смерть. Казнь — это глумление и надругательство над человеком.

Неужели ее отсюда завтра не заберут? Неужели ее не увезут в Магадан? Она лежала до утра с открытыми глазами.

Утром откинули мешковый полог, зарешеченное без стекол окно упиралось в высокий забор с ржавой колючей проволокой наверху. В окно видны молочно-серое небо и сопка с торчащими пнями. Мара вынесла парашу в полуразрушенную уборную в центре двора.

— А прогулок у вас не бывает? — спросила Рада.

— У смертников прогулок не бывает. Почему вы все время задаете идиотские вопросы? — Клавдия Ивановна зло посмотрела на Раду.

При дневном свете женщины казались еще страшнее: грязные, с сальными волосами, они были настолько худы, что под желтой сухой кожей выступали кости черепа, а глаза были обведены широкими синими кругами.

— Она еще ничего не знает, и она еще такая молоденькая, — заступилась за Раду Мара.

— Все равно. Она все время задает глупые вопросы. Одна — истеричка, а другая — дура, послал Бог компанию.

«Неужели я тоже буду такая худая и страшная, как они?» — с тоской подумала Рада. Нет! За ней придут. Уполномоченный с лицом клоуна сказал, что сегодня пойдет машина в Магадан.

В полдень принесли немного кипятка и маленькие кусочки сырого хлеба. Это была знаменитая «трехсотка». Но у них еще оставались продукты: соленая рыба, хлеб и сахар. Рада начала подметать пол, стирать пыль. Она не могла больше ждать, за работой время шло быстрее.

Женщины лежали на нарах и смотрели, как Рада убирает.

— Мы тоже раньше следили за чистотой, а теперь не можем, ослабели, и нас ни разу не водили в баню. — Мара начала плакать. Сначала потихоньку, потом громче, она захлебывалась рыданиями и билась головой о доски.

— Вот, опять началось. — Клавдия Ивановна взяла кружку воды и вылила Маре за шиворот, потом несколько кружек на голову.

Дежурный открыл волчок.

— Ах, опять эта... — и отошел.

Мара затихла, ее укрыли бушлатом, и она уснула, изредка всхлипывая.

— С ней всегда после таких ночей истерики. Конечно, ей тяжело, у нее на «материке» ребенок. Но нельзя себя так распускать.

Рада вычистила камеру, даже стерла пыль с решеток. Никто за Радой не приходил и, наверное, никто не придет. Сколько ей здесь мучиться — неделю, несколько месяцев?

К вечеру сопки стали золотистыми, и один янтарный луч пробился в камеру. Рада потеряла всякую надежду.

— Я говорила, в Магадан вас не повезут. Уполномоченным нельзя верить ни единому слову.

Мара проснулась и сидела на нарах, обхватив руками острые колени.

— А может быть... — начала она.

— Все ясно, — отрезала Клавдия Ивановна, и Раде показалось, что она довольна, что Рада останется с ними и будет ждать своего часа. — Сегодня ночью можно будет спать, после этого всегда неделю-две можно спать, пока они не подберут новую партию.

Но Рада эту ночь не спала. Неужели ее отсюда не заберут? А впрочем, почему ее должны забрать? Чем она лучше других? Клавдия Ивановна — член партии и участница гражданской войны, Мара — учительница, у нее ребенок. Разве у меня большее право на жизнь? Сколько еще придется ждать? Когда соберут следующую партию? На приисках не хватает тракторов, а здесь под их шум расстреливают людей. Сколько у них тракторов? Два? Четыре? И насмешливый, точно чужой голос подсказал ответ: когда тебя поведут, ты узнаешь, сколько у них тракторов!

Утро наступило сырое и мглистое. Несколько раз начинал накрапывать дождь.

«А во время дождя расстреливают?» — подумала Рада, но не решилась спросить.

У них еще оставались сахар и вчерашние пайки хлеба. Сегодня они все съедят, и начнется «трехсотка».

В полдень кто-то стал открывать замок.

— Вероятно, вас поведут к уполномоченному. Что-то очень быстро, я ждала вызова две недели.

Замок заело, и Раде казалось, что ключ поворачивается у нее в сердце. Наконец дверь открылась, и толстогубый вохровец, тот самый, что привел ее в камеру, ткнул в Раду толстым волосатым пальцем.

— Ты! Собирайся с вещами. Машина ждет.

— Какая машина? — еще не веря, слабым голосом спросила Рада.

— Обыкновенная, на четырех колесах.

Все-таки она едет в Магадан! Она будет жить, жить, жить!

Рада лихорадочно засовывала вещи в мешок, потом вдруг остановилась. Она едет, а Клавдия Ивановна и Мара остаются. Они сидели на нарах, поджав ноги, и глядели на Раду. Они ничего не говорили, они только глядели. Сейчас Рада выйдет через дверь в этот хмурый, ненастный и прекрасный мир, а они останутся здесь.

— Какая ты счастливая, — дрожащим голосом сказала Мара, — тебе обязательно надо жить, ты такая молоденькая. Но какая же ты счастливая! — с тоской в голосе повторила она.

— Эй ты, поскорее! Или тебе у нас понравилось? — И толстогубый вохровец расхохотался.

Клавдия Ивановна отвернулась и стала смотреть в окно.

Рада подошла проститься к Маре. Та расцеловала ее, потом оттолкнула и заплакала.

— Пайку хлеба свою возьми, — сквозь слезы пробормотала Мара.

— Нет.

Рада подошла к Клавдии Ивановне, она сидела, повернувшись спиной, и, казалось, внимательно рассматривала серый забор и натянутую по верху в шесть рядов колючую проволоку.

— Клавдия Ивановна! — Судорога сжала горло Раде. Только бы не заплакать! Плакать здесь нельзя, плакать она будет потом. — Клавдия Ивановна!

Та сидела неподвижно, из-под темного рваного платья углом торчали лопатки, можно было сосчитать все позвонки на высокой тонкой шее.

Рада слегка дотронулась до руки Клавдии Ивановны. Та передернула плечами, но так и не повернулась и продолжала молчать.

— Будешь еще мне тут церемонии разводить, пошли. — Вохровец схватил Раду за руку и вышвырнул ее за дверь, ногой наподдал ее вещи.

Мара забилась головой о нары и закричала диким голосом.

По дороге вохровец сказал Раде:

— А ты, девка, видно, в сорочке родилась, редко кого отсюда увозят.

Роберт Конквест

ШУТОВСКОЙ ФАРС¹

ОБ АВТОРЕ

«Я родился вскоре после июльских событий 1917 года, <...> первой неуклюжей попытки большевиков захватить власть, — писал Роберт Конквест в 1990 году. — Так что я и мое поколение видели и становление и кончину традиционного советизма».

В 1937 году он, двадцатилетний английский студент, две недели провел в Советском Союзе. Несколько лет он питал иллюзии в отношении советской страны и ее социализма. В конце второй мировой войны Конквест как офицер союзной армии был направлен в Болгарию. Он стал свидетелем послевоенной сталинизации страны, и это окончательно отвратило его от советской системы.

Затем Конквест служил в Министерстве иностранных дел, какое-то время работал при делегации Великобритании в ООН.

То, что творилось в Советском Союзе, вызывало у него ужас. Но еще страшнее, отмечал он, был успех фальшивой сталинистской пропаганды на Западе.

В 1956 году, чтобы более свободно писать о СССР, он ушел с дипломатической службы и занялся наукой.

Изданные им впоследствии книги представляли собой не только тщательное исследование: в них проявился писательский талант Конквеста (еще будучи дипломатом, он опубликовал сборник стихов и научно-фантастический роман). Его классический труд «Большой террор» (1968) привлек внимание многочисленных читателей. Под влиянием этой книги изменялось мировоззрение целого поколения. «Большой террор» стал расходиться в списках самиздата и в самом Советском Союзе.

Сейчас Роберт Конквест живет в Калифорнии. Он — профессор института Гувера.

Джон Кроуфут

¹ Глава из книги Р. Конквеста «Колыма». Изд. «Викинг пресс», Нью-Йорк, 1978 г.

К перечню всего того невероятного и одновременно позорного, что связано с историей Колымы, следует еще прибавить более чем двадцатилетнее упоминание на Западе самого названия этой области. Разумеется, всякая правда вообще о сталинских лагерях упорно замалчивалась. Но, по иронии судьбы, именно на Колыме побывали в составе делегаций многие известные люди, которые предпочли не заметить зла, не услышать о нем и не возвестить всему миру.

Такое отношение Запада к сталинской системе лагерей нельзя объяснить отсутствием неопровержимой информации. Советские органы безопасности могли и не заботиться о наведении железного занавеса. Запад знал правду и пренебрег ею. Свидетельства людей, побывавших там и вырвавшихся оттуда, публиковались еще в сороковые годы. Например, поляков из числа тех тысяч заключенных, которым в 1941—43 гг. разрешили покинуть Советский Союз на основании польско-советского договора. Опираясь на эти свидетельства, Мора и Звирнак написали в 1945 году фундаментальное исследование о советских лагерях, где особое внимание уделялось восьми большим лагерным зонам на территории, прилегающей к Дальстрою. В 1946 году рассказы польских иммигрантов, содержащие живые описания колымской действительности, были собраны в книге «Обратная сторона луны» с предисловием Томаса Стерна Элиота. В 1948 году увидела свет ставшая классической работа двух бывших меньшевиков, Д. Далина и Б. Николаевского, «Принудительный труд в Советской России», там перечислены уже пятнадцать колымских лагерей и лагерных зон, дано глубокое и подробное исследование того, как менялись условия жизни заключенных в процессе истории. В 1951 году появились еще две работы: «Одиннадцать лет в советских лагерях» Элинора Липпер и «Что происходит в России» Владимира Петрова; в обеих книгах Колыма показана изнутри. К настоящему времени таких свидетельских показаний опубликовано уже многие десятки, они перекликаются друг с другом и, вне всякого сомнения, сообщают правду.

Некоторые материалы об этом регионе опубликованы в Советском Союзе во времена Сталина. Они не только искажают факты, но дают совершенно придуманный образ Колымы. Воистину аркадскую идиллию нарисовал Е. Берзин в статье, опубликованной одной из московских газет в 1935 г. Рассказанное в серии очерков известинца Н. Загорного, опубликованной в 1944 году («Колыма — страна чудес»), соответствовало действи-

тельности даже меньше, чем другой материал сталинской эпохи «Дальний Север: Колыма, Индигирка» С. Болдаева — последний, по крайней мере, ближе соприкасался с тем, что описывал.

Широкое распространение получила легенда об освоении Колымы (а также ряда других областей) «комсомольцами-добровольцами». На этом акцентировал внимание своих избирателей не кто иной, как генерал И. Никишов во время областной избирательной кампании 1946 года. В особенности удивляет то, что вымыслы о комсомольцах повторялись двадцать лет спустя в «Известиях», уже на гребне хрущевской оттепели. Видимо, и сами публикаторы считали, что если здесь не вся правда, то хоть какая-то доля правды.

Между тем в это время уже было ясно, что сведения, приведенные Далиным, Липпер и другими, безусловно, точны. Уже некоторые советские публикации подтвердили их правоту во всем до мельчайших подробностей. В частности, это касается мемуаров генерала А. Горбатова и «Колымских заметок» Григория Шелеста. Но помимо этого, прошедшего советскую цензуру материала получил широкое хождение самиздатский. Кое-что перепечатывалось за границей без разрешения авторов (разрешения не спрашивали намеренно, чтобы не создавать авторам трудностей). Так попали за рубеж «Путешествие в вихрь» Евгении Гинзбург и сборник колымских очерков Роя Медведева под названием «Пусть рассудит история».

Читатели убедились, что советские материалы — даже официальные — подтверждают западные источники. Шкалы рационалов питания, местоположение лагерей, имена, условия жизни в бараках, постоянная угроза смерти, то, как вели себя власти по отношению к уголовникам и как уголовники относились к «политическим», условия на борту пароходов, таких, как «Джурма», — во всех деталях подтверждалась правда ранних свидетельств и исследований.

В «Большом терроре» я приводил примеры того, какие непомерные заблуждения питали относительно сталинской России известные люди на Западе. Доверчивость, наивное нежелание верить очевидному присущи целому поколению западных «левых». Но в книге я сказал лишь самое общее. Я, например, не упомянул измышлений сэра Джулиана Хаксли о том, что Сталин лично выезжал на станции и помогал разгружать железнодорожные составы. Не напомнил я и о демагогическом заявлении доктора Эдит Саммерскилл, что для оценки личности Ивана Грозного гораздо важнее, чем все его зверства, тот факт,

что он пригласил в Россию врачей из Европы, и, по аналогии, все сталинские пытки окупаются постройкой таких больниц, как те, что были ей показаны (следовало бы намекнуть ей в рабочем порядке, что даже с чисто медицинской точки зрения пытки не лучшим образом влияют на состояние здоровья).

Неправда и то, что обнаруженные факты до конца развеяли эти нелепые заблуждения. Баронесса Вуттон вспоминала в шестидесятые годы, какой невыразимый стыд она испытала, когда в советских школах ее встречали выкриками: «Вы приехали из Англии, где избивают детей!» Возражения (некоторые из них актуальны и по сей день) напрашивались сами собой: «Вы живете в России, где избивают подростков», «Вы живете в России, где расстреливают детей» и, наконец, «Вы живете в России, где не только бьют детей, но и подвергают их пыткам, скажем, четырнадцатилетнего Петра Якира растягивали на дыбе, чего в Англии уже много веков не делают и со взрослыми».

Почему же на Западе не желают верить тому, что само собою разумеется, тому, что досконально проверено и подтверждено фактами? И все же налицо печальная картина всеобщего самообмана. Иные заходят совсем далеко, подобно Жану Полю Сартру, заявившему, что, даже если советские трудовые лагеря существуют, правду все равно надо скрывать, дабы не заразить антисоветскими настроениями французский рабочий класс...

Но все же во Франции само слово «Колыма» прозвучало как зловеющий символ после того, как в 1950 году Давид Руссе, член Комиссии против концентрационных режимов, выступил против коммунистической «Ле леттр франсэз», обвинившей его в искаженном цитировании Советского уголовного кодекса. Главную защитницу коммунистов М. Джин-Лафитт спросили: «Если описанные нами колымские лагеря существуют на самом деле, вы согласны, что они подлежат осуждению?» На что она ответила: «Если скажут, что моя мать убийца, и велят ее осудить, я отвечу, что моя мать — это моя мать и она не может быть убийцей». Джин-Лафитт лишь выразила в более яркой форме тот процесс, который происходит в умах многих людей на Западе.

Разумеется, в настоящее время мало кто пребывает в неведении относительно происходившего и происходящего в Советском Союзе. Это уже существенный сдвиг с мертвой точки. И, однако, люди, долго и упорно сопротивлявшиеся правде, продолжают и теперь мешать странам, недавно преодолевшим тоталитаризм, освободиться от утопических предрассудков.

Бертран Рассел написал предисловие к одной книге об исправительном лагере, опубликованной в 1951 году. Книга содержала письма видных коммунистов, утверждавших, что «никаких таких лагерей на самом деле не существовало». Рассел давал следующий комментарий:

«Те, кто писал эти письма, а заодно с ними и господа туристы, позволившие себе этим письмам поверить, разделяют ответственность за все те ужасы, через которые прошли миллионы несчастных мужчин и женщин, приговоренных к медленной смерти от непомерных тягот принудительной работы и недоедания в арктической зоне. Господа туристы, которые отказываются верить очевидному... по всей вероятности, люди, лишенные человечности, потому что, будь у них элементарная человечность, они бы не отмахнулись от прямых свидетельств, дали бы себе труд проникнуть в глубь вещей».

Иллюстрацией всего сказанного ниже может послужить одно из самых абсурдных и, с любой точки зрения, ужасных событий во всей истории советских трудовых лагерей. Речь идет о короткой остановке на Колыме вице-президента Соединенных Штатов Генри А. Уоллеса с группой советников, возглавляемой профессором Оуэном Латтимором, представлявшим Отдел военной информации. Это произошло летом 1944 года. Начиная с конца тридцатых не были редкостью приезды западных знаменитостей, благорасположенных к советскому режиму, вроде Бернарда Шоу, в лесопроизводящие районы вблизи от Архангельска. Приглашения почетных гостей связаны были с желанием опровергнуть утверждения, что на заготовках леса, поставляемого на Запад, используется рабский труд. Тактика опровержения сводилась к следующему: колючая проволока снималась, сторожевые башни разбирались, а заключенных угоняли на несколько дней в глубь леса (в каких условиях они оказывались, можно себе представить). Так достигалась поставленная цель.

Визит Уоллеса — Латтимора на Колыму (при наличии известных параллелей) был куда более значительным. С одной стороны, здесь не надо было опровергать утверждений о существовании невольничьих лагерей, поскольку (как явствует из написанного потом) никакие подобные утверждения до них не доходили, а если бы дошли, то натолкнулись бы на глухую стену. И потом, конечно, вице-президент Соединенных Штатов — не то лицо, которое советское правительство могло избирать для своих целей. Для него и сопровождающих его лиц Колыма была

не более чем удобным остановочным пунктом во время перелета из Америки в Китай. Впрочем, трехдневная остановка давала возможность гостям собрать важную для них информацию об этой малодоступной территории советской Азии.

В печати появились восторженные отчеты Уоллеса и Латимора. В своей книге «Миссия в советскую Азию» Уоллес сообщает нам, что колымские золотодобытчики — это «здоровенные парни, прибывшие на Дальний Восток из европейской России». Он также называет их «пионерами машинного века», «созидателями больших городов». Далее с симпатией описывается зловещий Никишов, «как он прыгал от удовольствия, что выдалась прекрасная погода».

Один из бывших заключенных так комментировал этот фрагмент: «Очень жаль, что Уоллес не видел, как этот Никишов прыгал от удовольствия в предвкушении пьяного шабаша, а потом осыпал дикой, непотребной бранью истощенных, умирающих от голода узников, запирали их в карцеры без всякой провинности и заставлял работать в рудниках по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки, нимало не считаясь с ценою человеческой жизни».

О чудовищном Гоглидзе, с которым Уоллес повстречался позднее (он назван председателем Исполнительного комитета Хабаровского края — достойная «гражданская» должность, — но затем и более точно: закадычным другом Сталина), вице-президент пишет так: «Гоглидзе — очень славный человек, знает свое дело, хорошо воспитан, понимает людей».

Супруга Никишова Гридасова (комендант женского лагеря в Магадане, в оправдание которой можно сказать единственно то, что она не делала абажуров из человеческой кожи) тоже произвела самое приятное впечатление на Уоллеса своей осведомленностью, материнской заботливостью и непоказным вниманием к людям. Его познакомили с ней на необыкновенной выставке рисунка и рукоделия, где представлены были и копии знаменитых русских пейзажей. Все это сделали, повествует далее Уоллес, местные жительницы, проводящие суровые зимние вечера за этим увлекательным делом. Две их работы Уоллес получил в подарок от Никишова. Почему-то Никишов не сказал, чьи это работы, но позднее Уоллес узнал, что умолчание произошло из скромности: директор выставки объяснил ему, что, по существу, это работы Гридасовой, «художественной руководительницы».

«По существу», местные жительницы, чьи рукоделие демонстрировалось высокому гостю, оказались заключенными женского лагеря. Многие из них были в прошлом монахинями, и рукоделие их, украшавшее дома колымской полицейской элиты, служило средством увеличить скудные лагерные пайки.

Впрочем, заблуждение его простительно. Операция по сокрытию фактов от Уоллеса и сопровождающих его лиц проведена была, что называется, на высшем уровне. Все деревянные сторожевые вышки на дороге в Магадан приказали убрать. На три дня предполагаемого визита весь несвободный контингент, составлявший основную рабочую силу, был выведен из города. Более того, на случай появления гостей никого из заключенных не выпускали на лагерный двор. Всех загнали в бараки, и дни напролет для них крутились кинофильмы.

Уоллеса пригласили на вечернее представление спектакля в Магаданском театре имени Горького. По окончании спектакля актеров, каковые все были заключенными, тут же затолкали в машины и незамедлительно препроводили в лагеря. А в главе, посвященной культуре, Уоллес замечает, что господин Никишов и его друзья с удовольствием смотрели звуковой просоветский голливудский фильм «Северная звезда» — советскую колхозную идиллию.

Витрины магаданских магазинов заставлены были отечественными продуктами, свезенными сюда из всех концов края. А в течение двух предыдущих лет витрины эти были полупусты, а то немного, что еще можно было купить, поставлялось американцами по ленд-лизу. Одному из свободных жителей Магадана повезло войти в магазин одновременно с Уоллесом и закупить там всякой всячины. Следом поспешили и другие, но Уоллес успел отбыть и покупателям сообщили, что продукты не предназначены для продажи.

Об условиях жизни в области Уоллес сообщает следующее:

«В Советской России официально установлен восьмичасовой рабочий день. В военное время рабочий день увеличивается, и сверхурочная работа оплачивается дополнительно. Подростки до 18 лет работают те же восемь часов, а вечером продолжают свое образование в бесплатной школе.

При тех условиях труда, какие мы наблюдали в Дальстрое, тройная заработная плата представляется нормальной, тем более что питаются магаданцы почти так же, как москвичи. Люди в комбинезонах на Колыме тратят на свои нужды гораздо больше

денег, чем могли себе позволить золотоискатели в царской России».

Поскольку Уоллес имел сельскохозяйственное образование, его решили пригласить на ферму в двадцати трех километрах от Магадана. На самом деле это был обычный лагерь для уголовных преступников. Уоллес спросил свинарку, хорошо одетую, милостивую девушку, о ее работе. Вопрос был задан корректно, но девушка была немало смущена. Ее выбрали за красоту и изящество из канцелярии НКВД, и о свиньях она знала очень мало. Однако переводчик не растерялся и выручил хозяев.

Из Магадана гости выехали в Сеймчан, а оттуда в Берелех, где находились рудники. Вот как Уоллес описывает это посещение:

«Мы летели на север над колымской дорогой в Берелех, где расположены два прииска. Предприятие выглядит впечатляюще. Производство там развивается быстрее, чем в Фербенке, хотя условия в Берелехе более тяжелые. Добыча золота, угля, свинца — им подчинена вся жизнь колымского края, где проживает в общей сложности 300 тысяч человек. Более тысячи шахт находятся в рабочем состоянии».

Уоллес отметил, что шахтерам выдают хорошую одежду:

«Нас удивило, что колымские золотодобытчики носят резиновые сапоги американского производства, так как товары по ленд-лизу не поставлялись шахтерам. Но Никишов объяснил, что они были приобретены за наличные деньги в первые дни войны. Шахтеры просили нас передать американским рабочим послание солидарности, а председатель профсоюзного комитета Н. И. Адагин послал наилучшие пожелания Сиднею Хиллману и Филиппу Муррею».

Не лишены интереса замечания Уоллеса по поводу лагерной пищи: «Под Берелехом нас угостили необычно вкусной рыбой из колымских волн, и я стал спрашивать, кто шеф-повар этого шахтерского лагеря».

Профессор Латтимор описал этот визит в статье, которая появилась с фотографиями в «Нэшионэл Джеографик Мэгэзин» за декабрь 1944 г. Обронив несколько критических замечаний по поводу колонизации Сибири во времена царизма, он ринулся прославлять просвещенную систему, которая ее заменила. «Организованное развитие» советского Севера происходит под контролем «превосходного концерна». Это Дальстрой, который «возводит порты, железные и шоссейные дороги, управляет золотыми приисками и городскими муниципалитетами». Затем

проводится аналогия между Дальстроем и администрациями Гудзонского залива и долины Теннесси.

Советская система превосходит не только царские методы, но также и нашу деятельность перепела золотой лихорадки с «джином, ромом и громом». А здесь вместо этого строят оранжереи, кормят рабочих помидорами, огурцами, даже дынями, «чтобы быть уверенными в том, что золотодобытчики получают необходимое количество витаминов».

А вот рассказ бывшего заключенного об одной энергичной и жизнестойкой женщине, начальнице больницы: «Однажды она заявила, что будет строить теплицу для помидоров и согласна, если надо, привезти стекла из Магадана (город находился в трехстах километрах от лагеря). Конечно, помидоры потребляли она сама да немногие избранные, да медицинская верхушка золотого региона. И лишь время от времени помидоры доходили до больных. Но если бы не она, никому в больнице не досталось бы и половины помидора».

А вообще ни помидоров, ни других деликатесов не видели ни заключенные, ни медицинский персонал. А что касается витаминов, получаемых на рудниках в избытке, то мы уже писали о трагедии с похлебкой из сосновых игл. Это была единственная попытка дать заключенным витамины. Мы считаем нужным еще раз напомнить здесь, что полиавитаминоз зарегистрирован как заболевание, чреватое смертельным исходом.

На Латтимора произвел впечатление также балет — «высочайшего класса представление», и он процитировал с одобрением замечание своего коллеги, «что это было ослепительно, как само золото, и особенного восхищения заслуживает исполнительница главной роли». Балерину, разумеется, тоже представили высоким гостям. Операция прикрытия была тщательно продумана и успешно проведена, но, впрочем, гости и не были настроены критически. Никишов мог себя поздравить: он сумел произвести на Латтимора такое же хорошее впечатление, как и на Уоллеса. На время визита Никишов словно постарался забыть о своем военном статусе и держался как гражданское лицо, что более соответствовало той идиллии, которую дали заморочить себе головы Уоллес и Латтимор. Латтимор, в свою очередь, называет его «мистер Никишов» и сердечно радуется, «что председатель Дальстроя совсем недавно получил звание Героя Советского Союза за свои выдающиеся заслуги». И самое замечательное, по словам Латтимора, то, что Никишов и его жена отлично раз-

бираются в искусстве, любят музыку и еще обладают глубоким чувством гражданского долга.

Иллюстрации к статье Латтимора вполне соответствуют тому, о чем он пишет. Он поместил фотографию группы упитанных, бравых парней, снятую на золотом руднике. Ситуация как две капли воды повторяла визит на свиноферму. С заключенными, которые, как правило, работали в этих местах, у молодых людей с фотокарточки очень мало общего. «Они должны быть крепкими, чтобы перенести лютую зиму», — гласит подпись. Это, конечно, правильно: чтобы выжить в условиях Колымы, надо быть очень крепким. Но только на заключенных смотрели совсем иначе. Ясно, что они все равно не перенесут лютой зимы, и потому нет нужды укреплять их силы.

В своей ранней книге я уже упомянул об этом нелепом фарсе, разыгранном на фоне чудовищной трагедии Колымы. Некогда обозреватель «Нью Стейтсман» высказал неодобрение по поводу легковерия людей, подобных Латтимору. В ответ Латтимор счел необходимым написать письмо в журнал («Нью Стейтсман», октябрь, 18, 1968). Там он задает вопрос: «Неужели при таких обстоятельствах гости вправе совать нос в дела хозяев?»

Высказывание выглядит странно. Признания бывших заключенных уже прозвучали в печати. Даже самый лояльный обозреватель обратил бы внимание на то, что официальные отчеты идут вразрез с признаниями очевидцев. Еще труднее понять, как это иностранный гость после такого короткого общения с генералом Никишовым мог настаивать на его глубоком понимании гражданского долга.

Далее Латтимор заявляет, что, вероятно, Никишов совершил ошибку, дав возможность Элинор Липпер выйти на свободу. Остались живые — значит, дело обстояло не так плохо, как они говорят. А не осталось бы живых — никто бы не возразил, что на Колыме существовала та самая идиллия, которую живописал Латтимор. Все можно обратить в свою пользу.

Легкомысленно-развязным тоном, едва ли уместным при обсуждении такой темы, Латтимор пишет, что «подоплека-то ясна как белый день». Дело, оказывается, в том, что «Нэшионэл Джеографик Мэгэзин» с его консерватизмом стремится опорочить вице-президента Уоллесса.

Латтимор цепляется за любую частность, чтобы только оправдать себя. Когда Элинор Липпер писала свои воспоминания на родном немецком языке, она еще не читала писаний Латтимора и Уоллеса. В английское же издание она включила кри-

тические заметки по поводу публикаций Уоллеса и Латтимора. И вот в письме в «Нью Стейтсман» Латтимор объясняет поступок Липпер весьма однозначно. Она это сделала по наущению какого-то нехорошего дяди и все это стало возможным на волне охватившего Соединенные Штаты маккартизма.

В свои преклонные годы Латтимор стал героем в глазах молодых социологов и вообще левой американской молодежи, поскольку он преследовался за убеждения. Причина гонений на него была двоякой: во-первых, он попал в оппозицию к официальному политическому курсу, во-вторых, сенатор Джозеф Маккарти объявлял его главным советским шпионом.

Однако о сталинистских симпатиях Латтимора свидетельствуют некоторые документы, скажем, протоколы слушаний комиссии Мак-Каррана в Институте по мирным урегулированиям, на которые не слишком охотно ссылаются сам Латтимор и его приверженцы. Уже никому не приходит в голову отрицать, что институт и его журнал были тесно связаны с коммунистами, в особенности с советскими коммунистами, сторонниками сталинской линии. Левая «Нью Рипаблик» заканчивает материал в защиту Латтимора следующим абзацем:

«Мы уверены, что докладчики станут доказывать, будто бы в состав и руководство Института по мирным урегулированиям накануне последней войны проникали коммунистические агенты; что в институте об этом знали и относились к этому терпимо; что институт перестал быть незаинтересованной научно-исследовательской организацией и взял на себя функции адвоката китайской политики. Несомненно, мы обнаружим в протоколах свидетельства, что Оуэн Латтимор вполне сознательно принимал эти тенденции и только прикидывается перед людьми из Комиссии наивным и несведущим».

А ведь основания обвинить Латтимора в апологетизации советского режима были. В своем журнале «Пасифик Эффейрз» (сентябрь 1938 г.) он пишет, например, о московских судебных процессах. Задавая самому себе вопрос, представляют ли они собою на деле «триумф демократии», он отвечает, что чистка правящей верхушки дает право даже рядовому гражданину участвовать в разоблачениях власть предержащих, и добавляет, что для него это «звучит демократично» (тот, кто мыслит подобным образом, вполне мог восторженно отозваться и о Колыме, даже если бы ему показали ее такой, какой она была на самом деле).

Уоллес в последние годы жизни раскаивался в своем глубоко неверном понимании Советского Союза. Латтимор ничего подобного не сделал.

Может быть, в подобных случаях невинные простaki, давшие себя околпачить, приносят самый большой вред. Рано или поздно они понимают, что их провели, но зло, невольное принесенное ими, все равно чудовищно. Все же самого резкого осуждения заслуживают те, кто хорошо знал, как все обстояло на самом деле, и предпочел скрыть, а равно и подхалимы, ищущие оправдание заведомой лжи. Впрочем, и самые жестокие слова не так тяжелы, как то, что перенесли настоящие жертвы Колымы, в столь неправдоподобном свете представленные заокеанским гостям. И еще для меня очень важно, что, может быть, это объективное и даже беспощадное расследование послужит уроком людям и заставит задуматься постановщиков новых аналогичных фарсов.

Итак, мы должны проститься со специфическими и временными гостями Колымского края. Несомненно, что эта глава была отступлением от основной темы. Но все же отступление это оправданное. История западных доброхотов сталинизма, попавших в самый эпицентр его ужасов, дает как нельзя более наглядное подтверждение формуле Бориса Пастернака: «бесчеловечная власть лжи». Обманутый, давший себя обмануть Запад — важная часть большой темы. Помимо палачей и невинных жертв в связи с Колымой становится важной проблема еще одного человеческого типа: люди, одураченные системой, и ее сознательные апологеты.

Перевод с английского Ирины Муклевич и Аллы Шариповой

Вера Устиева

ПОДАРОК ДЛЯ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТА

...**В**скоре всех пересчитали, переписали, посадили в вагоны — это был этап на Колыму. Этап — страшное путешествие. Везли нас во Владивосток больше двух месяцев. Описан этот этап в «Крутом маршруте» Гинзбург. Она ехала в 7-м вагоне, а я в 6-м. Во Владивостоке поместили в пересыльные бараки.

А знаете, сколько там было клопов?! Я даже никогда представить себе такого не могла! Мы не могли спать в бараке, несмотря на очень холодные ночи. И днем сидеть нельзя было, клопы тут же прилипали к ногам, и мы больше бегали, чем сидели. А ночью ложились во дворе, но избавиться от этих клопичных туч все равно не могли. Дело еще в том, что всем выделили одежду, а мне нет. И я эти тюремные штаны не снимала два месяца пути. Чувствовала я себя очень плохо, настолько плохо, что еле перенесла путешествие на «Джурме», так назывался пароход, который привез нас на Колыму. И идти дальше я уже не могла. Это, между прочим, спасло меня.

Всех сразу повели на работу, а меня и еще таких, как я, калец, оставили в бараке. И тут пришла женщина и спросила:

— Кто из вас умеет вышивать?

Я сказала:

— Я могу.

— Ну, тогда завтра приходите.

Я, конечно, пошла, и меня приняли. Оказалось, что руководит этой мастерской художница Вера Федоровна Шухаева, с которой я познакомилась в московской тюрьме. С этого момента началась моя работа в мастерской. Таким образом, я была в лучших условиях, чем все остальные мои тюремные товарищи. Меня никуда не послали. Около двух месяцев я шила всякие дамские вещи. Одна женщина делала художественную работу, мне это нравилось, и я попросила поручить мне что-нибудь подобное.

Вера Федоровна взяла заказ на одну из картин. Кто-то принес мне несколько хороших литографий. И была еще одна открыточка дореволюционная — великолепно изданная «Березовая роща» Куинджи. Я увеличила рисунок и сделала картину. Первая — это была «Березовая роща» Куинджи.

Я родилась в таком месте, где растут березы, сосны, ивы, и поэтому моей тоске отвечала работа с природой. Я стала делать картины. Они пользовались необыкновенным успехом. Каждая дама непременно хотела украсить вышитой картиной свой дом — это же редкость. После «Березовой рощи», когда началась война, я шила «Трех богатырей». И «Богатыри» пользовались совершенно невероятным успехом. Все дамы НКВД теперь непременно хотели свои гостиные украсить этой самой картиной. «Богатырей» я шила много-много раз. Тут мне помогали жена и муж Шухаевы.

Когда я появилась на Колыме, Василий Иванович Шухаев был на лесоповале. Но в это время строился Дом пионеров, и будущая начальница дома приходила к нам в мастерскую и заводила разговор, что кому-то надо поручить внутреннее оформление. Вера Федоровна сказала, что ее муж — художник, находится на лесоповале. И Василий Иванович был переведен в Магадан и устроен художником-декоратором в театре, заодно оформляя комнаты пионерского дома.

Когда я только начинала шить «Богатырей», то лошади у меня получались великолепно, богатыри со всей своей одеждой, сапогами разноцветными — все это выходило очень хорошо, кроме лиц. Лица получались невыразительные, поэтому я обращалась за помощью к Василию Ивановичу, и он очень тонкой кистью дорисовывал богатырей. Я особенно любила шить лошадь Алеши Поповича — такую рыженькую. Все это было очень приятно, но когда шьешь пятьдесят, сорок или даже двадцать раз, то устаешь, конечно. Размер вышивки — метр двадцать на метр тридцать. Картина сама очень большая, она же целую стену занимает в Третьяковской галерее.

Потом я осмелела — шила Саврасова «Грачи прилетели», шила «Золотую осень» Левитана, в общем, я шила всякие пейзажи. Это было для меня большой радостью. Во-первых, я никогда не делала этого раньше, а во-вторых, это все-таки было отвлечение.

Иной раз меня пускали в читальный зал, и я могла, например, пересмотреть «Историю искусства» Бенуа. Я получала любые альбомы, природы живой я не видела, но альбомов пе-

ребрала очень много. А главное — консультации Василия Ивановича. Когда не получался цвет, нужный мне, я бежала к нему и спрашивала, что мне тут прибавить. И он говорил:

— Вера Яковлевна, три цвета всего, и из них можно все получить, если у вас есть голова на плечах.

Он довольно строго со мной обращался, но тем не менее всегда давал консультацию. Он говорил, что есть только красный, желтый, синий цвета, а остальное, если вы пожелаете, можно сделать. Я многому научилась, общаясь с Шухаевыми, с Еленой Михайловной Тагер, которая была мне близким другом¹. Оказалось, что Вера Федоровна с Еленой Михайловной вместе учились, сидели за одной партой в гимназии.

Там, на Колыме, было много интеллигенции, большой интеллигенции.

Я шила для начальства, и меня перевели в клуб, чтобы следить за каждой моей работой. Я шила только по заказу и по разрешению начальника.

Начальник Магаданской области Никишов и его жена взяли меня в свой дом шить картины, чтобы никто меня не отвлекал. И я в течение двух месяцев перед их отпуском сидела в бильярдной на втором этаже, где стояли мои пяльцы. Для меня это были тяжелые месяцы, потому что я была лишена общения с друзьями. И конечно, никаких разговоров я не вела с начальством, а сидела наверху и старалась как можно меньше спускаться вниз. И Никишов даже сказал: «Единственная женщина, которая не лезет в глаза».

Дали мне в помощницы девочку. Я сама красила нитки из шелкового женского белья. Оно хорошо распускалось — нитка получалась очень мягкая, я к ней привыкла.

Распускать, чтобы нитка была прямой, помогала девочка. Кроме того, что я шила картины, я еще изготавливала Дедов Морозов, участвовала в подготовке костюмов — делала искусственный мех из ваты для боярских шапок. Делала абажуры, натягивала и разрисовывала. Я использовалась для всех работ. Моя изобретательность и желание работать — а желание работать было — дали возможность мне прожить там.

Я, собственно говоря, выполняла все «барские» рукоделия. Когда кого-то выбирали в облисполком, в райисполком, мне

¹ С ней я встретила в ленинградской тюрьме. Нас сблизило одинаковое горе. У меня только что умер сынок, родившийся в ярославской тюрьме, а у Елены Михайловны — за год до ареста — семнадцатилетняя дочь.

обязательно делали заказ для того, для другого, для приехавшего ревизора...

Это походило на слова Некрасова: «В понедельник Савка шорник, а во вторник Савка в комнате слуга...» Так и я... Я была на всех работах, какие понадобились «господам».

А еще там была труппа, которая ставила даже оперы. «Травиату», например. Певцы были собраны из разных театров, их было много. Так что эта «крепостная» постановка прошла с большим успехом. Конечно, актерам создавались некоторые условия, так же как и мне. Главным режиссером был Леонид Викторович Варпаховский. В труппе были танцовщицы, певцы, драматические актеры — много очень интересных людей. Среди них был и Козин, известный певец.

В этой труппе был трагический случай. Аккомпаниаторшей была немка, которой казалось, что она так никогда и не выйдет из лагерей. Ее друг освободился и выехал на материк. И это окончательно сразило ее, она покончила с собой. Были и другие подобные случаи...

Когда узнали, что аккомпаниаторша покончила с собой, Леня Варпаховский предложил помянуть ее несколькими минутами молчания. Козин посчитал, что немку незачем поминать, и — Варпаховский был арестован. Тут уже вмешался начальник края. Он не нашел в этом ничего предосудительного. И после шестимесячного ареста Варпаховский был выпущен. Вся труппа, конечно, переживала, потому что его любили как руководителя и как очень талантливого режиссера.

У нас была начальница, такая Вера Сергеевна, фамилию ее не помню, для которой заключенные все делали бесплатно, без наряда. А уже началась война. Продуктов не хватало, было очень трудно. В это время она захотела, чтобы я ей вышила картину. Сюжет — украинская осень. Очень приятная картина, но шить ее без наряда для меня было очень тяжело. Я пошью и отложу, и начинаю работать, чтобы по наряду выработать норму и получить хлеб. Она возмущалась, почему я долго шью ее картину. Я не выдержала и сказала ей:

— Вы дадите картину шить без наряда, а без него я не получу достаточной пайки. Если вы хотите скоро, я сошью вам, но вы поставьте мне часы.

Это ее возмутило, и меня немедленно из цеха перевели шить в ночь сапоги для заключенных из всякого барахла.

Так как я никогда не работала в ночь, то днем совсем не спала. И ровно через две недели меня положили в больницу.

За это время начальницу сняли и заменили ее другой. А когда я попала в больницу, то Вера Федоровна писала мне: «Успокойтесь, вы возвращаетесь в цех, потому что крысы и мыши съели знамена и никто их восстановить, кроме вас, не может». Пострадали все четыре вождя — Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин. Мыши не разбирались, кто тут вожди, и отъедали так — кому ухо, кому глаз, кому нос, — всего было 14 или 15 испорченных знамен.

И когда я возвратилась из больницы, то занялась этой работой. Герб очень пострадал, вот я и шила серп с молотом, а потом поправляла лица вождей.

В Колымснабе, конечно, очень перетрусил, потому что испортилось не что-нибудь, а знамена. Я заработала много часов и поделилась со старушкой, которая у нас жила, Софьей Михайловной, старым членом партии.

Елена Михайловна Тагер в это время переписывалась с известным пушкинистом Юлианом Григорьевичем Оксманом. Я всегда читала эти интересные письма. Остался он в живых и была у него возможность писать эти литературные письма только потому, что ему покровительствовал сапожник. Сапожник — армянин — совершенно замечательный, без которого не обходились лагерные дамы. Когда Оксман освободился, то принимал этого сапожника у себя дома как благодетеля. Как только во времена Хрущева представилась возможность встречаться с иностранцами, к Ахматовой приехал кто-то из западных литераторов, и она пригласила своего друга Оксмана. Для того чтобы узнать, о чем они разговаривали, к ним была прислана еще одна соответствующая дама, которая во время беседы все время говорила: а наше правительство все время делает то-то, то-то и то-то. Оксман не выдержал и сказал: «Это ваше правительство, а не мое».

Помогло мне в моей лагерной жизни участие в художественной выставке в Магадане. Тут нельзя не сказать о Шухаеве, который, наоборот, очень пострадал от нее. Василий Иванович Шухаев — известный в России и за границей художник. Сам он говорил, что картины его разлетаются по всему миру. Говорил он это, смеясь.

Его портреты есть почти во всех музеях мира — в Германии, во Франции в Лувре, в Америке. Портретист он великолепный. Естественно, что наше начальство поручило ему написать пор-

трет Сталина, ему и Веденеру, тоже очень хорошему художнику. И Василий Иванович решил написать Сталина на позициях. А зима в первый год войны была очень суровая. Василий Иванович одел его в ушанку, в валенки и решил поставить на снегу. Он же ведь Главнокомандующий, он же не мог не быть на позициях — это по мнению Василия Ивановича. И никаких знаков отличия, кроме погон. Он написал его не просто так стоящим столбом, а с протянутой вперед рукой. Это очень трудный ракурс, когда пишешь. Зашла начальница культурно-воспитательной части Драпкина и, увидев портрет Сталина, закричала:

— Что же вы издеваетесь над нашим вождем? Кого вы нарисовали?

Шухаев был человеком, который не привык говорить неправду. И он сказал:

— Ну как же? Он главный, он не может не посетить позиций, а в такой холод он не может не надеть теплой одежды.

Она была страшно возмущена портретом и велела посадить Шухаева в карцер. Мороз был лютый. Я как раз была вызвана к ней в дом, она получала новую квартиру. Когда она дала распоряжение посадить его в карцер, я сказала, что у меня кончились краски. И вот я побежала к Вере Федоровне и рассказала, что Василия Ивановича сажают в карцер. Василия Ивановича в мастерской нашей очень любили. По его эскизам, рисункам делали театральные костюмы. Всякий раз, как он приходил с рисунками в мастерскую, все очень радовались, что заработают достаточное количество часов.

Тут же закройщица скроила платье для начальницы нашего лагеря Гридасовой, позвонили ей, что идут на примерку. Вера Федоровна пошла туда и рассказала про Василия Ивановича. А эта Драпкина подчинялась Гридасовой. Гридасова сказала, что сутки он должен отсидеть, потому что она не имеет возможности отменить приказ сразу. А сажали его на трое суток. Он уже пожилой человек был тогда, ему было шестьдесят с лишним лет, и он, конечно бы, не выдержал. Но сутки он все-таки отсидел. Ну, а портрет Сталина он так и не дорисовал.

Встрече с Шухаевыми я обязана жизнью. Привезена я была очень больной. А там все-таки поднялась. А главное — я получила большую дружбу, настоящую дружбу, которая продолжалась после моего освобождения больше тридцати лет.

Выставку посетил вице-президент Америки. Перед осмотром меня и еще одну участницу выставки вызвали и заставили все прибрать. Мы убирали, и в это время закричали: «Спускайтесь,

спускайтесь скорее в подвал! Идут!..» Начальник края, наша начальница Гридасова и делегация из Америки. Вице-президент Америки осматривал выставку картин как знаток. А вышивку он видел, наверное, все-таки впервые, потому что надолго задержался перед этими картинами. Их было пять: «Березовая роща», «Грачи прилетели», «Богатыри», левитановский пейзаж, и я для себя вышила детскую головку. Я всегда очень мучилась, вспоминая своего ребенка, а Вера Федоровна мне как-то сказала: «Возьмите и сделайте себе головку детскую, это как-то успокоит вас». И я сделала овальный детский портрет.

Основой послужил тропининский «Мой сын», но я немножко его изменила, чтобы он напоминал моего сына. Эту картинку оформили краснодеревщики, сделал мне подарок к какому-то дню, и картина висела у меня. Но начальница сказала, чтобы я ее выставила, что мне ее возвратят. Но так мне ее и не возвратили.

Во время экскурсии начальница лагерей сказала, что это ее вещи и что она может их подарить. И тут же были упакованы все пять картин, и вице-президент увез их в Америку. А через некоторое время наша начальница получила письмо от жены вице-президента, в котором та писала, что благодарит за подарок и что картины украшают их холл.

Записано Бианной Цыбиной со слов В. Я. Устиевой

Елена Владимирова

МЫ ШЛИ ЭТАПОМ

Мы шли этапом. И не раз,
колонне крикнув: «Стой!»,
садиться наземь, в снег и грязь
приказывал конвой.
И, равнодушны и немые,
как бессловесный скот,
на корточках сидели мы
до выкрика: «Вперед!»
Что пересылок нам пройти
пришлось за этот срок!
А люди новые в пути
вливались в наш поток.
И раз случился среди нас,
пригнувшихся опять,
один, кто выслушал приказ
и продолжал стоять.
И хоть он тоже знал устав,
в пути зачтенный нам,
стоял он, будто не слышав,
все так же прост и прям.
Спокоен, прям и очень прост,
среди склоненных всех,
стоял мужчина в полный рост,
над нами глядя вверх.
Минуя нижние ряды,
конвойный взял прицел.
«Садись! — он крикнул. —
Слышишь, ты!
Садись!» Но тот не сел.

Так было тихо, что слышать
могли мы сердца ход.
И вдруг конвойный крикнул: «Встать!
Колонна, марш вперед».
И мы опять месили грязь,
не ведая куда,
кто с облегчением смеясь,
кто бледный от стыда.
По лагерям — куда кого —
нас растолкали врозь,
и даже имени его
узнать мне не пришлось.
Но мне, высокий и прямой,
запомнился навек
над нашей согнутой спиной
стоящий человек.

Юрий Домбровский

АМНИСТИЯ

(Апокриф)

Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная дева моя.

Она ходит по кругу проклятому,
Вся надламываясь от тягот,
И без выбора каждому пятому
Ручку маленькую подает.

А под сводами черными, низкими,
Где земная кончается тварь,
Потрясает пудовыми списками
Ошарашенный секретарь.

И кричит он, трясясь от бессилия,
Поднимая ладони свои:
— Прочитайте вы, Дева, фамилии,
Посмотрите хотя бы статьи!

Вы увидите, сколько уведится
Неугодного небу зверья,—
Вы не правы, моя Богородица,
Непорочная Дева моя!

Но идут, но идут сутки целые
В распахнувшиеся ворота
Закопченные, обгорелые,
Не прощающие ни черта!

Через небо глухое и старое,
Через пальмовые сады
Пробегают, как волки поджарые,
Их расстроенные ряды.

И глядят серафимы печальные,
Золотые прищутив глаза,
Как открыты им двери хрустальные
В трансцендентные небеса;

Как, крича, напирая и гикая,
До волос в планетарной пыли,
Исчезает в них скорбью великою
Умудренная сволочь земли.

И, глядя, как кричит, как колотится
Оголтелое это зверье,
Я кричу:

«Ты права, Богородица!
Да святится имя твое!»

4

Александр Шиндель

НЕДОВЕРИЕ

(Феномен лагерного сознания)

В конечном счете деление времени весьма произвольно и мало чем отличается от проведения линий в воде. Их можно проводить и так, и этак, но пока ты их проводишь, всё успеваешь сомкнуться в одно целое.

Томас Манн. Иосиф и его братья

1

В последние годы время ощутимо уплотнилось. В течение месяцев, а то и вовсе — нескольких дней мы переживаем столько всевозможных событий, сколько и помыслиться не могло в прежние тягучие десятилетия. Еще три-четыре года назад мы успевали эмоционально реагировать на них. Ныне, похоже, мы утратили и эту способность. Привыкли к толчкам и встряскам, как пассажиры некоего поезда, который стоял, ржавел, да вдруг однажды тронулся и повез нас всех неведомо куда. И прежняя наша, по-своему стабильная, жизнь десятилетней давности сегодня кажется далекой, как былинные времена.

Всё, во что мы погружены сегодня, все перемены последних десяти лет мы связываем с приходом Горбачева к власти и объявленным им курсом на перестройку.

Между тем все началось гораздо раньше. Всякий процесс, особенно разрушительный, поначалу развивается скрытно. Видимым он стал, когда за три года страна похоронила трех генсеков. Такого в советской истории за предыдущие шестьдесят с лишним лет не было. И как бы и не могло быть, поскольку долголительство генсека еще со сталинских времен как бы вмнялось ему в обязанность и сливалось в сознании советского человека с прочностью самой власти.

Сталин правил 30 лет. Хрущев — 10, причем досрочность его отставки не была вызвана естественными биологическими причинами. Поэтому вытолкнувшие его на пенсию соратники и

не затронули в общественном сознании стереотипа, согласно которому генсек вечен, как и сама советская власть. И генсеки до поры до времени соответствовали этому стереотипу. Брежнев, при всей его анекдотичности, был на *месте* уже потому, что *правил долго*. Два десятка лет во второй половине XX века — по историческим последствиям — это намного дольше, чем правление целой династии в глухие средние века.

И вдруг — ураган: что ни год — похороны генсека. Шутка ли: самое крупное и самое военизированное в мире государство каждый год лишается головы! Частота этих похорон стала восприниматься как нечто чисто статистическое. Верховная Власть, выше которой ничего не было (власть Божескую они сами же и отменили, отучив от веры в нее миллионы своих сограждан) — так, вот, Верховная Власть в самом прямом смысле явно не в состоянии была стоять на ногах. Каждый раз в день очередных высоких похорон на лицах прохожих ничего невозможно было прочесть, кроме деловой озабоченности, связанной с попыткой угадать: кто следующий?

Некогда простая и в силу этого, казалось бы, очень устойчивая пирамида власти, построенная при участии миллионов фанатичных приверженцев такой же простой идеи уравнительного и потому всеобщего процветания, на глазах переставала быть пирамидой, год за годом теряя свою верхушку. При этом уже в середине семидесятых годов (когда они сами определили 70 лет как «средний возраст») легко было предугадать, что они готовят себе участь коллективного погребения, тем самым обеспечив созданной ими системе власти если и не мгновенный конец, то по крайней мере весьма сложные проблемы, связанные с отсутствием надежного механизма преемственности. В фундаменте пирамиды власти они сами заложили бомбу с часовым механизмом, когда свинцом, плетью и колючей проволокой отучали людей жить по естественным и вечным законам, а эти законы подменили идеологическим уставом. Замкнувшись внутри созданной ими партийной идеологии, обезопасив себя от всякой конкуренции, свой высший ареопаг они превратили в непроницаемую касту. Этот процесс «партийного строительства», начавшийся при Сталине, получил полное завершение в двадцатилетие правления Брежнева. Лишив себя свежего воздуха — то есть лишив себя притока объективной информации о состоянии общества, они уже в семидесятые годы не были в состоянии управлять этим обществом и пытались — все по тому же принципу «закрытого существования» — изолировать самую

большую страну от остального мира. Это была их единственная забота.

Потому-то — к примеру — они ничего не смогли поделаться с Солженицыным. У них не было навыков открытой работы с *объективной* информацией. Солженицын выстрелил в них тем, что они тщательно прятали полвека, и заделать брешь, пробитую одним-единственным прицельным выстрелом (я имею в виду провороненного ими Ивана Денисовича), оказалось *нечем*. Весь просвещенный мир с изумлением смотрел, как огромная государственная машина, которая держала в страхе планету, борется с одним-единственным человеком и ничего не может с ним сделать. Почему? Да потому, что в своих книгах он возвращал им их же собственное, но тщательно ими скрываемое прошлое, за которое все они несли ответственность. Писатель сумел, таким образом, создать и показать им их же исторический портрет, повернув их лицом к делам их, и тем самым как бы заставил их бороться с самими собой. Тут они были бессильны. Поэтому не придумали ничего более умного, чем чисто физическое отторжение источника-раздражителя. Экранировав произведения писателя на Запад, они лишили необходимого исторического знания еще одно поколение своих соотечественников и подтвердили всему остальному миру правдивость всего, о чем писал Солженицын. Они поступили с писателем в полном соответствии с той логикой, с какой они десятилетиями управляли страной. Главный принцип этой логики — утаивание информации от собственного народа. Другими словами — *полное и абсолютное недоверие* собственному народу как необходимое условие *удержания власти* над ним.

Далее — если говорить о последствиях депортации писателя — произошел типичный «эффект эха»: информация о сталинской эпохе (а в «лагерных» произведениях Солженицына речь всё же шла о сталинских временах) с изрядным опозданием, но жестко скорректировала мировое общественное мнение, которое спроецировалось на брежневскую эпоху. Таким образом, бумерангом Сталин уже из могилы нанес еще один, весьма тяжёлый удар по своим идейным преемникам. Для американцев и западноевропейцев, извлекивших уроки из второй мировой войны и укрепивших свои демократические институты, Советский Союз брежневского образца официально стал «империей зла», хотя мы-то сами прекрасно понимали, что той беспощадной агрессивности, фанатического упоенного самодовольства, быстроты и, главное, масштабов репрессивной реакции, свойствен-

ных Системе в дни ее «сталинской юности», в гнилые брежневские годы, конечно, не было. Система порядком разрыхлилась и дряхлая буквально на глазах, проедаая и, главным образом, пропивая собственные стратегические сырьевые ресурсы, получая при этом (за варварскими способами добываемую дешевую непереработанную сибирскую нефть) от тех же «проклятых империалистов» зерно, мясо, масло и много чего другого на закуску. И если учесть, что длилось это (хлеб за нефть) едва ли не четверть века и что ввоз продовольственных товаров ежегодно составлял от 26% до 30%, что за двадцать лет намеченная «продовольственная программа», несмотря на вложенные миллиарды и миллиарды, так и не была выполнена, что исконные среднерусские деревни тихо и быстро умирали, а чиновники «агроулага» завели такую «статью», как «списанные земли» (вот уже когда был откровенный естественный конец сталинской колхозной затеи), если учесть, что где-то в середине семидесятых (расцвет брежневского «благополучия!») в промышленных городах России на заводах по сути ввели карточную систему (а что же это — 1 кг мяса или курицу в месяц на одного работающего, по 300 — 400 граммов масла и т. п. — что это, как не карточное распределение?), если вспомнить круглые глаза наших сограждан при виде «выброшенной» на три часа под праздник вареной колбасы... Так вот, если сесть и кое-что повспоминать, то сейчас можно, пожалуй, «проклятым империалистам» предъявить кругленький счет за то, что они двадцать лет подпитывали брежневский режим, за что, правда, в качестве благодарности получали все новые и новые нацеленные на свою «буржуйскую» шею баллистические ракеты...

К концу семидесятых годов под построжавшим взглядом цивилизованного мира, изучившим наше счастливое детство не по Краткому курсу ВКП(б), а по предоставленной летописи ГУЛАГа, брежневские соратники, не имея в запасе ни одного членораздельного комментария, начали напрягаться и вломилась в Афганистан, втянув страну в бессмысленную, опять же — *тайную от народа*, десятилетнюю войну. Андропов, который был одним из тех, кто принимал решение о вводе войск в Афганистан, и который спустя три года оказался на месте Брежнева, судя по всему, успел понять, в какой сложной, заранее не просчитанной ситуации оказалась страна. Трудно судить о том, какими путями искал бы он выход из сложившейся ситуации и еще труднее гадать — нашел бы он его. Но тот факт, что страна находится в шаге от большой войны, скорее всего, был для

него очевиден. Об этом можно судить по проговорке тогдашнего члена Политбюро Романова, который от имени Политбюро в ноябре 1983 года делал ритуальный доклад, посвященный очередной годовщине Октября. В своем выступлении Романов сравнивал внешнеполитическую напряженность с сороковым годом, подчеркивая, что ситуация очень схожа с той, какая сложилась накануне Великой Отечественной войны. Андропов в ту пору уже болел, о нем мало что было известно. Неизвестно было даже, с его ведома или нет был сбит в сентябре тот несчастный южнокорейский «Боинг», после которого весь мир практически объявил нам бойкот. (За три года до этого мир бойкотировал московские Олимпийские игры — из-за нашего вторжения в Афганистан.) История с «Боингом», казалось, обнажила уже те крайние пределы, за которыми любые нормальные отношения с цивилизованным миром становятся невозможными. И как бы в подтверждение всего этого — откровение Романова перед всей страной.

Наверное, это была самая тревожная осень за все послевоенные десятилетия. «Безобидный» Леонид Ильич, большой любитель золотых звезд и легковых автомобилей, вместе с ограниченным кругом партийных товарищей, навсегда покидая нас, едва не уложил в могилу всю страну. Но тут (начинаешь верить в то, что России и впрямь покровительствуют Силы Небесные!) с какой-то сверхъестественной быстротой мы стали хоронить своих бессмертных одного за другим... Мы-то воспринимали сие на бытовом уровне: если человеку под восемьдесят или за восемьдесят, то вроде бы и нет ничего удивительного в том... При этом как-то не сразу проявилась мысль, что перехоронили мы практически всех влиятельных сталинистов еще того, первого, довоенного, так сказать, призыва. То есть ушли люди, которые при всех природных различиях между ними были схожи в одном: ни один из них не был в состоянии *изменить свои взгляды* на природу общественных отношений. *Все они* с молодых лет были запрограммированы на *конфронтационную политику* с государствами иного общественного склада. И если все известные им формы (торгово-хозяйственные, дипломатические и другие) были исчерпаны, то оставался лишь один путь — путь войны. Именно у этой черты мы оказались осенью восемьдесят третьего года, когда череда смертей сыграла роль механизма экстренного торможения.

Провозглашенный некогда Хрущевым тезис о мирном существовании систем с различным общественным устройством

был вызван опасениями появившейся технической возможности абсолютного взаимного уничтожения, но отнюдь не отказом от идеологических догм. Отказ от идеологических догм требовал радикальных изменений в сознании, но измененное сознание не могло бы совмещаться с тем типом власти и той государственной структурой, которую Хрущев унаследовал от Сталина. Хрущев ставил своей (и общепартийной) задачей возврат к «ленинским нормам» внутрипартийных отношений. Это, по его мнению, можно было сделать, очистив социализм от уродливых наслоений «культы личности» Сталина. (Кстати, иллюзию, что можно чисто силовую хозяйственную систему мягко перевести в русло нормального экономического развития при сохранении общего партийного руководства, до последнего времени — до путча — разделял и Горбачев, чье сознание сформировалось в годы хрущевской «оттепели».) Между тем наша история последних десятилетий показала абсолютную невосприимчивость Системы к сознанию недогматического типа. Пока Система была дееспособна она просто отвергала человека с иным типом сознания. В конце концов, она так поступила с Хрущевым: авторитарность Хрущева была ею приемлема, его демократизм — нет. Короче говоря, в начале восьмидесятых мы оказались на грани большой войны даже не потому, что наши старейшины были неистребимыми «ястребами» и в свои 75 — 80 лет хотели повоевать, а потому, что по характеру своего мышления вряд ли смогли бы найти путь, который позволил бы избежать войны.

Но вернемся к памятным траурным дням. Если в нашем обществе Политбюро играло роль головного мозга, то повальный мор, который года за три-четыре унес всю верхушку, можно диагностировать и без врача: инсульт. Причем — обширнейший. Дальнейшее — как прямое следствие — неизбежно: распад всей Системы. Другими словами — начался необратимый процесс. Подчеркну: до Горбачева.

Горбачев был первым представителем *послесталинского* поколения, который занял высший должностной пост в стране. Уже сегодня можно отметить по крайней мере один непреложный факт: советская государственная система, в основе которой лежала утопическая теория диктатуры пролетариата, просуществовала ровно столько, сколько было отпущено ее конструк-

торам — т. е., по строгому счету, она родилась и умерла в течение жизни *одного поколения*.

В одном из своих последних интервью Эйнштейн в числе прочих отвечал на вопрос, как он боролся с ложными теориями в науке. Журналист, спросивший об этом, был ошарашен ответом великого физика: Эйнштейн сказал, что он никогда не боролся с ложными теориями. И пояснил, что он не занимался этим, поскольку это, на его взгляд, было бы пустой тратой времени. Ложные идеи, объяснил ученый, умирают вместе со своими носителями. Они потому и ложные, что объективно не имеют продолжения, они рождаются в огромном количестве и так же бесславно вымирают, тогда как истинная идея просто не нуждается в защите (это не цитата — я передаю смысл ответа).

О том, что единодушие большинства не может быть критерием истинности и безошибочности решения (принцип «большинство всегда право», который был навязан советским людям, не что иное, как принцип круговой поруки или коллективной безответственности, который на десятилетия закрепостил мышление миллионов граждан), — так вот, об ошибочности единодушия большинства говорилось еще за тысячи лет до советской власти, в Библии. Книга «Исход», глава 23, стих 2: «Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды» — написано как бы специально для идеологов вульгарного марксизма, но они-то как раз Библию и не читают.

Когда Горбачев оказался на самом верху, он увидел не только, что верхушку размело, — это и нам было видно, нам, привыкшим всю жизнь смотреть вверх и фиксировать каждое шевеление на партийном Олимпе. Он должен был увидеть то, что мы, ко всему привыкшие и поднаторевшие в бесконечных застольных разговорах с друзьями, воспринимали как данность: он должен был увидеть, что *основание пирамиды тоже ненадежно*. Говоря его же словами — «прогнило». А это куда более существенный симптом гангрены, чем развалившаяся верхушка.

Конкретно:

— страна находилась в состоянии бессмысленной и абсолютно бесперспективной войны, которой не было видно конца;

— никто в мире, за исключением, может быть, Саддама Хусейна, не хотел иметь с нами дела, а наши братья по соцлагерю достаточно энергично расшатывали свои бараки, особенно — Польша, и можно было не сомневаться в том, что при первом же недомогании «старшего брата» все они кинутся наутек;

— производительность труда в нашей стране оставалась по-прежнему чисто дискуссионным понятием;

— не менее 80% новых, новейших и просто более-менее современных станков работало на оборону, и нашими танками и бронетранспортерами, если их ставить впритык по экватору, вероятно, можно было переопоясать земной шар. В то же время сверхдержаву душил дефицит, а все то, что должно было работать на выпуск товаров народного потребления — начиная от той же вареной колбасы и кончая детскими колготками, — дышало на ладан;

— наконец, страна элементарно была не в состоянии себя прокормить, и уже порядком иссякали некогда мощные нефтяные самотлорские фонтаны, обеспечившие Брежневу безбедную жизнь...

Имея всю возможную полноту информации, Горбачев должен был увидеть, что «процесс пошел», задолго до того, как он объявил это стране уже по другому поводу. И хотя впоследствии Горбачев не раз говорил о том, что власть генсека лично ему позволила бы существовать без всяких хлопот и реформ, это, конечно, надо воспринимать как полемический и психологический прием: выбора у него не было.

Для начала он нашел удачную формулу: перестройка. Удачную потому, что до поры до времени она объясняла как бы два противонаправленных действия: реальный, вялотекущий, но уже неостановимый процесс распада и еще не начавшийся, но в виде общей идеи понятный процесс созидания. Довольно быстро (и вовремя) последовало уточнение, что во что требуется перестраивать: развитой наш бронетанковый социализм требовалось перестроить в социализм с «человеческим лицом». С популистской точки зрения тут все было в порядке, поскольку сохранялось ключевое стереотипное понятие «социализм». Тем самым он как бы отключил последние защитные структуры агонизирующей системы, используя понятные ей кодовые термины.

Впоследствии его часто упрекали в том, что вместо того, чтобы решительно приступить к экономическим реформам, он целиком ушел во внешнеполитическую сферу. В результате, считают оппоненты, было потеряно время, народ истомился от ожиданий и обещаний и все поехало вкривь и вкось... Эти упреки, на наш взгляд, продиктованы скорее эмоциями, чем логикой.

Все, что мы недавно пережили и чему были свидетелями, говорит только о том, что наше государственное устройство периода «развитого социализма» пережило свое историческое вре-

мя и ни к каким реформам не было восприимчиво. Потому с такой быстротой и легкостью начался повсеместный процесс распада.

Я отнюдь не идеализирую Горбачева. Партийный аппаратчик, с огромным стажем, он, конечно же, многое унаследовал от своей среды и, получив высшую власть, временами распоряжался ею в полном соответствии со сложившейся партийной практикой. Но дело не в том, в чем он соответствовал своему положению генсека, а в том, чем он отличался от стандартного партийного бонзы. Благодаря этим отличиям он и привел нас к качественно иному состоянию. Так нередко бывало в истории, когда глубокое реформирование осознавалось и начиналось сверху. Но никогда, ни один правитель не мог единолично реформировать общество от начала до конца. На определенном этапе, когда общество наконец приходит в движение, дальнейшая судьба реформ перемещается вниз, в глубь самого общества и уже почти целиком зависит от уровня *гражданского сознания*. Совершенно очевидно, что, став генсеком, Горбачев вовсе не собирался «отменять» партийную власть, но ход событий вынудил его заниматься, в основном, реформами политическими. Перед возникшей задачей реформировать *политический строй* в Советском Союзе капитулировал бы не только любой из предыдущих генсеков, но и подавляющее большинство тех, кто составлял ближайшее партийное окружение Горбачева. Ибо это и был тот предел, за которым уже не существовало гарантий партийного всевластия. В этом отношении — независимо от своих первоначальных намерений — Горбачев свою часть пути прошел. И даже вопреки собственному желанию сумел «породить» себе преемника...

3

Как реформатор Горбачев, на мой взгляд, допустил одну стратегическую ошибку. Я попробую проиллюстрировать это свое ощущение простым конкретным примером.

Сейчас уже мало кто вспоминает, что на заре перестройки, когда это слово соседствовало с неперменным «и ускорение», правительство оповестило всю страну о том, что на некоторых крупных, разных и не худших предприятиях в течение года проводится ЭКСПЕРИМЕНТ. Именно так это слово и звучало — выделительно. Чтоб всем было ясно: последняя проба и — отпльваем... Объявление, как мне показалось, было воспринято

спокойно, в ту пору чего только не происходило — вспомните выборы директора РАФа на конкурсной основе, разговоры о разных моделях хозрасчета, об арендных отношениях и т.п. Народ привыкал к новой терминологии, но куда сильнее в ту пору общественность интересовало омоложение верхнего эшелона и расстановка сил. И тут среди этой невообразимой партийно-хозяйственной экзотики — эксперимент...

Только в силу профессионального журналистского любопытства я стал следить по газетам за экспериментом. Суть затеи оказалась гениально проста: избранные предприятия на год освобождались от всякой привычной опеки и получали право хозяйствовать самостоятельно. При одном условии: государственный план дай — это святое, закон. Его требуется выполнить без всяких разговоров. Но вот сверхплановая прибыль — если, конечно, удастся произвести сверхплановую продукцию — остается в полном распоряжении предприятия. Хотите — удваивайте зарплату, хотите — стройте жилье, хотите — обновляйте оборудование, деньги ваши.

Вот и все. Простой и мудрый тест: если государство не будет вас грабить, то сколько же вы сможете заработать? Или еще проще: есть ли — в принципе — в рабочем человеке резервы энергии созидания? Или уже полная безнадежность, хоть миллионы посули? Перед началом экономических реформ это, конечно, не худо было бы знать. Но поскольку красными знаменами, грамотами от райкома и значками ударников комтруда уже ничего выявить не представлялось возможным, то решились в качестве наживки использовать материальный стимул — в ту пору еще относительно полновесный рубль. И гарантировали чистоту эксперимента авторитетом самых высоких лиц государства. Своей совестью, по сути.

По осени, когда стали цыплят считать, по газетам прошестел тихий стон. По тем интервью, что мне попались на глаза, было понятно, что эксперимент подтвердил наличие изрядных запасов созидательной энергии. На последний стандартный вопрос репортера: «Так что же вы такой грустный?» — следовал не менее стандартный ответ директора предприятия: «Так ведь отобрали все!»

Конечно, «отобрали» не Горбачев. И, возможно, даже не Рыжков. Отбирали, скорее всего, отраслевики — свои министры. У министра, скажем, на одно сильное предприятие приходится десять слабых. Без дотаций они просто повалятся. И не потому, что там разгильдяи собрались, а, к примеру, потому, что там

лет сорок — шестьдесят не обновлялся станочный парк. Люди чуть ли не на дореволюционных станках ищачат, а план вечно под вопросом. И вдруг такая благодать: «экспериментальное» предприятие вместо обычной плановой прибыли, скажем, в 5 миллионов заработало 50 миллионов! По логике министра отличникам и 10 миллионов хватит с лихвой, а остальные 40 миллионов он разбросает по отрасли, и в отрасли полный ажур!

Я сейчас не настаиваю на конкретных суммах, но принцип управления, внедрявшийся с самого начала существования нашего «планового» хозяйства, был именно таков: принцип принудительной уравниловки. И на этот раз он сработал чисто автоматически.

Горбачеву наверняка докладывали о результатах эксперимента. И он, наверное, был ими доволен. Я даже допускаю мысль, что не у всех предприятий отобрали прибыль. Может, у двух-трех. Но в газете с многомиллионным тиражом я читал интервью с директором, у которого отобрали. И помню свое ощущение — как будто это меня обокрали. Потому что этот с виду простенький тест на действенность материального стимулирования одновременно содержал в себе и другое. Это был тест на *кредит доверия руководству*. Не тому, старому, которое давно уже было банкротом. И тем более не КПСС. Не будь Горбачев партийным аппаратчиком, он бы давно знал, что кредит доверия народа к партийному руководству необратимо исчерпан. И если этот кредит в народе образовался, то не к партии, генеральным секретарем которой был Горбачев, а лично к нему как к человеку, принесшему идею преобразования постылой и тревожной жизни. Это первое и основное, что должен был он проверить и чего ни при каких условиях не должен был израсходовать. Потому что кроме позиции доверия есть еще только одна позиция — позиция недоверия. И именно с этой позиции Горбачев и получил довольно скоро ответ.

Начались забастовки шахтеров. Наша власть, не имея никакого опыта действий в подобных ситуациях (кроме расстрельного, который в данной ситуации невозможно было пустить в ход), загнала сама себя в угол и пустила в дело печатный станок. (Вот когда началась накачка пустыми деньгами и рубль быстро «одеревенел».) Вслед за шахтерами бастовать стали все кому не лень — народ почувствовал за собой моральное право предъявить власти счет за десятилетия нищенского существования, за пожизненные очереди на жилье, за вечный дефицит и, главное, за все обманутые надежды.

На глазах в течение недель товары, которые годами не находили спроса, были выметены «легким рублем»: ну, скажем, в Москве внезапно и сразу исчезли черно-белые телевизоры, которые всегда стояли на выбор... Исчезли холодильники, которые тоже стояли на выбор в любом магазине электротоваров. Наконец, невозможно стало найти обыкновенную электрическую лампочку... Еще цел и невредим был Советский Союз — жизнь протекала в привычных в целом параметрах, но уже было ощущение, что у нас разбомбили десятки заводов: наша индустрия уже тогда перестала давать то, что еще могла давать. И объяснить это можно было не какими-то хитроумными научными расчетами, а одним только умонастроением общества: труд — в тех формах, в каких он был зажат десятилетиями — *обесмыслился*, неадекватность трудовых усилий и их оплаты стала очевидной. Свое полное и окончательное разочарование страна обозначила, по существу, скрытой формой всеобщей бесконечной забастовки. По иронии истории все счета, накопившиеся за долгие десятилетия деспотического режима, одновременно были собраны и предъявлены Горбачеву — человеку, который вселил последние надежды и сам же их погасил... За три-четыре года до официального распада Союза было ясно, что империя умерла, в силу чего проблемы реформирования автоматически переместились в область чистой теории. Вместо государства — в тех же масштабах — существовал муляж, который и развалился от первого же толчка.

4

Дальнейший период — последние три года жизни России — мы сейчас анализировать не беремся. По нашему мнению, этот период еще не завершился каким-то фиксированным рубежом, который позволил бы сделать вывод о том, что Россия уже *миновала опасную зону политической неопределенности*.

Сегодня мы можем лишь констатировать очевидное:

- 1) Ельцину «досталась» совсем не та страна, которой руководил Горбачев;
- 2) после распада Союза Россия пришла в движение, и Ельцин оказался перед лицом многих серьезных проблем, которые невозможно решать последовательно: все самые сложные проблемы обнажились как следствие распада Союза и реагировать на них приходится незамедлительно, чтобы процесс распада не уничтожил уже Россию;

3) в политическом отношении гражданское общество в России очень неоднородно: в нем то и дело возникают взаимоисключающие тенденции, парируя которые, глава государства вынужден отклоняться от генерального курса — количество вынужденных компромиссов временами приближается к той критической отметке, за которой теряется стратегическая цель движения;

4) первоначальное доверие к Ельцину образовалось в результате разочарования Горбачевым, и по своему характеру это было доверие отчаяния: по сути дела, Ельцин попал в положение руководителя, у которого *нет права на ошибку* — все лимиты на ошибочные решения были исчерпаны его предшественниками.

Можно расширить эту характеристику нынешней общей ситуации, но дело в данном случае в другом. Надо дожить до какого-то результата. А пока очевидно только одно: сегодня для будущего России состояние гражданского общества играет неизмеримо более важную роль, чем это было при Горбачеве, в последние годы существования Союза.

5

От коммунистической идеологии мы отказались. К идеологии свободного предпринимательства не пришли. Прорекларировали, но не пришли.

Это естественно. Не могут миллионы людей, воспитанные в трех-четырех поколениях на определенных идеологических принципах, в одночасье менять их на прямо противоположные. Отсюда наиболее серьезные трудности промежуточного, переходного состояния.

Сознание советского человека — сознание табуированное. В государстве, где вся жизнь была подчинена замкнутому набору идеологических догм, в массе могли существовать только граждане с табуированным мышлением. Само по себе слово «капитализм» и по сей день на многих наших соотечественников оказывает такое же воздействие, как, скажем, светящееся табло с надписью «радиация». Между тем развитие мировой цивилизации за полвека послевоенной жизни могло бы свободно мыслящего человека убедить в том, что понятие «капитализм» обозначает исторически сложившийся *тип производства*, тогда как «социализм» обозначает *тип распределения*. Поэтому нам не кажется диким словосочетание «шведский социализм», хотя

по типу производства Швеция — стопроцентная капиталистическая страна. Все публичные дискуссии последних лет о том, по какому (западному или восточному) пути идти современной России, абсолютно бессмысленны, ибо вопрос снят с повестки ходом мировой истории XX века. Наиболее развитые в индустриальном отношении страны и регионы востока — Япония, Южная Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг и другие — это те, кто в свое время твердо встал на капиталистический путь развития. Некоторые вариации экономических моделей не отменяют главного: следования основополагающим законам рыночной экономики. Так что выбор между векторами восток — запад, если это, скажем, Япония и США, просто-напросто фиктивен. Но если мы переводим выбор в сторону Япония — Китай, то тут происходит полная смена понятий: мы уже выбираем между экономически более развитой страной и менее развитой. Но зачем нам изначально ориентироваться на менее развитую? Ответ простой: только потому, что она развивалась по некогда сходной с нашей идеологии. Но невозможно нам вернуться к тому, что на наших глазах рухнуло. Таким образом, круг замыкается, мы остаемся в нынешней переходной стадии, которой — при всем желании! — нам не обойти, не миновать.

Ни одно общество существовать без идеологии не может. В свое время, когда Россия отвергла самодержавие, а до буржуазной демократии исторически не успела дозреть, большевики заполнили идеологическое пространство искусственно созданной теорией «классовой борьбы», породив тем самым многолетний скрытый антагонизм между разными слоями внутри одного общества.

Ныне мы видим другое. Мы видим, как область сознания все больше и больше заполняется национальной идеей. Причем в чрезвычайно широком спектре политических трактовок: от либерально-патриотического до национал-социалистического. Некоторые исследователи склонны усматривать в этом нечто новое, раннее будто бы совершенно несвойственное России.

Между тем в России национальная идея существовала всегда как *нормальное самоощущение* многомиллионного русского народа. Именно *естественность* этого самоощущения, как естественность *собственного существования* любого человека русской национальности, с одной стороны, не требовала себя акцентировать (с чего вдруг?), а с другой — была тем прочным фундаментом российской государственности, который достаточно долго держал на себе огромное здание утопической идеологии,

возведенное в России приверженцами коммунистической идеи. Эта гигантская надстройка со временем придавила не только естественное самоощущение всех народов республик, составлявших Советский Союз, но и русский народ. Поэтому, когда едва забрезжила перспектива не то чтобы сбросить, а хотя бы ослабить этот общий для всех идеологический гнет, почти во всех республиках Союза образовались «национальные фронты». Политическая логика их действий во многом совпадала с известной нам по второй половине века логикой борьбы национально-освободительных движений. Но когда в одночасье рухнула партия и распался Советский Союз, национальные фронты стали дробиться, менять свой внутренний состав и перерождаться в националистические партии. Сторонники демократического возрождения почти повсеместно стали вытесняться людьми чисто националистической ориентации. Это, в свою очередь, привело к политике самоизоляции, что серьезно осложнило экономическое взаимодействие новых государств в рамках провозглашенного СНГ.

Примерно те же процессы происходили и в России, но если националистические деятели бывших республик жестко изолируются от России как от носителя «имперского мышления» и от этого их национализм направлен во внешнюю среду, то в самой России национализм направлен *вовнутрь*, поскольку испокон веку Россия была государством многонациональным. Стало быть, усиление националистических тенденций просто-напросто может разорвать саму Россию, о чем почему-то наши ультра-патриоты совершенно не желают думать и все серьезные, но чисто экономические проблемы переводят из области экономической в область национальных отношений. Точно так же многие внутривнутриполитические вопросы, требующие глубоких правовых обоснований, ни в бывшем Верховном Совете России, ни в нынешней Государственной думе никак не могут выйти из области эмоциональных реакций. Все это на руку только демагогам, которым открывается легальный путь к власти. Поэтический образ Тютчева («Умом Россию не понять...»), похоже, стал у части наших публицистов отправной точкой рассуждений о «коллективном бессознательном», об особенностях менталитета русского человека и связанном с этими особенностями особом пути России. Все это как бы опирается на традиции русской философской мысли, но только — «как бы»... Ибо то, что у нас было отнято и по частям возвращено лишь в последние годы,

как и всякое духовное наследие, нуждается в серьезном освоении, а вовсе не в ловкой манипуляции именами и терминами.

В России не бывает ничего случайного. Огромная страна, она обладает и огромной инерцией покоя. Случайные возбуждения, как проявления возникающих частных тенденций, гаснут, не получая дальнейшего развития. Чтобы в России начались ощутимые перемены, ее предварительно надо долго «раскачивать». Это раскачивание не всегда понимается современниками именно как раскачивание. Особенно если оно принимает формы внутригосударственной политики. Не случайно, например, в первом же своем крупном публичном выступлении (в докладе, посвященном 60-летию образования СССР) Андропов, всего за месяц до этого ставший генсеком, впервые за многие десятилетия публично признал, что в области национальных отношений было сделано немало грубых политических ошибок. Это было неслыханное откровение на фоне шестидесятилетнего партийного панегирика дружбе народов. Что означало это признание — мы увидели через несколько лет. Когда проблема названа во всеуслышание, она тем самым как бы получает право на легальное существование. Но в огромных масштабах России на поверхности до времени все спокойно...

Масштабы России сами по себе являются не столько чисто линейной величиной, сколько весьма специфическим *качественным фактором*. Мне кажется, что первым, кто это почувствовал, проанализировал и сформулировал, был П. Я. Чаадаев. О том, насколько неожиданным и странным был такой подход, говорит драматичная судьба его «Философических писем», которые не публиковались на родине полтора века...

...Чаадаев вообще многое увидел первым и впервые. И за те сто пятьдесят лет, что его письма не были востребованы на родине, они вовсе не потеряли ни своей философской ценности, ни даже политической актуальности. И сейчас, в этой статье, необходимо коснуться «Философических писем» в той части, где Чаадаевым высказана идея, которую сегодня мы называем «русской национальной идеей», или «особым путем развития России». Коснуться истории темы, чтобы понять, насколько сегодня сместились все подходы и взгляды и насколько истинное патриотическое чувство отличается от афишируемого, рекламного патриотизма.

Проблемы России, ее историю и ее специфическую роль в цивилизованном мире Чаадаев рассматривал в сопоставлении масштабов *территориального и временного*.

С территориальным современникам Чаадаева было все как будто бы ясно: огромные пространства ассоциировались с величию империи. Поэтому с недоумением и оскорбленными чувствами реагировали они на такой, к примеру, чаадаевский пассаж: «Чтобы заставить себя заметить, нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера»¹. Для Чаадаева критерии величия лежали в области духовной, в светском понимании — это область истории культуры. И потому он не склонен был, мягко говоря, впадать в патетические тона оттого, что живет территориально в самой крупной стране. Ее истинное значение он попытался понять в масштабе *времени*, которое в его конкретном изложении надо понимать как *историю культуры всей цивилизации*. Духовные достижения России он рассматривает на фоне западноевропейской истории культуры. И хотя следуют оговорки вроде той, что мы не принадлежим ни к какому типу цивилизации («...выделенные по странной воле судьбы из всеобщего движения человечества, не восприняли мы и традиционных идей человеческого рода»²) — словно заранее отвечая этим всем своим будущим оппонентам, которые обвиняли его в западничестве, — все же разговор о судьбах России он ведет на фоне истории Западной Европы. Почему? Да потому, что Россия — *христианская страна*. Другими словами, в свое время она примкнула к идеологии, единой для всего западного мира, или, как он раньше назывался, «христианского мира». Именно этот признак — принадлежность по духовной ориентации — надо считать основополагающим. Но этого совершенно недостаточно, чтобы считать автора западником в том примитивном, вульгарно-политическом, смысле, который мы нередко вкладываем сегодня в само понятие «западник».

Остальное понять уже несложно. Рассматривая историю России на фоне нескольких тысячелетий (включая античный период) существования западноевропейской культуры, Чаадаев и приходит к своим печальным выводам. А если учесть, что начальный период истории существования России он вообще отбрасывает («Первые наши годы, протекшие в неподвижной ди-

¹ П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений. Москва, Наука, 1991. Т. 1, с. 330.

² Там же, с. 325.

кости, не оставили никакого следа в нашем уме, и нет в нас ничего лично нам присущего, на что могла бы опереться наша мысль...»¹), то история России — с позиции формирования ее духовных начал — становится намного короче самого физического существования страны. Вывод из всех этих рассуждений напрашивается сам собой: в масштабах истории культуры западной цивилизации Россия просто *очень молодая страна*, чье первое тысячелетие почти целиком ушло на *физическое* (геополитическое) *формирование*. Ведь на то, чтобы «растянуться» от Берингова пролива до Одера, надобно же время. *Историческое время*, измеряемое веками. И «растягиваться» Россия смогла лишь после того, как ослабила, *погрузила в себя* и частично ассимилировала некогда поработившие ее кочевые народы. Тогда только открылось безмерное пространство на Востоке, которое постепенно, в течение нескольких веков, Россия колонизовала, пока не уперлась в Тихий океан. (Но и океан не стал непреодолимой преградой для дальнейшего *естественного* расширения, если учесть колонизацию Аляски и далее — американского побережья Тихого океана, вплоть до Калифорнии, известного как Русская Америка.) На Запад пришлось прорубаться в буквальном смысле слова — сквозь обжитые другими народами земли. Этот процесс — геополитического формирования — в самых общих чертах закончился лишь при Екатерине II, когда четко были обозначены южные пределы (если же говорить отдельно о Кавказе и Польше, то придется «добавить» еще добрую половину XIX века...).

Собственно, мы, когда говорим о российской культуре, ни сознательно, ни подсознательно не представляем ее себе без XIX века, который обогатил не только российскую, но мировую культуру великой литературой, музыкой, живописью и самобытной философской мыслью. В бытовом нашем сознании, во всех программах нашего гуманитарного образования — от школьных до университетских — культура XIX века занимает большую часть изучаемого курса. Но для Чаадаева, когда он писал свои «Философические письма» (особенно первое, цитируемое здесь чаще всего потому, что это было единственное письмо, опубликованное Чаадаевым при жизни), история российской культуры заканчивалась XVIII — началом XIX века. Когда Чаадаев писал свои «Философические письма», он видел в толще веков российской

¹ П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений. Москва, Наука, 1991. Т. 1, с. 325.

истории лишь отдельные памятники культуры и отдельные редкие фигуры просветителей. Потому в масштабах тысячелетий, которые фоном присутствуют во всяком его рассуждении, Россия предстает в образе подростка-великана среди умудренного опытом окружения: «Если мы хотим подобно другим цивилизованным народам иметь свое лицо, необходимо как-то вновь повторить у себя все воспитание человеческого рода»¹.

Величайший русский философ, Чаадаев был объявлен царем сумасшедшим. Его уникальная способность мыслить планетарными масштабами в соответствии с течением тысячелетий не была воспринята *умозрительно* — единственным возможным способом воспринимать рассуждения такого рода. Наоборот, его мысли были восприняты вне предложенной им системы масштабов. Стало быть, как вызов, сознательный и оскорбительный, живущему поколению... Потому что с высоты взгляда на общечеловеческую историю тысячелетняя история России «ужимается» в малый отрезок, а деяния одного отдельно взятого поколения, деятельность любого отдельно взятого самодержца становятся бесконечно малой величиной, которой просто можно пренебречь... Подобное условие для понимания дорогих ему мыслей было предложено поколению победителей, *поколению героев* 1812 года — пожизненная драма была Чаадаеву обеспечена... (Спустя еще тридцать с лишним лет патриотически настроенное общество с большим разочарованием и открытым неудовольствием встретило роман «Война и мир»: упреки, которые публично сыпались на великого писателя, были все те же — «непатриотический» роман...)

Но не только сопоставительный анализ русской культуры на фоне европейской цивилизации был дан Чаадаевым. Подобный анализ был бы усечен и во многом обесценен, если бы он был лишен исторического прогноза. Именно эта тема — прогнозирование исторического будущего России — обычно теряет ясные черты повседневности и обретает расплывчатые контуры некоего идеала, который формулируется как «особый путь России» или «русская национальная идея». Чаадаев же видел ответ на этот вопрос не столько в том, как, каким образом Россия пойдет к своей цели, сколько в том, *какой может быть сама цель*. В полном соответствии со своими взглядами на историческую молодость России и на ее огромный нереализованный

¹ П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений. Москва, Наука, 1991. Т. 1, с. 325.

потенциал он видел предназначение России в том, *какое место она должна занять в мировой цивилизации*. Не обособиться, а наоборот: усвоить, подтянуться и стать необходимой всему миру. Вот как он пишет об этом: «А между тем, раскинувшись между двух великих делений мира, между Востоком и Западом, опираясь одним локтем на Китай, другим на Германию, мы должны бы были сочетать в себе два великих начала духовной природы — воображение и разум, и объединить в нашей цивилизации историю всего земного шара»¹.

Нельзя сказать, что за последние сто пятьдесят лет мы ощутимо приблизились к такой цели, а уж в тридцатые годы минувшего века это, должно быть, звучало как чистая блажь: сначала философ отмечает целые века, потом предлагает — ни больше, ни меньше — стать «матерью» цивилизации...

Между тем если мы перейдем на язык современных реалий, то первое, что мы должны отметить, это тенденцию к всемирной экономической конвергенции. И что пока она идет «обходным» — для России — путем: Восток и Запад смыкаются на мировом рынке *вне России*. И дело даже не столько в том, что мы отстали индустриально, а в том, что, выломившись из эволюционного хода истории, почти век мы прожили в самоизоляции, пытаясь воплотить в жизнь одну из самых реакционных утопий. При этом мы пытались осчастливить весь мир и потащили за собой в никуда ряд соседних стран. В результате Восток и Запад сомкнулись за нашей спиной.

Геополитические возможности по-прежнему остаются теми же, что были видны Чаадаеву. И для того чтобы стать не просто каким-то соединительным элементом, а мостом, важнейшей несущей конструкцией мировой экономики, Россия должна экономически подняться и окрепнуть. Она должна не только обладать развитой и пластичной экономикой, но еще иметь немалый потенциальный запас для дальнейшего развития, способность аккумулировать в себе мировые достижения и гасить нежелательные вибрации, идущие как с одной, так и с другой стороны. Реальность конца XX века такова, что интеграция экономическая влечет за собой интеграцию духовную. Избежать духовной зависимости может только экономически сильное государство.

В патриотизме Чаадаева сегодня может сомневаться только умственно убогий человек. Все беды России, считал философ,

¹ П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений. Москва, Наука, 1991. Т. 1, с. 329.

проистекают из того, что Россия долгое время была предоставлена сама себе и развивалась на задворках цивилизованного мира. Многие в этом процессе от древней и средневековой России не зависело. Теперь же ситуация объективно иная.

6

Чем труднее идут реформы, тем больше слышно разговоров об особенностях менталитета русского народа. Если где-то колхоз душит одиночку фермера, то это вполне укладывается в наши представления о борьбе отжившей административной системы с новыми формами экономического развития. Но если ферму поджигают бывшие колхозные дружки-субутьльники — то начинаются невнятные разговоры о менталитете русского человека, неприятии индивидуального начала. Многие публицисты сегодня откровенно разочарованы и обескуражены отсутствием быстрых видимых результатов демократических преобразований. Некоторые в считанные годы прошли «творческий путь» от полной эйфории до форменной истерики. В поисках убедительных обоснований авторы начинают «подтягивать» под современную ситуацию подходящие, по их мнению, исторические примеры — от Петра I до Столыпина включительно. В чем-то все это начинает напоминать известного булгаковского персонажа, который на вопрос Воланда о том, кто же всем этим управляет («На этот, — по замечанию Булгакова, — признаться, не очень ясный вопрос»), без всяких внутренних сомнений ответил: «Сам человек и управляет», — представляя себе ход истории как расчерченный график сталинских пятилеток...

Если бы подобный вопрос был задан Чаадаеву, то, скорее всего, прозвучал бы такой ответ: «Разум века требует совсем новой философии истории, которая так же мало напоминала бы старую, как современные астрономические учения мало схожи с рядами гномических наблюдений Гиппарха и прочих астрономов древности. Надо только осознать, что никогда не будет достаточно фактов для того, чтобы все доказать, а для того, чтобы многое предчувствовать, их было достаточно со времен Моисея и Геродота. Сами факты, сколько бы их ни собирать, еще никогда не создадут достоверности, которую нам может дать лишь способ их понимания»¹.

¹ П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений. Москва, Наука, 1991. Т. 1, с. 394.

И далее пояснил: «При этом, если внимательно всмотреться в дело, то окажется, что все сырье истории уже исчерпано; что народы выявили все свои традиции; что если и предстоит еще дать лучшие объяснения прошедшим эпохам, то эта задача будет решена не той критикой, которая способна лишь копаться на свалке истории, а приемами чисто рациональными, то по отношению к фактам не предстоит никаких новых открытий. Итак, *истории теперь осталось только одно — осмысливать*»¹.

С этим у нас пока неважно. А ведь осмыслить требуется не тысячелетнюю толщу десяти веков, а — для начала — последние семь десятилетий. Несмотря на все потери (экологические и психологические), которые произвела созданная нами государственная машина, мы по-прежнему владеем огромными территориями, огромными сырьевыми ресурсами, у нас более чем достаточно рабочих рук и вполне пригодная индустриальная база. Единственное, чего мы не можем решить, — как соединить все это оптимальным образом. На решение этой элементарной задачи из области экономической науки в масштабе всей страны у нас просто не хватает необходимой концентрации *общественного интеллекта*.

В течение десятилетий интеллектуальный труд у нас не только не поощрялся, но даже был у власти под подозрением. Контроль за интеллектуальной деятельностью своих граждан был важнейшей охранной функцией государства. Интеллектуальный капитал требовался тоталитарному режиму лишь в тех случаях, когда речь шла об охране и укреплении самого режима. Многое из того, что составляло военную мощь Системы, было создано в недрах ГУЛАГа, но развитие гражданского общества Систему не интересовало. Интеллигенция десятилетиями существовала с прилипшим к ней как первородный грех эпитетом «гнилая». И сегодня одна из самых больших наших бед заключается в том, что мы не можем сосредоточить интеллектуальный капитал общества на главных направлениях реформ. Он, этот капитал, вроде есть, и вроде бы его много. Но это — как золото в Мировом океане: в атомарном виде оно там есть, и его, вероятно, много, но извлечь его оттуда в концентрированном виде практически невозможно. И мы сегодня перед сугубо практической задачей, которую в любой стране уже решили бы в нескольких вариантах, топчемся, ссылаясь то на «менталитет народа», то на «всемирный сионистский заговор», то на «происки ЦРУ» — на все, что угодно,

¹ П. Я. Чаадаев. Полное собрание сочинений. Москва, Наука, 1991. Т. 1, с. 395.

но только не на законы экономического развития, *которых мы просто не знаем*. Не теоретически, а в практическом применении. Вспомним тот эксперимент в начале перестройки: как только власть отдала часть своих функций, она тут же на эту самую часть перестала ощущать себя властью. При передаче своих функций такая власть быстро умирает.

Отношение к власти в России сложилось мистическое: либо ее поднимают выше Божеской, либо не ставят ни во что. В принципе тут нет ничего непонятного, если учесть, что Россия никогда не была демократической страной. В любом недемократическом государстве отношения между властью и обществом устанавливаются в форме противопоставления государства и личности. Чем более централизована власть, тем больше прав у государства и тем меньше прав у личности. Как следствие — тем сильнее напряжение внутри всей системы. За десятилетия своего правления большевики довели это внутреннее напряжение до таких пределов, когда малейшие изменения параметров становятся разрушительными для системы. Поэтому она и стала рассыпаться со скоростью, изумившей весь мир.

Если мы — хотя бы в общих чертах — примем такой взгляд на модель бывшего советского общества, то нам многое станет понятно. Ну, скажем, понятной станет та феноменальная, историческая роль, которую в России играла литература. Пристрастие миллионов людей к чтению журналов и книг, которое еще недавно трактовалось у нас в пользу повышенной духовности советского читателя, сегодня объясняется куда проще. В государстве, где в течение многих эпох отсутствовали элементарные правовые механизмы, защищающие права личности, русская литература с ее традиционной гуманистической направленностью своим существованием как бы обозначала то нравственное пространство, которое должно было бы совмещаться с пространством правовым. И если литература не могла очертить границы с помощью юридических законов, то она довольно точно очерчивала их с помощью законов нравственного бытия. И эту свою функцию сохранила и в советские времена.

Сегодня, когда отменена цензура и активно заработали средства массовой информации, литература сразу потеряла солидную часть своих прежних функций и интерес к изящной словесности в обществе резко снизился. Меньше стало восторгов по поводу «самого читающего народа». Да и по поводу особой духовности советского человека не слышно что-то речей...

Тяжело, но все-таки началось движение общества в сторону правового реформирования отношений личности и государства. И если приоритет прав личности будет не только продекларирован конституционно, но и закреплён процессуально, то это и будет означать, что Россия сломала наконец тысячелетнее бесправие граждан. Только тогда права государства будут складываться из суммарных прав миллионов россиян. И только тогда государство, защищая себя, будет защищать и права гражданина, а не противостоять ему.

И вот этот важнейший вопрос решается сегодня не столько на парламентском уровне, сколько на уровне сознания нынешнего гражданского общества. На уровне *менталитета*.

В отличие от многих публицистов я полагаю, что сегодня надо анализировать не русский менталитет, а советский. А это — особая статья, не имеющая исторического аналога.

7

Возьмем самое очевидное: закреплённую в конституции свободу предпринимательства и налоговую политику.

По Конституции заниматься свободным предпринимательством разрешено. Более того: проведен первый этап *государственной программы* по приватизации, в результате чего более 25% предприятий теперь находится в частной собственности. В то же время то же самое государство пытается строить налоговую политику таким образом, чтобы свыше 90% прибыли попадало в казну в качестве налогов. Другими словами, с каждого заработанного рубля предприниматель должен отдавать в виде налогов более 90 копеек. Такое условие исключает всякий смысл заниматься предпринимательством. Между тем предпринимательство у нас все же существует. Неизбежен вывод: налоговая политика изначально загоняет предпринимательство в тень. Другими словами: единственное условие существования предпринимательства связано с умением бизнесменов уклоняться от выплаты всех налогов.

Остальное уже следует автоматически.

Государство не может бороться с криминалом, потому что оно само порождает криминальную ситуацию. *Любой бизнес в наших условиях криминален*: даже если вы будете выпускать продукцию, позарез необходимую населению, вам все равно придется играть с государством в «кошки-мышки», иначе оно ментально разорит вас.

В любом развитом государстве понятие «криминальный бизнес» определяется не налоговой политикой, а законом. Например, производство, продажа и распространение наркотиков; незаконная торговля оружием и некоторыми видами сырья; виды деятельности, связанные с нанесением морального ущерба и т.п. Но тот, кто выпускает, скажем, детскую одежду, или стиральные машины, или что-то иное, не попадающее под запрет, может спать спокойно: государство гарантирует сохранность и неприкосновенность частной собственности и предпринимательской деятельности как таковой. Что же касается налогов, то в мировой практике давно уже найдены все оптимальные величины и соотношения. Так, скажем, известно, что поднимать «налоговую планку» выше 35—38% — невыгодно, потому что предпринимательство становится нерентабельным, начинает сворачиваться и государство в результате получает меньше в казну. У нас же, пока не будет нормальной налоговой политики, невозможно будет отличить легальный бизнес от теневого. Забирать свыше 90% в налог (иногда зашкаливало и за 100%) — это даже не государственный рэкет, это грабеж наподобие печально известной продразверстки в годы военного коммунизма. Происходит это потому, что, по советской психологии, власть ощущает себя властью только тогда, когда она абсолютизируется. С другой стороны — армия чиновников сегодня понимает, что той, прежней незыблемостью властные структуры уже не обладают, и свои властные полномочия чиновники конвертируют в капитал или недвижимость, цепко держа предпринимателей за горло. Отсюда — коррупция на всех уровнях.

Необходимо учитывать также специфику частного капитала, коли он в обществе существует. Частный капитал не может находиться в пассивном состоянии. В собственной стране ему перемещаться некуда: как только он легализуется, он сразу попадает в тупик — в бездонный налоговый карман, который ему уготовила нынешняя власть. Поэтому он пробивает себе дорогу в тени, нередко с помощью автоматов Калашникова. И пробивает, как правило, на Запад.

Скажите, если вы принимаете решение провести чисто *техническую операцию* по замене старых купюр на новые, зачем вам ограничивать сроки тремя — пятью днями и ставить верхний предел на уровне средней зарплаты госслужащего? При этом вы даже не учитываете, что обмен проводится летом, в разгар отпусков и что выданные вами же законные отпускные перекры-

вают названный вами верхний предел? Вы что, хотите отщипнуть от отпускных несколько сотен миллионов? Нет? Тогда что же?

Ничего непонятно — абсурд...

Между тем логика внешне абсурдного решения высвечивается сразу, если вы знаете, что в стране в *теневом обращении* сотни миллиардов (а то и триллионы) рублей и вся эта наличность недоступна вашей чисто фискальной налоговой политике. Тогда вы быстро, без предупреждения, как милицейскую облаву, устраиваете «обмен купюр» и ставите верхнюю планку так, чтобы все граждане со среднестатистическим заработком без особых хлопот поменяли бы суммы, равные среднемесячному окладу, а все держатели «неучтенной» наличности остались бы на мели. Или представили бы документы на свои миллионы, но тогда вы вправе запускать на полные обороты налоговую инспекцию и забирать наличность в виде невыплаченных налогов и штрафов... Вроде тут уже логика просматривается, но логика, извините, дурная, потому что при всей внезапности объявленного обмена купюр продолжали работать пункты валютного обмена. До середины дня доллар стоил, если не ошибаюсь, 1100 рублей, к вечеру (акция обмена была объявлена в 14.00 по программе «Вести») — уже 2000 рублей. И если, допустим, я — неопытный начинающий бизнесмен — держал в кармане два три миллиона наличными, то, конечно, я пошел и купил на них доллары, вместо того чтобы вручать их налоговой инспекции. Но я думаю, что наивных бизнесменов нет и что одного урока по обмену купюр, который преподал всем в свое время г-н Павлов, было вполне достаточно...

Так о чем все это говорит? О загадочной русской душе или о вьезшемся в кровь «менталитете» нашей постсоветской советской власти с ее отношением к соотечественникам как к стаду нестриженных баранов?

Поэтому, пережив недолгий период «раннегорбачевской» эйфории, мы вернулись на привычную нам позицию — ответного недоверия к власти.

Нашим вождям, ныне обитающим в разных ветвях власти, все еще трудно понять, что надо как можно быстрее дать людям *реальную возможность* работать на самих себя и тем самым — на государство в целом.

Году в восемьдесят девятом или девяностом в «Литгазете» мне попала на глаза статья работника МВД, в которой говорилось, что за 29 лет (с 1960 по 1989 годы) через тюрьмы и лагеря у нас прошло более 30 миллионов человек. Это — в

сравнительно спокойные годы. Если учесть, что у каждого осужденного есть минимум три-четыре близких человека (родители, дети, братья, сестры), то психологически — в сознании — зона тем или иным образом коснулась едва ли не половины населения бывшего Союза. (О поколении, на чью долю выпало жить в годы сталинских репрессий, мы тут уже и не говорим.)

Это и есть наш исторический опыт. Опыт лагерной и военной жизни. Опыт, который прямо или косвенно коснулся каждого советского человека в трех поколениях. Опыт *недоверия*, который сегодня и определяет наш менталитет.

Дореволюционный русский человек *жил*. В разных сословиях по-разному. Хорошо ли, плохо, но жил. Существовало такое понятие, как «уклад жизни», свойственное разным сословиям. Когда при советской власти все это было порушено, народ — все социальные группы без исключения — ответил весьма красноречиво: ушел в алкоголь, как во всеобщую и бессрочную забастовку.

Новая власть заставила миллионы людей в России сменить опыт жизни на *опыт выживания*. В этом за 70 с лишним лет мы преуспели. Под влиянием этого долгого и жесточайшего опыта сформировалось наше сознание. Сознание человека, живущего *одним днем*.

Сегодня одряхлевшая советская власть тащит за собой в могилу страну. И весь наш опыт выживания сегодня работает в полную силу. Так и живем, контролируя друг друга настороженным взглядом: власть по-прежнему не доверяет нам, а мы — ей.

Наши отношения с властью — это последнее проклятие постсоветского периода. Ни нынешние экономические трудности, ни серьезные геополитические и экологические вопросы не являются для нас сейчас столь сложными и тягостными, потому что это вопросы внешних условий нашего существования. А наши взаимоотношения с властью — это часть нашего сознания, и эту цепь мы тянем за собой.

Между тем в конце XX века в системе взаимозависящих развитых государств мира такая огромная страна, как Россия, может сохранить свою целостность только в том случае, если ее части изнутри будут связаны разнообразными формами экономического взаимодействия. Никакая внешняя власть — ни тоталитарная, ни авторитарная — сама по себе не способна заметить эти многочисленные внутренние связи.

Собственно, к этому все идет. Идет стихийно, с безобразными политическими зигзагами, с потерей времени. Но все-таки идет...

Виктор Рафальский

РЕПОРТАЖ ИЗ НИОТКУДА

В анналах истории подчас можно натолкнуться на такие гнусные сюжеты, которые и описывать тошно. Нечто подобное ощущаю и я, составляя эти заметки. Речь идет о так называемых специальных психиатрических больницах МВД СССР, которые до 1959 года назывались просто — тюремные психиатрические больницы МВД СССР.

Своим появлением эти «больницы» обязаны хитроумной деятельности Вышинского. Именно по его указанию была создана еще в тридцатые годы Казанская тюремная психиатрическая больница — первая в своем роде. Один из несчастных, который вышел оттуда полным инвалидом (уже после смерти Сталина), рассказывал мне, какие издевательства он претерпел.

После войны была основана еще одна больница такого типа — в Ленинграде. А затем еще и еще. В общей сложности этих «больниц» было, наверное, десятка полтора. Правда, в 1958 году возникла мысль эти «больницы» ликвидировать. Об этом мне рассказала заведующая четвертым отделением Ленинградской тюремной психиатрической больницы, где я находился некоторое время, упрекая и себя и других врачей за то, что упрямо отстаивали целесообразность существования таких заведений.

— Знай мы, что после этого срежут ставки, черта с два так себя повели бы, — цинично говорила дама в белом халате.

Для врачей, если их можно так назвать, психушки МВД — золотое дно. Ответственности никакой, взятки сами в руки плывут, и высокая зарплата. Каждый держится за свой контингент больных (20 — 25 человек), будет меньше — могут сократить штаты.

Впервые я был арестован в 1954 году. Мне было предъявлено обвинение в антисоветской деятельности.

Хрущев как-то выразился, что, дескать, выступать против нашей системы может только сумасшедший. Эти его слова были восприняты как директива. Обе тюремные психушки — ленинградская и казанская — вскоре были переполнены фрондирую-

щей молодежью, студентами ленинградских и московских вузов, которую нельзя было судить («Политзаключенных у нас нет», — утверждал Хрущев), а упрятать в дом умалишенных — за милую душу. Юридическое оформление всего этого возлагалось на Институт судебной психиатрии имени Сербского в Москве, в частности на его четвертое отделение (политическое). Возглавлял отделение Лунц, заместителем была Маргарита Тальце, в период бериевщины заведовавшая этим отделением. Санитарки, работающие в пятидесятые годы, нам рассказывали о деяниях Тальце. Эта дама лично допрашивала заключенных, привезенных с Лубянки и из Лефортова, пользуясь какими-то сильнодействующими препаратами. После чего весьма часто увозили трупы.

После расстрела Берии Тальце понизили в должности, но сегодня Маргарита Тальце опять возглавляет четвертое отделение. Правда, для политзаключенных там отведен лишь бывший изолятор, так как отделение стало сугубо уголовным.

Оно изначально находилось в непосредственном подчинении органов госбезопасности. Это подтверждается многими фактами.

Когда одесская экспертиза признала ленинградского ученого Ветохина вменяемым, госбезопасность обратилась к институту имени Сербского. Институт, соответственно, изменил диагноз.

В 1962 году я вторично попал в лапы гэбешников. Экспертизу проводил Киев. Заключение — вменяем. Но это не устраивало Комитет госбезопасности, где велось следствие по моему делу. Я попадаю в институт имени Сербского. И тот же результат, что и с Ветохиным.

Не могу не рассказать и еще об одной истории, трагической во всех отношениях.

Даниил Леонидович Андреев просидел ровно десять лет во Владимирском политизоляторе. Да, он сознался в предъявленных ему обвинениях, подписал все, что от него требовали, будучи уверенным: расстрела не миновать. Его били ножкой стула, выколачивая абсурдные признания, применяли другие изощренные пытки.

Не расстреляли — заперли наглухо во Владимирской тюрьме. Когда началась так называемая хрущевская «оттепель», оставшихся в живых жертв сталинского террора освободили из мест заключения. Но вместо того, чтобы выпустить, Андреева привозят на экспертизу в институт имени Сербского.

Я встретил его там в 1957 году. Была «оттепель», и Даниил Леонидович, особенно не стесняясь, читал нам свою сильную и талантливую поэму. Я был тогда молод, да и вузовской мо-

лодежи было много в психушке имени Сербского. И Андреев увлеченно читал свою поэму зеленым фрондерам:

Иду туда, где под землю сползают эскалаторы,
Где светится над входами неоновое «М».
Там статуи с тяжелыми чертами узурпатора...

Мне кажется, Андреев слабо верил в хрущевскую «оттепель». Во всяком случае, когда наиболее башковитые юнцы выучили наизусть его поэму, он попросил ее не публиковать.

Спрашиваю себя: зачем все же привезли на экспертизу Андреева? Почему не выпустили? На это могла ответить только Лубянка. Видимо, она была почему-то заинтересована в том, чтобы своего подопечного гнать дальше по линии тюремной психиатрии.

После освобождения в 1960 году я навестил его жену. Андреева уже не было в живых. Он умер от рака крови спустя шесть месяцев после дурацкой экспертизы и освобождения. Врачи знали о его настоящей болезни, и Лубянка знала — не знал только сам Даниил Андреев, которого отправили домой умирать...

У меня нет намерения исписывать кипы бумаг на эту тему. Итак, год 1955. Первое мое знакомство с экспертизой в институте имени Сербского. Четвертое отделение. Глава — Даниил Луц. Нас, подследственных кроликов, — 69. Впереди — только тюремная психиатрическая больница.

Генерал Геннадий Куприянов — одна из жертв так называемого «ленинградского дела». Пять лет по лагерям. Кто-то, по видимому, не заинтересован в его реабилитации (возможно, Серов, шеф госбезопасности). Характер твердый, бескомпромиссный. Генерала явно спроваживают по линии психиатрии. На свидании с женой сказал: «Иди к Жукову».

Когда я через полгода попал в ленинградскую психушку, мне рассказали удивительную историю. Как только привезли Куприянова, звонит Жуков:

— Что?! Боевого генерала в дом умалишенных?! Освободить! Немедленно!..

Куприянова выпустили как больного, который моментально «излечился». И пошел генерал работать в аппарат Ленинградского обкома партии. Анекдотично, не правда ли?

В 1955 году применялся метод усмирения: раздевают донага, укутывают мокрой простыней, привязывают к кровати. В таком состоянии держат, пока человек не завопит. Ибо, высыхая, плотно обернутая простыня причиняет невыносимую боль. Это так называемая укутка. Была еще и «растяжка»: руки и ноги прижаты жгутами. Надзиратель тянет за мошонку.

Физические пытки не исключали нравственных.

Федор Федорович Шульц — человек необыкновенный во всех отношениях. Целеустремленный, бескомпромиссный. Член партии Бог знает с какого времени. Честность и человечность — характерные черты. И вот Федор Шульц попадает в сталинскую мясорубку.

В 1930 году саратовская парторганизация в полном составе — в оппозиции к Сталину. Что за этим произошло — не стоит и толковать. С тех пор Шульц — вечный узник сталинских концлагерей.

В 1956 году, во времена хрущевской «оттепели», — реабилитирован. На комиссии по реабилитации, возглавляемой Суслым, сказал:

— Если будет опять то же самое — тюрьмы и лагеря за взгляды, — можете не реабилитировать.

Члены комиссии переглянулись и реабилитировали.

Шульц стал персональным пенсионером союзного значения.

Не прошло, однако, и нескольких лет, как «персонального пенсионера союзного значения» опять берут за жабры. На этот раз — за письмо в ЦК, в котором он подвергает уничтожающей критике деятельность Политбюро. Шульца заталкивают в ленинградскую тюремную психушку.

Спустя год на комиссии профессор Туробаров, председатель, многозначительно спрашивает:

— Ну что, будете писать в ЦК?

— Я? Писать в ЦК? Принципиально — нет.

Его выписывают из сумасшедшего дома: ремиссия.

Ну, чем не цирк?!

Повторяю, это не такое уж исключительное явление: единомышленники уничтожают единомышленников.

А случалось, единомышленники спасали единомышленников.

Да, в некоторых случаях тюремная психбольница играла роль спасительницы для кое-кого. Именно так и использовали ее те, кому это было нужно из своих соображений.

Берию расстреляли. Остались приспешники, за которыми стояли еще другие законспирированные соратники, и последние делали все, чтобы кого-то из своей братии уберечь от роковой пули.

Полковник Саркисов — личный охранник Берии, на его совести десятки изнасилованных женщин, которых он, Саркисов, затаскивал в логово шефа. После сих праведных трудов Саркисов отдыхает на Арсенальной, 9, в стенах Ленинградской тюремной психиатрической больницы. У него здесь все условия в отличие от других заключенных. От нечего делать, вспомнив свою мирную профессию (инженер-текстильщик), конструирует из хлеба и спичек действующую модель ткацкого станка. И Саркисова, и эту модель тюремное начальство демонстрирует высшему инспекционному начальству: психически больной полковник на пути к выздоровлению.

Здесь же, на Арсенальной, 9, — бывший командующий войсками МВД Московской области генерал... инкогнито. Там, в верхах, знают его фамилию.

А генеральская жена в зале свиданий точно ищет сочувствия у присутствующих:

— Вы знаете, он был такой деликатный человек, такой деликатный...

«Деликатное» эмведешное начальство! Вы можете себе такое вообразить? Я — нет.

Такая вот историйка.

Я попал в ленинградскую тюремную психушку в конце 1955 года. Знал ли я о существовании тех заведений? Знал. Поэтому только и было в мыслях — не угодить бы туда. Когда человек годами находится под нейролептиками — это превышает воображение. А впереди — неизвестность. Она калечит, убивает. Слабые духом не выдерживают — вешаются. Но нейролептики ломают и дух; тогда бывший человек теряет всякое достоинство, падает на колени перед своими палачами, молит о милосердии. Как это было с журналистом Лавровым. На десятом году издевательств он упал на колени — и его выписали как пациента, пребывающего в состоянии ремиссии.

Дело Лаврова достойно страниц юмористического журнала. Поссорился с местным прокурором и заказал гроб, который по воле заказчика работники похоронного бюро торжественно принесли в прокуратуру. Обладая прокурор чувством юмора, он прореагировал бы как-то иначе на эту злую шутку, но, как многие прокуроры, он был туп, как сибирский валенок. Журналиста

упекли в психушку, прокурор вскоре умер, а бедный Лавров оттарабанил почти десять тюремных лет, пока не стал на колени.

Лавров действительно был нездоров, однако зачем так издеваться?

Но вернемся к пятидесятым годам. Я был тогда молод, полон энергии и пыла. Гнить на Арсенальной не входило в мои планы. Это был март 1956 года. Мысль одна — побег. И я удрал. Стреляли — не попали. Должно быть, повезло.

Странная вещь: признать человека невменяемым и содержать его под вооруженной охраной, имеющей право убивать.

Летом 1976 года, когда я находился в Сычевской тюремной больнице, там при попытке побега пристрелили молодого паренька (фамилия — Литвинов), а перед тем во время этапирования убили подростка.

Так вот — я бежал. Без денег, в тюремном бушлате, пробирался на Украину. Спустя несколько месяцев, когда, казалось, все уже позади, постигла беда: бывший мой ученик из калушской средней школы, к которому я обратился за помощью, бессовестно выдал меня властям. Это была трагедия, промолчать о ней я просто не в силах, хотя к моим заметкам она имеет косвенное отношение...

Прошу извинить за отступление. Можно себе представить, что тогда поднялось на Арсенальной, 9, — драпанула такая «политическая фигура»!

После, так сказать, возвращения меня сразу же закрыли в одиночку. Экспертизу проводила Кильчевская, старая бабища с застывшим, помертвевшим лицом, в молодости — сотрудница ЧК. Комиссию возглавлял профессор Случевский.

Заключение — вменяем.

Случевский:

— Молодой человек, если кто-нибудь скажет, что у вас шизофрения, — рассмейтесь ему в лицо.

Эту фразу я хорошо запомнил.

Ну, и что же дальше?

Дальше — какая-то юридическая абракадабра. Годы и годы мытарств по тюрьмам и тюремным экспертизам. Три экспертизы в Ленинграде, три — в Москве (в том же институте имени Сербского). Протесты Ленинграда Генеральному прокурору — конца и края этому нет. Ленинград опровергает экспертизу Москвы, Москва — Ленинграда.

Я очутился в каком-то заколдованном кругу, из которого не было выхода.

Но теперь все стало на свое место.

Четвертое отделение Института судебной психиатрии имени Сербского, как было сказано выше, полностью подчинено Лубянке. Но аналогичные экспертизы на местах, на периферии действуют по собственному разумению. И, безусловно, еще одно: взаимосвязь центральной экспертизы с Лубянкой им неведома. Все покрыто тайной.

Почему все же ленинградская тюремная психушка так упорно отстаивала диагноз вменяемости своего подозреваемого? По той простой причине, что за побег заключенного начальству надо отвечать. Выход один: он был, черт побери, вменяем, нечего нам таких подсовывать. Невменяемый не удрал бы.

Фактически пять лет (с 1954-го до 1959-го) вели следствие по моему делу: госбезопасность — психиатрия, госбезопасность — психиатрия. В начале следствия, которое вело Станиславское областное управление ГБ, мне подсунули каким-то образом (в еду, что ли) хорошую дозу наркоза. Наступило состояние эйфории. Впоследствии что-то в этом роде мне рассказывали о Гринишаке, сидевшем одновременно со мной под следствием. Гринишак, доведенный этим до отчаяния, пытался покончить с собой, выпрыгнув из окна четвертого этажа, но его успели схватить за ноги.

Это было время, когда после расстрела Берии началась в своем роде «перестройка» методов следствия, так как примитивные физические пытки были малоэффективны, а шуму даже слишком много.

Когда меня арестовали вторично (год 1962), следователи Комитета госбезопасности в Киеве вполголоса между собой переговаривались:

— Следствие в Станиславе велось небрежно...

Ничего себе: пять лет «небрежности»!

Киевский областной прокурор изрек тогда мне:

— Чего вы бунтуете? Хорошо ли, плохо ли, но как-то живем...

Во время моих пятилетних скитаний я побывал в тюрьмах Киева, Харькова, Львова, Москвы и Вильнюса. Почему Вильнюс?

Частично понял я это, став свидетелем разговора заключенных-эстонцев с начальником киевской Лукьяновской тюрьмы. Эстонцев этапировали с Колымы, везли восемь месяцев через всевозможные этапные тюрьмы. Теперь по маршруту Киев — Львов — Харьков, и опять по треугольнику, и опять. Начальник объясняет эстонцам:

— Мы сами этого не знаем, исполняем распоряжение.

Теперь мне были понятны и мои скитания: как в каждой у нас системе, здесь существовала полная неразбериха. Но одно дело, скажем, неразбериха в каком-нибудь главке или райисполкоме, и совсем иное — места заключения: волком взвоешь.

Бой между Ленинградом и Москвой закончился министерской комиссией: был болен, сейчас — ремиссия.

Отбрасывая выводы Института судебной психиатрии имени Сербского, Ленинград твердил: у Рафальского очень развит рефлекс свободы, а это не свойственно шизофреникам.

Об этом «рефлексе» мне стало известно благодаря майору Серову, замначальника по режиму ленинградской психушки.

Майор был оригинал — воевал с врачами.

— Это же совсем нормальные люди.

Врачи:

— Не суйте нос не в свое дело.

Майор часто меня вызывал и часами вел довольно странные разговоры.

— Черт знает, ничего не поймешь...

Тогда тоже была «перестройка» и что-то наподобие «гласности».

— Куда идем и куда дойдем? Вот — история партии... — Он хлопал ладонью по книге. — Раньше одно писали, теперь — другое...

Во время одной из таких бесед майор Серов позвал секретаршу и велел ей принести мое тюремное дело.

— Вот, читай свои акты.

Таким образом, я получил возможность познакомиться с теми «актиками». Боже мой! Чего я только там не вычитал! Противоречия на каждом шагу, небывлицы, юридические ляпсусы.

Блинов, начальник этой «больницы», мне как-то бросил:

— Почему вы в Москве говорите одно, а в Ленинграде иное? Я был удивлен.

Сейчас же, просматривая злополучные акты, понял: Москва делает все, чтобы подвести какое-то основание под свое медицинское заключение, аргументировать его, а поэтому все эти деятели прибегали даже к обыкновенному словоблудию, юридическому подлогу. Ссылки на мои собственные показания, которых я никогда не давал, поступки, которых я не совершал, ссылки на показания матери моей, которые не имели места.

В те годы в местах заключения политических работала особая государственная комиссия, которая определяла, кого из заключенных освободить. Собственно, так называемая министерская комиссия в институте Сербского по моему делу и была чем-то вроде вышеупомянутой: представители прокуратуры, органов госбезопасности, еще там кто-то — в общем, человек тридцать.

Таким образом, я вышел на свободу 11 октября 1959 года — ровно через пять лет после ареста.

Я, кажется, отклонился от главного, ибо моя задача — поднять занавес над тем, что теперь называется психиатрическими спецбольницами МВД СССР.

В 1962 году меня арестовали вторично. Если первый арест 1954 года был сопряжен с довольно солидным политическим делом, то предлогом для нового ареста был мой литературный архив. Там находилось несколько опусов, неприемлемых с точки зрения официальной идеологии. Инкриминировалось мне также участие в студенческих волнениях в Москве.

Следствие вел Комитет государственной безопасности в Киеве. После нескольких нудных допросов от следствия я отказался. Тогда меня направили на психиатрическую экспертизу Павловской больницы, которая признала мою вменяемость. Меня это вполне устраивало, но явно не устраивало комитет. Итак — опять институт имени Сербского. Как и прежде, тогда четвертым отделением руководил Даниил Лунц. Мне кажется, именно он непосредственно получал указания с Лубянки и соответственно инструктировал подчиненных. Но тут вышел один казус.

Врачиха, которая вела мое дело, откровенно заявила, что психических отклонений у меня не видит и будет это свое мнение отстаивать на комиссии. Ее немедленно отстранили, а вместо нее определили какого-то олуха.

Вторично такой казус произошел в 1983 году на львовской экспертизе — там врача заменили за день до комиссии.

Кое-что мне становилось известно благодаря откровенности самих медработников. Одна история весьма интересна.

Анатолий Лупинос прилагал все усилия, чтобы выяснить суть переплета, в который попал. Он отбыл двенадцать лет заключения и теперь загредел в спецбольницу. Было это в 1974 году. С Лупиносом я имел довольно тесный контакт и поэтому был в курсе его дел. Ему каким-то образом удалось сунуть нос в свое тюремно-врачебное дело. Там он натолкнулся на медзаключение профессора. Оно гласило, что он психически вполне нормальный человек. Лупинос снимает копию с заключения и

отправляет вместе с заявлением в Верховный суд. Логически рассуждая, Верховный суд должен бы заинтересоваться этим делом. Однако органы госбезопасности не остались в стороне, и Лупинос оказался в Алма-Ате (в тамошней психушке). Осенью 1976 года я встретился с ним на Харьковской пересылке; его этапировали в Казахстан, меня — в Сычевку Смоленской области. Именно тогда Лупинос и рассказал мне о финале этой странной истории.

Двенадцать лет его молодость калечили в концлагерях, пятый год — в психушке, а впереди — неизвестность. За что? Последний раз — за выступление у памятника Шевченко в Киеве. Митинговали по поводу уничтожения архива Центральной Рады и старинных манускриптов в университетской библиотеке.

Иногда целесообразнее держать заключенного в сумасшедшем доме, чем в лагере, и история с Лупиносом — яркое тому подтверждение.

После следствия я попал в казанскую психушку. Кололи меня там беспощадно. Постоянные нейролептики — вещь страшная. Свое состояние описать невозможно. Нет покоя ни днем, ни ночью. Человек перестает быть человеком. Никому нет дела, что таким вот образом он становится инвалидом, ибо организм не в состоянии выдержать систематических атак нейролептиков.

Врач Иванова из днепропетровской тюремной психушки как-то кричала на свою жертву:

— Я тебя вылечу, опять сделаю больным, и снова вылечу, и опять сделаю больным...

В Казани во время прогулки подходит ко мне старичок.

— Не узнаешь?

— Нет.

— Да ведь я Иван Хомяк...

«Старичку» было едва сорок лет. Я виделся с ним когда-то в Ленинграде: вместе сидели.

Из Хомяка сделали не только старика, он сошел с ума. Утратил ориентацию во времени и пространстве: что-то молол о Японии, граница которой якобы где-то вблизи Казани. Что-то там путал еще и единственное помнил — мою фамилию.

Я не могу считать историю с Хомяком досадным эпизодом. После падения Хрущева в системе тюремных психиатрических больниц еще больше завинчивали гайки — режим стал невыносимым.

С 1969 года в тюремных спецбольницах был учрежден штат санитаров. Санитаров рекрутируют из числа уголовников — до 1975 года даже из лагерей особого режима.

Отбросы общества получают власть. На их действия персонал стыдливо закрывает глаза.

— Что ты бьешь, как колхозник, — наставляет медсестра санитары. — Бей по печени!

Тут своя система: почки, печенка. Чтобы никаких следов.

Когда санитарам было скучно, они искали развлечения:

— Надевайте, ребята, сапоги...

Это значило — будут бить сапогами под ребра. Кого-нибудь. Лишь бы бить. А потом доложат врачам, что на них бросились. Последствия известны.

На моих глазах политзаключенный Григорьев (восьмое отделение Днепропетровской тюремной спецбольницы, год 1972) был насмерть затоптан озверевшими санитарями-уголовниками.

В 1976 году в десятом отделении (было это, кажется, уже после отъезда Плюща) санитары замучили нескольких заключенных этой психушки.

Доведенная до отчаяния, одна камера взбунтовалась. На ноги был поставлен весь гарнизон, охранявший психушку и тюрьму. Со всех отделений сбежали санитары — и началось...

Когда эта сволочь ворвалась в коридор десятого отделения и «бунтовщиков» вытянули из камер, санитары повалили их на пол и заплясали на животах несчастных. Солдаты не мешали, а для санитаров это было развлечение.

Политзаключенного Степана Пустового мучили 12 лет, и кто только над ним не измывался. Освободили полным инвалидом. А «преступление» его — в канун выборов написал мелом на заборе: «Не ходите на выборы!»

Подполковник Матросов имел неосторожность высказать свое мнение по поводу положения в армии, что-то осудить, да еще в письменном виде. Начальство всполошилось. Вольнодумство в Советской Армии?! Неслыханно! Уж лучше спустить на тормозах, психиатрия — милое дело. Снежневский вначале колеблется, но когда Матросова вторично препровождают к нему на экспертизу, профессор отбрасывает сомнения. Надо. И подполковнику навешивают диагноз: вялотекущая форма шизофрении.

Религиозность тоже считается психическим синдромом. От верующих требуют отказа от своих убеждений, иначе ремиссия исключается. Баптиста Владимира Хайло арестовали только за

веру, которой он служит, и только за это объявили сумасшедшим, заковали в днепропетровский спец. Там его держали пять лет, вполне нормального человека, отца 16 детей.

Когда начмед психушки напоследок снова нажал на Хайло и Хайло снова отказался, его отправили мучиться в Благовещенск.

Я полагаю, что не последнюю роль в поведении врачей подобного типа учреждений играет тот факт, что в психиатры, как правило, идут те выпускники мединститутков, которые учатся на голые тройки. Амбиций по горло, конечно. Попади в руки такого!..

Как-то в коридоре крутили фильм «ЧП». В местах заключения это называется идейно-политическим мероприятием в целях перевоспитания заключенных.

Сюжет фильма — история танкера «Туапсе», захваченного в свое время тайваньскими военными кораблями. Бывший радист танкера Иванков теперь находился в заключении. Он рассказал, как в действительности обстояли дела.

Когда «Туапсе» привели в один из портов Тайваня, команду его интернировали. Конечно, не так, как об этом сообщала наша пресса, и не так, как показано в фильме.

Команду поместили в дешевенькой гостинице, и, когда были закончены формальности, ей предложили убраться ко всем чертям — кому куда заблагорассудится. Двадцать два человека выехали в Соединенные Штаты, капитан, помощник капитана и несколько матросов отбыли в Советский Союз. И сразу же попали в заключение. Иванков поехал в Штаты. Устроился на радиозаводе в Нью-Йорке. Прошло пять лет. Иванков заболел ностальгией. Его тянуло на родину, к детям и жене. Он обратился в советское посольство. Его уверяют, что никаких неприятностей не будет, полная гарантия. Он возвращается в Советский Союз. Арест, обвинение в измене Родине.

Я встретил Иванкова в Казанской тюремной психбольнице (1963 год). Он мне все и рассказал.

В 1968 — 76 годах, находясь в днепропетровской психушке, я встретил Иванкова опять. К тому времени он сидел уже 13 лет. Начальство психбольницы было в курсе дела, оно прекрасно знало, что фильм «ЧП» — липа, а Иванков — живой свидетель.

В 1963 — 64 годах я находился в Казани. Еще в Киеве следователь госбезопасности Жиромский пригрозил:

— Отправлю в такое место, откуда и через десять лет не выйдете.

Угрозу свою выполнил.

Я нарушаю хронологическую последовательность. Нарушаю сознательно, так как заметки, которым я дал название «Репортаж из ниоткуда», были бы слишком монотонными, если бы я придал им форму обыкновенного дневника. Именно так и делал геолог Михаил Пономарев из Кривого Рога, имевший несчастье попасть в ленинградский спец. Он был уверен, что скрупулезность изложения — вещь просто необходимая. Не ведаю, где теперь Михаил Пономарев и как обстоит дело с его дневником, который он так тайно пописывал, — слишком уж много времени ушло с тех пор. Возможно, он прав, апеллируя к потомкам. Но что я должен делать сейчас, обращаясь к современникам? Уже не один год гремит по всему миру позорная слава советских тюремных психиатрических больниц, не осталась в стороне и Комиссия ООН по правам человека, но какая реакция на все это? Тут, по-моему, дневников недостаточно, нужна прямая апелляция к мировой общественности.

В октябре 1964 года меня освободили. Тогда это еще было возможно. Началось хождение по мукам на «воле», как говорят. Из Крыма, где я прописался, пришлось выехать — село Орлиное вдруг отошло к Балаклавскому району, а это пограничная зона. Кинулся туда-сюда — везде отказ.

Обосновался в Киеве без прописки. Это — нарушение паспортного режима. Нашему брату нарочно создают такие условия, чтобы легче было арестовать: мол, злостный нарушитель.

В сентябре 1967 года я был арестован в третий раз. Мой литературный архив дал основание органам госбезопасности Тернопольской области (туда меня законопатили) подвести под обвинение политическую статью. Крутили-вертели и наконец предложили провести экспертизу в Виннице. Однако в последнюю минуту Винницу заменили Москвой — так, мол, вернее.

Я давно уже заметил, что органы госбезопасности и милиция, когда следствие заходит в тупик, охотно обращаются к психиатрам. Это позволяет закрыть дело и, таким образом, выкрутиться перед начальством.

Большакова обвиняли в убийстве. Виновным себя не признавал. Его провели через экспертизу, сделали невменяемым и упрятали в днепропетровскую тюремную психушку. Пять лет беспощадно «лечили». Он, бесспорно, душевнобольным не был. За все пять лет, что я его знал, никаких психических отклонений не замечалось. И все же его кололи нейролептиками все годы. Как он с ума не сошел — чудо. Его сестра стучалась во все ин-

станции, и наконец Верховный суд снял с него все обвинения из-за отсутствия доказательств. Большакову возвратили статус нормального (вменяемого) и освободили.

В такой же переделке попал и я летом 1968-го. От положения Большакова мое положение отличалось только тем, что я был политическим и от меня не требовали признания в совершенном преступлении. Мне просто дали понять, что от них, врачей, ничего не зависит.

Примерно через год профессор Шостакович, курирующий тюремную больницу, сказал мне: у него нет оснований держать меня там. Но старый Шостакович внезапно умер, и место его заняла Блохина.

На очередной комиссии, забыв, по-видимому, выпроводить меня за дверь, в моем присутствии профессор Блохина и начмед Каткова завели такой разговор.

Блохина: Я могу выписать.

Каткова молча возражает.

Блохина (*после паузы*): И все же я могу выписать.

Каткова опять мотает головой.

Профессор Блохина — председатель комиссии, мнение председателя — закон. Но начмед Каткова (полный ноль в медицине) возражает профессору. Начмед каждой тюремной психушки — особа, непосредственно связанная со следственными органами, и, как таковая, делает то, что ей велят. Председатель комиссии об этом знает и конфликтовать с этой особой не намерена. Политические в тюремных спецбольницах обречены.

Когда майор Серов, замнач по режиму ленинградской тюремной больницы, сунул мне под нос мое тюремное дело, я обратил внимание на листочки с грифом «Секретно». Это были копии переписки с органами госбезопасности. Каждый шаг администрации по тому или иному вопросу согласовывался с соответствующими органами. Я не знаю, чем руководствовался майор, знакомя меня с моим тюремным делом. Но факт остается фактом.

Мысленно я часто возвращался к роковому 1967 году. За что, собственно, я был арестован? Решение Тернопольского областного суда было сформулировано так:

«Хранил произведения идейно порочного содержания, по-видимому, с целью распространения».

Сейчас я не в состоянии восстановить в памяти точный текст этого решения, но слов «по-видимому, с целью распространения» забыть не могу.

Мы, объявленные невменяемыми, фактически поставлены вне закона, и с нами можно делать все что угодно, не исключая даже вот такого крючкотворства. Это «по-видимому» — основание почти каждого судебного дела, на которое опираются карательные органы, определяя судьбу преобладающего большинства политических «невменяемых».

Судьба наша действительно страшна. Делать с нами можно все, что заблагорассудится, никакой прокурор по надзору сюда нос не сунет.

У меня сложились неплохие отношения с Петром Троцюком, одним из руководителей Полесской Сечи. Он отбыл свой срок в лагерях и теперь находился в днепропетровской психушке. Именно такие отношения не понравились оперативникам. Нам учинили острый допрос при помощи наркоза (это был барбамил). Меня положили на топчан и ввели в вену препарат. Допрос проводили начмед Каткова и врач Иванова, не имевшая, кстати, никакого отношения ко мне. Самое странное то, что вопросы касались моего первого дела (арест 1954 года). Так меня мучили десять дней. Иногда дозы превышали допустимую норму, и я терял сознание. Вышел я из этого испытания, полагаю, более-менее сносно. Дело в том, что, находясь в свое время в армии, я случайно услышал от одного сержанта, как его допрашивали в СМЕРШе на так называемой «перделке» (допрос током). И сержанта спасло то, что он, садясь на этот проклятый стул, вбил себе в голову что-то совершенно несуразное и плел именно это. Я последовал его примеру, когда мне ввели наркоз.

Эпизод этот имел место летом 1975 года.

Свет не без добрых людей. Медсестра девятого отделения, в котором я находился, Ксения Даниловна Цивата, предложила мне оформить опеку и, таким образом, попытаться вырвать из этого ада. Я дал согласие. Кажется, все уже было сделано, как велит закон,— опека юридически оформлена. Но тут появляется майор Хабаров, замнач по режиму.

— Чтобы я жил рядом с этим писателем?! — загремел он.— Пока я здесь, Рафальского не выпущу. Немедленно расторгайте опеку.

Оказывается, дверь квартиры Циваты и дверь Хабарова — рядом.

Хабаров в свое время был начальником концлагеря в чине подполковника. Уж не знаю, за какие провинности, но — понизили в звании до майора и дали днепропетровскую синекуру.

Хабаров — развратник, и это не было тайной среди медперсонала. Так или иначе, моего соседства он не пожелал. И опека была аннулирована.

Цивату это не спасло. Контакт с заключенным в системе МВД — вещь непростительная. Ее выгнали с треском.

Низко кланяюсь ей...

В 1974 году в десятом отделении днепропетровской психушки появился украинский математик Леонид Плющ. В то время длиннейший коридор четвертого этажа главного корпуса, где размещены восьмое, девятое и десятое отделения, был общим для заключенных всех трех отделений. Металлические перегородки между отделениями сооружены позже. Двор для прогулок тоже был общим, и поэтому мы с Плющом могли общаться. Это общение не осталось вне внимания оперативных работников, и, когда в 1976 году благодаря жене Плющу удалось вырваться за границу, я был этапирован в Сычевскую тюремную больницу (это в Смоленской области). Кроме меня еще четырнадцать политических были разбросаны по всем спецам Советского Союза.

Трудно сказать, чему отдать предпочтение, если говорить о режиме, — Днепропетровску или Сычевке. Бараки без фундамента. На первом этаже под полом — вода. Отопление еле-еле. А зима — ох, какая лютая! Вымерзли сады на Смоленщине. Туалет — интервал три часа. Как и в Днепропетровске. Хоть разорвись — никому нет дела. Это несравненно хуже тюрьмы — там хоть туалет не проблема.

Прогулок нет совсем. И неусыпный надзор. Точно собрали сюда самых мерзких подонков.

Начальник, майор Ермаков, напугтствует:

— Имей в виду, у меня тут на каждого из вас по информатору, так что без всяких фокусов.

Вместе со мной прибыли киевский журналист Ковгар и учитель из Волыни Кравчук. Последний уже пять лет сидит за какой-то стишок.

При психушке фабрика на пятьсот машинок. Рабочий день — шесть часов, на фабрике грохот — стены дрожат, и вдобавок динамики добавляют магнитофонную запись современной супермузыки. Рехнуться можно. Шмон — идешь на работу, шмон — с работы. Зимой раздевают на лютом морозе. А в бараке не согреться.

Погнали работать с первых дней. А что значит работать под нейролептиками?

Информаторов хватало, скоро в этом убедился. От них, естественно, вранья не оберешься. Навыдумывают такое... Последствия — усиленное «лечение». Попадал я на это «лечение» трижды. Ермаков брызжет слюной:

— О чем вчера говорил с Ревякиным?

Ревякин — политзаключенный. Пятнадцать лет отбухал в лагерях Мордовии, за три месяца до освобождения бросили сюда. В такую же катавасию попал и Попп, осужденный за... «цыганский национализм». Ян Попп — цыган. Когда вышло постановление об оседлости цыган, написал прошение в правительство, чтобы для оседлости выделили хоть какую-нибудь территорию, где они могли бы поселиться на правах национальной автономии. Распространял по этому поводу листовки. Арестовали и — на десять лет в лагерь. Теперь — в Сычевке. Психических отклонений нет.

Года через три в сычевской «академии» получаю письмо от старой знакомой — Эммы Войцехович. Приехала на свидание. Поговорили. Больше часа не дают. Вот так и ездит аж из-под Львова. Сама когда-то выстрадала семь лет лагерей Дзезказгана.

Итак, благодаря Эмме я выхожу на относительную свободу весной — переводом в Бережницкую больницу общего типа. Возле больницы роща. Имёю разрешение на свободный выход. Заплакать бы от счастья, а слез нет. Именно тут летом того же года в присутствии двух свидетелей отец Василий Куцак соединил наши руки. О, как хочется домашнего уюта! Не судьба. Два с половиной года пролежали документы на получение паспорта в Стрыйской милиции — глухо.

Фесенко, главный врач, говорит:

— Вас здесь не пропишут.

В январе восемьдесят третьего приезжают за мной оперативники из госбезопасности. Зашли в административный корпус. Ребята из персонала предупреждают: за вами...

Молниеносное решение: не медлить!

Прежде всего — спасти то, что каким-то образом сохранилось из литературного архива. Но это не так просто. Ищу ниточку, за которую бы ухватиться. Кажется, на мази. Но провал. Опять стража. Решетки. Сопровождают шесть человек. Шепот: особо опасный государственный преступник...

При первой же возможности передаю письмо в Комиссию ООН по правам человека. До сих пор меня коробит при воспоминании об этом слезном послании. Не привык становиться на колени. Но мысль о том, что мой архив попал в недра КГБ,

толкает меня на этот шаг. Хоть бы не сожгли. Хоть бы выиграть время.

А жизнь выводит свое. Опять днепропетровский спец...

Прошел год, и слышу:

— Из Москвы телеграмма — немедленно освободить Рафальского.

Еще три месяца ожидания этого «немедленно». Воля! Относительная, конечно.

Отнята жизнь. Двадцать лет погублено...

И последнее.

Прошу считать эти мои заметки обвинительным свидетельством преступной деятельности Института судебной психиатрии имени Сербского, преступной деятельности органов госбезопасности СССР. Если таковое дело будет наконец юридически возбуждено.

Сентябрь 1988 года

РЕЗЮМЕ

Как же обстоят дела сейчас в нашей отечественной психиатрии?

Изменилось что-нибудь? Увы!

Во втором номере «Украины» за 1992 год опубликовано письмо некоего Эдуарда Шапка.

Вот оно.

Здравствуйте, дорогая редакция!

Прочитал я вашу статью «Репортаж из ниоткуда» в журнале за сентябрь месяц. Эту статью написал бывший обитатель этих стен. Он написал про весь беспредел, который здесь происходил. Хотя он четыре года как ушел с этих стен, но здесь мало что изменилось в лучшую сторону. И несмотря на то, что мы сейчас числимся за Минздравом, а не за МВД. Если взять охрану, то здесь были контролеры, так они и остались. Так они ко всему этому еще избивают больных. Обедают с нашего скудного рациона, так им этого мало, они еще тащат домой продукты. Я ведь работал на больничном пищеблоке и все это видел, в общем, берут все, что съедобное. Они заставляют больных, чтобы они брали продукты и несли им, а когда больной отказывается от этого, тогда они говорят врачам, что у больного изменилось состояние. А врачи тогда закрывают в отделении больного и начинают лечить нейролептиками. Иногда доходит до того, что

больные не выдерживают таких мучений и кончают жизнь самоубийством, были случаи, что вешались и спрыгивали с крыши здания.

Если сопоставить колонию и нашу больницу, то в колонии намного легче сидеть. Дело в том, что мы здесь не имеем никакого права, даже самое простое, что здесь нельзя нам держать в палате ни ручку, ни бумагу для писем, в воскресенье нам дают бумагу и ручки и в нашем распоряжении два часа, чтобы написать весточку домой. А принадлежности для писания идут под учет, кто сколько взял и сколько сдал. Ни жалобы, ни письма, подобные этому, цензура не пропускает.

Туалет здесь по распоряжку, а если невтерпех, тогда в целлофановый мешок и за окно, чтобы только никто не видел, а то лечить станут. Здесь даже целлофановые мешки запрещено держать в палате.

Овощи бросают в борщ и суп наполовину чищенные, много чего не добавляют, одним словом, воруют. Так что же это получается, если мы ворует или кого-то избили, так мы несем за это наказание, а им это с рук сходит.

Дорогая редакция, убедительно прошу вас напечатать это письмо в вашем журнале. Пусть будет это письмо как приложение к статье «Репортаж из ниоткуда».

С уважением,

Эдуард Шанко

г. Днепропетровск

Какие уж тут комментарии!

ОБРАЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ «ЖЕНЕВСКАЯ ИНИЦИАТИВА ПО ПСИХИАТРИИ»

С конца 50-х и особенно после 1953 года советские власти забирали в психиатрические больницы своих политических оппонентов, диссидентов и верующих, превратив тем самым этот раздел медицины в орудие политического насилия. Решение об этом, очевидно, исходило от высших руководителей страны, а именно — Генерального секретаря КПСС и ее Политбюро, и выполнялось бюрократическим аппаратом компартии. Его жертвами стали сотни и тысячи людей, в том числе Владимир Буковский, генерал Петр Григоренко, поэт Наталья Горбаневская,

математик Леонид Плющ. У нас есть информация о более чем 500 пострадавших.

Их заключение могло продолжаться 15 — 20 и более лет, условия содержания этих политических узников были ужасающими и бесчеловечными.

Многие психиатры, выступавшие против подобной практики, например, доктор Семен Глузман и Анатолий Корягин, были осуждены на длительные сроки тюремного заключения.

Генеральная ассамблея Всемирной психиатрической ассоциации осудила эту практику в 1977 году, а спустя пять лет — Всесоюзное общество психиатров было вынуждено выйти из ее состава (членство восстановлено в 1989 году).

Вышеуказанные нарушения подтверждаются множеством подобных документов. Использование психиатрии в СССР как средства политического давления считается таким же преступлением, как злодеяния врачей-нацистов во время второй мировой войны.

От имени Совета Представителей

Роберт ван Ворен,
генеральный секретарь

15 июня 1992

Перевод с украинского автора

Василий Малиновский

ПОСЛЕДНИЙ НЕПРАВЕДНЫЙ СУД ЭПОХИ СТАЛИНИЗМА

ЗАМЕТКИ О СУДЬБЕ ЕВРЕЙСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА

Собственно праведных судов в эпоху сталинизма вообще не было. Даже первый нашумевший в свое время политический процесс над эсерами в 1922 году, к которому приложил свою руку и Сталин, был уже судом неправедным... Что уж говорить о процессах середины 30-х годов, ставших олицетворением изощренной жестокости и полного правового беспредела. Опубликованные материалы этих процессов были тщательно отредактированы их организаторами и, разумеется, не могут дать даже приблизительной картины происходившего. Проникнуть до конца в тайны этих и других судебных процессов эпохи сталинизма исследователям до сих пор не удалось. Это происходило по многим причинам, в том числе в связи с отсутствием надежной источниковой базы. Историкам часто приходилось строить свои гипотезы без серьезной документальной основы. Многие важнейшие материалы до самого последнего времени для исследователей были закрыты. Только недавно гласность коснулась и этой, ранее совершенно недоступной стороны нашей жизни. Открылись — святая святых тоталитарного государства — архивы Политбюро ЦК ВКП(б), НКВД-КГБ, органов суда и прокуратуры; стала публиковаться находившаяся до этого под запретом мемуарная литература. Эти новые документы позволяют глубже понять суть сталинского советского режима, изучить конструкцию его властных органов, способов управления, никому не подконтрольных, отстраненных и от общества в целом, и даже от большинства членов правящей партии. Публикация стенограмм судебного процесса над членами Еврейского антифашистского комитета¹ — это настоящий прорыв в данном направлении.

¹ НЕПРАВЕДНЫЙ СУД. Последний сталинский расстрел (стенограмма судебного процесса над членами Еврейского антифашистского комитета)/ М.: Наука, 1994. — 399 с. Составители В. П. Наумов, А. А. Краюшкин, Н. В. Тепцов. Автор предисловия — В. П. Наумов.

Впервые за всю историю сталинских политических процессов исследователь и широкий читатель получает возможность увидеть подлинную картину происходившего на процессе и изучить во всех деталях не только механизм репрессивного сталинского судопроизводства, но увидеть попытку фактически обреченных обвиняемых оказать решительное сопротивление несправедливому суду. Таким образом, публикация стенограмм процесса вносит свой вклад в ликвидацию белых пятен нашей истории, а главное, позволяет сказать правду об оклеветанных и безвинно уничтоженных людях. Эта публикация тем более значима, что даже Определение Военной коллегии Верховного суда СССР от ноября 1955 года об оправдании прошедших по процессу членов Еврейского антифашистского комитета по решению тогдашних властей было скрыто от общественности. Официальная реабилитация произошла только в 1988 году.

В рецензируемой книге публикуются стенограммы судебного следствия, протоколы закрытых судебных заседаний, приговор Военной коллегии Верховного суда СССР и Определение Верховного суда Союза ССР от 22 ноября 1955 об отмене приговора над членами Еврейского антифашистского комитета. Материалы процесса приводятся по машинописным расшифровкам стенограмм. Самых стенограмм публикаторы не видели, но они подчеркивают, что имевшиеся в их распоряжении машинописные копии следов правки не только по содержанию, но даже по стилистике не имеют. Поэтому составители считают, что публикуемый материал практически адекватно отражает ход процесса.

К сожалению, составители публикуют имевшиеся в их распоряжении материалы не полностью, а со значительными купюрами. Конечно, публикация всех восьми томов стенограмм процесса не представляется возможной, хотя бы из-за обилия повторов, и все же составители нечетко оговаривают принципы отбора текстов. В публикации также по неизвестным причинам отсутствует привязка стенограмм к координатам их хранения в архиве. Однако отмеченные недостатки нисколько не умаляют событийного значения выхода публикации, которая, безусловно, внесет свой весомый вклад в дело дальнейшего изучения не только деятельности и судьбы Еврейского антифашистского комитета (ЕАК), но и определенного периода советской истории в целом.

ЕАК начал создаваться в конце 1941 года как орган Совинформбюро. Таких комитетов одновременно было создано несколько: Всеславянский, Молодежный, Женский, Еврейский и

Антифашистский комитет ученых. Комитеты создавались по решению высших партийных органов, направление их деятельности и состав согласовывались с отделами ЦК, но практическую работу по их организации осуществляло Совинформбюро, которое тогда возглавлял секретарь ЦК ВКП(б), кандидат в члены Политбюро А. С. Щербаков. Деятельное участие в этой работе принимал его заместитель, член ЦК С. А. Лозовский. В декабре 1941 г. председателем ЕАК Щербаков рекомендовал С. М. Михоэлса, выдающегося советского режиссера и актера, видного общественного деятеля. Точно так же были подобраны и все другие члены комитета. В апреле-мае 1942 года формирование ЕАК было завершено, в него вошли известные еврейские писатели, ученые и общественные деятели.

ЕАК был задуман как чисто пропагандистская организация. Главной его задачей считалась внешнеполитическая деятельность — пропаганда в зарубежной печати успехов советской власти и «мобилизация еврейского населения за рубежом на борьбу против фашизма», с тем чтобы привлечь зарубежные еврейские организации к оказанию не только моральной поддержки СССР, но и существенной материальной помощи. И в этом отношении ЕАК проделал большую работу. Более 20 тысяч пропагандистских материалов было направлено не только в страны антигитлеровской коалиции, но и в нейтральные страны. Представители ЕАК выезжали с пропагандистскими целями в ряд зарубежных стран. В частности, с большим успехом прошла поездка Михоэлса и Фефера в США и Мексику. От еврейских организаций США и других стран поступала значительная материальная помощь.

Но ни о какой широкой практической деятельности ЕАК среди еврейского населения внутри страны речи не шло, да и не могло идти. И. В. Сталин не выносил в этом отношении никакой самостоятельности, больше того, в каждой самостоятельно действующей организации он усматривал потенциальных врагов.

ЕАК попал под беспощадные репрессии потому, что в это время антисемитизм становится ярко выраженной государственной политикой, проводимой по инициативе и под руководством Сталина. Кампания так называемой борьбы с космополитизмом в СССР, начавшаяся в 1948 году, стала апофеозом этой политики. Но для разгрома ЕАК в тот период существовали и специфические причины, подтолкнувшие ликвидацию комитета. Во время Отечественной войны отмечался стихийный рост национального самосознания всех народов, населявших нашу

страну. Это чувство не прошло и мимо некоторых членов ЕАК. Они как-то забыли, что рамки их деятельности строго очерчены руководством страны, и, проявив самостоятельность, стали считать ЕАК органом, ответственным за судьбы всех советских евреев.

Возглавил эту сторону деятельности ЕАК Михоэлс. Она началась с попыток решения вопросов материального положения еврейства: распределение гуманитарной помощи, поступающей от еврейских организаций из-за границы, забота о трудоустройстве беженцев евреев в новых местах их проживания, решение жилищных проблем и т. д. Были случаи, когда Михоэлс обращался в государственные органы с ходатайством об освобождении лиц еврейской национальности из лагерей. Руководство страной отнеслось к этой деятельности Михоэлса неодобрительно, но до поры до времени открыто мер не принимало.

Однако дело бытовыми вопросами не ограничилось. Группа членов комитета (С. М. Михоэлс, Ш. Эпштейн и И. С. Фефер) в начале 1944 году обратилась с письмом к И. В. Сталину и В. М. Молотову, в котором они предлагали создать еврейскую автономную республику в Крыму. Эта политически наивная акция, как известно, была предпринята ими по совету Молотова. А если принять во внимание, что инициатива подобного масштаба тогда не могла возникнуть без санкции самого Сталина, то становится ясным, что мы имели дело с провокацией, задуманной на самом высоком уровне. Таким образом, Сталин получил возможность в нужный ему момент обвинить ЕАК еще и в сепаратизме.

Но не эти частности, а общая трагическая обстановка в стране предопределила неизбежность ликвидации ЕАК, исполнение которой откладывалось лишь на некоторое время. Пока шла война, ЕАК был нужен как пропагандистский центр. Расправиться с ЕАК сразу же после окончания войны было неудобно, гитлеровский геноцид вызвал волну сочувствия к евреям во всем мире, да и советские евреи вместе со всеми народами страны героически сражались на фронтах Отечественной войны, так что Сталину не хотелось тогда потерять лицо перед мировым сообществом. Кроме того, ЕАК мог пригодиться для усиления советского влияния на Ближнем Востоке в связи с созданием еврейского государства в Палестине. В это же время комитет становится игрушкой в закулисной борьбе за власть среди сталинского окружения. Одни, и прежде всего МГБ, пытались собрать на него компромат и расправиться с его деятелями не-

медленно, другие предлагали еще некоторое время использовать ЕАК в интересах правительственной политики. Так что злополучное письмо о Крыме пролежало в архивах более трех лет, чтобы потом вдруг стать одним из главных пунктов обвинения против ЕАК.

За деятельностью ЕАК почти с самого начала его создания было установлено секретное наблюдение, в том числе и с помощью завербованных органами госбезопасности сотрудников комитета. Секретными сотрудниками МГБ были: ответственный секретарь ЕАК поэт Фефер, его заместитель Г. М. Хейфиц, член комитета И. С. Юзefович, переводчики ЕАК супруги Илья и Чайка Ватенберг. И этому не следует удивляться: осведомительство к этому времени в СССР стало совершенно рутинным делом. Недаром Февральско-Мартовский 1937 года пленум ЦК ВКП(б) широко обсуждал вопрос о работе секретной агентуры, рассматривал меры, направленные на расширение и улучшение ее работы. Находились и такие «энтузиасты», которые считали своим долгом таким образом «служить» партии и народу. Но поучительно другое: многие осведомители были подвергнуты практически таким же репрессиям, что и их жертвы. Это подтверждают и материалы процесса ЕАК.

Таким образом, благодаря «принятым мерам» ЕАК почти с самого начала своего создания находился «под колпаком» у органов безопасности. Это дало возможность МГБ во главе со своим шефом, министром В. С. Абакумовым, досконально знать, что происходило в ЕАК, фиксировать все, даже частные разговоры, улавливать малейшее проявление недовольства, самую безобидную критику действий властей. Впоследствии этот материал, накопленный с помощью стукачей, всплывет и на следствии, и на процессе. А пока МГБ начал исподволь готовить над ЕАК расправу. Началась сложная интрига, в ходе которой Абакумов решил связать деятельность ЕАК, и прежде всего его председателя С. М. Михоэlsa, с кланом Аллилуевых, родственников Сталина по жене Надежде Аллилуевой, погибшей в 1932 году. Абакумов прекрасно знал, что у Сталина с Аллилуевыми сложные, враждебные отношения, и решил использовать этот фактор в своих карьерных интересах.

С этой целью были арестованы знакомый семьи Аллилуевых И. И. Гольдштейн и его приятель, близкий сотрудник Михоэlsa З. Г. Гринберг. Путем самых жестоких пыток, шантажа и обмана их заставили дать показания против Михоэlsa и других членов ЕАК. (Кстати, несмотря на выполнение требований МГБ по ого-

вору членов ЕАК, оба они были осуждены и погибли в лагерях.) При этом МГБ старалось подать дело так, что якобы Михозэлс стремился через родственников Сталина повлиять на его политику в отношении евреев, а собранные через Аллилуевых материалы о личной жизни Сталина переправить за рубеж. По указанию Сталина среди членов семьи Аллилуевых были произведены аресты. Именно с «дела» Михозэлса — Аллилуевых деятельность МГБ начинает приобретать открыто выраженный антисемитский характер. Арестованный после смерти Сталина М. Д. Рюмин — один из самых страшных мастеров заплечных дел тогдашнего МГБ, авантюрист и провокатор — на допросе показал: «С конца 1947 года в работе Следственной части по особо важным делам начала отчетливо проявляться исходившая от Абакумова и реализуемая впоследствии Леоновым, Лихачевым и Комаровым тенденция рассматривать лиц еврейской национальности потенциальными врагами советского государства. Эта установка приводила к необоснованным арестам лиц еврейской национальности по обвинению в антисоветской националистической деятельности и американском шпионаже». Об этих антисемитских тенденциях следователей МГБ рассказывал на суде и Лозовский: «Полковник Комаров имел очень странную установку... Он говорил мне, что евреи — это подлая нация, что евреи — жулики, негодяи и сволочи, что вся оппозиция состояла из евреев, что евреи хотят истребить всех русских». С этого момента МГБ начинает активную практическую подготовку к ликвидации ЕАК. Расправа началась с председателя комитета С. М. Михозэлса, выдающегося деятеля еврейского народа. По личному указанию И. В. Сталина в январе 1948 года в Минске агентами МГБ Михозэлс был тайно убит. Реакция советской и мировой общественности на эту потерю была столь эмоциональна, что официальным советским властям пришлось устраивать Михозэлсу торжественные похороны, на которых их представители выступали с фарисейскими речами. Однако уже тогда многие не верили в случайность смерти Михозэлса и подозревали убийство.

С началом кампании борьбы с космополитизмом пробили смертный час и для всего ЕАК. Его разгром начался по решению Политбюро ЦК ВКП(б) от 20 ноября 1948. Политбюро утвердило постановление Бюро Совета Министров СССР, в котором МГБ поручалось немедленно «распустить Еврейский антифашистский комитет, так как, как показывают факты, этот комитет является центром антисоветской пропаганды и регулярно по-

ставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки». Предлагалось органы печати комитета закрыть, дела комитета забрать в МГБ. Документ заканчивался зловещей фразой: «Пока никого не арестовывать».

В соответствии с этим постановлением в ЕАК и в Еврейском театре произвели обыски и были изъяты все документы. «Пока» же с арестами длилось всего месяц. В конце декабря 1948 года на Лубянке оказались первые члены ЕАК, а в январе следующего года все остальные его ведущие функционеры. Вслед за ними репрессиям подверглась большая группа лиц, так или иначе связанных с ЕАК, и не только в Москве, но и в Киеве, Минске и других городах Союза. Таким образом, за решеткой оказался цвет еврейской интеллигенции: ведущие еврейские писатели, пишущие на идиш, общественные деятели, научные и издательские работники, журналисты. Репрессии против ЕАК означали начало решительного курса тоталитарных властей на уничтожение еврейской национальной культуры, ускорение процессов фактически насильственной ассимиляции.

Заклячая под стражу членов ЕАК, органы госбезопасности прекрасно знали, что они схватили совершенно невинных людей, больше того, по своим убеждениям это были в абсолютном большинстве интернационалисты, преданные идеалам партии и советской власти. Уже на процессе Л. М. Квитко, например, прямо заявил: «Я всю жизнь считал себя советским человеком, больше того, пусть это звучит нескромно, но это так — я всегда был влюблен в партию». Но у подручных Абакумова уже давно был заготовлен для них перечень преступлений, в которых эти невинные люди должны будут признаваться.

Поначалу почти все арестованные не признали себя виновными. Исключение составили лишь некоторые, например Фефер, который с самого начала сотрудничал со следствием и в своих показаниях беспардонно оговорил своих товарищей по заключению. Клеветнические показания Фефера в какой-то мере позднее способствовали раскручиванию МГБ «дела врачей».

Но если Феферу только угрожали, что его будут бить, то главного врача больницы им. Боткина в Москве Б. А. Шимелиовича с самого начала подвергли зверским избиениям по приказу все того же Абакумова прямо в приемной министра. Били его адъютанты и секретари в чинах полковников. Показания Шимелиовича — это свидетельство не только мужественного человека, но и врача: «Я спорил 3 года и 4 месяца, и, поскольку будет возможность, я буду спорить дальше... Я получал в течение

месяца (январь-февраль 1949 года) примерно, с некоторыми колебаниями в ту или другую сторону, в сутки 80—100 ударов, а всего, по-моему, я получил около 2 тыс. ударов». Но, несмотря на это, продолжал он: «...ни стоя, ни сидя, ни лежа, я не признаю того, что записано в протоколах». Бывали случаи, когда его на допросы приносили на носилках. Но и негибачаемый Шимелиович в состоянии тяжелой прострации подписал какую-то бумагу, которая оказалась протоколом где он оговаривал себя и других. Важно отметить, что и в своем последнем слове на суде Шимелиович решительно осуждал применение пыток во время следствия. Правда, в соответствии с менталитетом советского человека он не хотел бросать тень на все МГБ в целом, а требовал привлечь к серьезной ответственности ряд сотрудников органов госбезопасности во главе с их министром. А вот рассказ В. Л. Зускина об обстоятельствах его ареста: «...меня привезли на допрос в совершенно одурманенном состоянии в больничной пижаме. Ведь меня арестовали в больнице, где я находился на лечении, причем болезнь моя такого характера, что я длительное время находился в глубоком сне. Арестован я был во сне и только утром, проснувшись, увидел, что нахожусь в камере, и узнал, что арестован».

Тяжелая участь постигла и И. С. Юзефовича. Когда он заявил, что ничего не знает о каких-либо преступлениях Лозовского, его, несмотря на то, что в свое время он был секретным сотрудником органов, по распоряжению министра Абакумова перевели в Лефортовскую тюрьму, известную своими страшными порядками, «где стали избивать резиновой палкой и топтать ногами... — показал Юзефович на процессе. — В связи с этим я решил подписать любые показания, чтобы дожидаться дня суда. Я думаю, что в Советском Союзе суд сможет все вещи поставить на свои места». Многие подследственные пошли по этому пути. Истерзанные, запуганные и обманутые, они стали оговаривать себя и других и подписывать заранее заготовленные или уже после подписания вновь отредактированные следователями протоколы, утешая себя тем, что на процессе они откажутся от своих показаний, что советский суд им поверит и они будут оправданы.

Примерно такой же тактики придерживался и 75-летний Лозовский. Он имел за плечами богатый политический и жизненный опыт, на его глазах прошли практически все несправедливые сталинские процессы, он видел, как на них сломили таких людей, как Бухарин, Рыков, Каменев, поэтому он понял всю бесполезность сопротивления изуверской карательной машине.

Следователь полковник Комаров на одном из допросов ему заявил, что если он не подпишет признательных протоколов, то его «...будут гноить в карцере и бить резиновыми палками так, что нельзя будет потом сидеть. Тогда я им заявил, — показывал на суде Лозовский, — что лучше смерть, чем пытки, на что они мне ответили, что не дадут умереть сразу, что я буду умирать медленно...». Осознав свою обреченность, он, не дожидаясь зверских пыток, стал подписывать заготовленные следователями протоколы. «У меня не было никакой другой возможности, как подписать эти показания. Я на себя наговорил, а не на другого...» — заявил он на своем последнем допросе в суде. Неизвестно, надеялся ли Лозовский на праведность советского суда, но на процессе он предпринял последнюю попытку защититься.

В течение почти всего 1949 года следствие велось энергично, и костоломам из МГБ удалось «выбить» теми или иными способами у большинства подсудимых признание их мнимой вины. Но, кроме этих самооговоров и оговоров товарищей, следствие практически никакими убедительными документами не располагало и в поисках их вынуждено было притормозить работу. В следствии наступил перерыв. Он, очевидно, был вызван и внешними обстоятельствами. Начиная с января 1949 года, после опубликования в «Правде» редакционной статьи «Об одной антипатриотической группировке театральных критиков», подготовленной главным редактором «Правды» Пospelовым и членом Политбюро ЦК Маленковым, в стране развернулась печально известная кампания борьбы с космополитизмом. Началась массовая «охота на ведьм» и оголтелый, рожденный низкой завистью и интригами поиск «врага». В этой обстановке внимание МГБ отвлеклось на другие дела. Органами было создано «дочернее» дело в редакции ЕАК о шпионаже, «раскрыта» сионистская группировка на московском автомобильном заводе им. Сталина (ныне ЗИЛ), начинало раскрываться грандиозное по своим масштабам «ленинградское дело». На все это и были брошены основные силы МГБ. Хотя по делу ЕАК допросы к этому времени почти прекратились, арестованные продолжали томиться в следственных изоляторах. Почти все они провели на Лубянке и в Лефортове более трех лет.

Такое положение со следствием по делу ЕАК продолжалось до середины 1951 года. 11 июля 1951 года по записке в ЦК КПСС старшего следователя МГБ М. Д. Рюмина вышло постановление ЦК «О неблагоприятном положении в МГБ СССР», по которому был снят с поста и арестован министр МГБ Аба-

кумов. Видимо, интрига Рюмина либо просто устраивала Сталина, и он решил, что пришло время расстаться с потенциально опасным чекистом, либо она вообще была подказана «сверху». После снятия Абакумова в МГБ провели соответствующую чистку, ликвидировав «националистическую группу» среди его сотрудников. Рюмин же на этом сделал карьеру: он «прыгнул» из подполковников сразу в генералы и возглавил Следственную часть по особо важным делам МГБ. А позднее стал даже заместителем министра госбезопасности СССР.

В свои карьерных интересах новое руководство МГБ решило «реанимировать» дело ЕАК. В докладной записке «наверх» оно указывало, что прежнее руководство МГБ умышленно затягивало следствие по делу ЕАК, не смогло собрать веских доказательств его преступлений, не раскрыло в достаточной степени шпионскую деятельность членов ЕАК. Новый министр госбезопасности Игнатьев обязался исправить эти недостатки, и следствие по делу ЕАК возобновилось. В обвинении предполагалось превратить ЕАК в центр, руководящий всей националистической и шпионской деятельностью в стране. За дело взялся сам Рюмин, проявив садистское рвение. Начались новые допросы и новые истязания.

В качестве вещественных доказательств по некоторым документам ЕАК Рюмин привлек заключение назначенных им экспертов. В угоду МГБ экспертиза была проведена с нарушением элементарных требований и походила на фарс. При пересмотре дела ЕАК Верховным судом СССР в 1955 году было установлено, что экспертиза проводилась «под непосредственным контролем следователей и влияние следователей на экспертов было настолько сильным, что в ряде случаев они сделали выводы, никак не вытекающие из исследовавшихся ими документов».

В ходе следствия возникла идея провести над наиболее видными членами ЕАК показательный процесс, вроде сталинских судилищ середины 30-х годов. Из всей массы арестованных для участия в процессе отобрали группу наиболее видных деятелей комитета, имеющих в биографии те или иные зацепки, для возможной их компрометации. Например, в число подсудимых МГБ включило группу лиц, по тем или иным причинам побывавших за границей, чтобы прощью было предъявить им обвинение в шпионаже. МГБ старательно внедряло тезис: раз побывал за границей — значит, потенциальный шпион.

Всего по процессу ЕАК прошло, не считая ранее убитого Михоэлса, пятнадцать человек. Список обвиняемых возглавил

С. А. Лозовский — член ЦК ВКП(б), заместитель министра иностранных дел и заместитель начальника, а затем и начальник Совинформбюро, депутат Верховного Совета СССР, работавший длительное время с В. И. Лениным; известные еврейские писатели и общественные деятели: И. С. Фефер, Л. С. Бергман, П. Д. Маркиш, Л. М. Квитко, Д. Р. Бергельсон, Д. Н. Гофштейн, ученый-физиолог, действительный член АН СССР, директор института физиологии Академии наук, лауреат Сталинской премии, автор около 400 научных трудов, ученый с мировым именем Л. С. Штерн; народный артист РСФСР, после смерти Михоэlsa возглавивший Еврейский театр в Москве, лауреат Сталинской премии В. Л. Зускин; главный врач Центральной клинической больницы им. Боткина в Москве Б. А. Шимелиович; научный сотрудник Института истории Академии наук СССР И. С. Юзефович; журналисты, переводчики и редакционные работники Л. Я. Тальми, И. С. Ватенберг, Ч. С. Ватенберг-Островская, Э. И. Туемин. Посмертно во всех смертных грехах был обвинен и Михоэлс.

Собрав, таким образом, «новые» материалы, Рюмин составил обвинительное заключение, в котором все пятнадцать подсудимых, отобранных для процесса, были обвинены в измене родине. Главным антисоветчиком следствие решило сделать С. А. Лозовского. В свое время он дважды исключался из партии, и этот факт его биографии следствие пыталось обыграть, сделав из него закоренелого врага ВКП(б). Для исполнения своих целей от каждого подсудимого Рюмин требовал показаний против Лозовского. По версии следствия, Лозовский по собственной инициативе с преступными целями создал ЕАК, ввел в него своих единомышленников-националистов и превратил эту организацию в центр антисоветской, сионистской деятельности «не только среди евреев СССР, но и... для установления преступной связи с националистическими кругами США». Таким образом, Лозовский и его товарищи по процессу обвинялись в шпионаже, в том, что они переправляли за рубеж секретную информацию об экономике страны и клеветнические измышления о положении евреев в СССР. Для этого якобы Лозовский в 1943 году направил в США Михоэлса и Фефера, которые установили «личный контакт с еврейскими националистическими кругами Америки в борьбе против Советского государства».

Припомнили следователи и возникшую в 1944 идею создания Еврейской автономной республики в Крыму. И эту идею следователи связали с происками иностранной разведки, кото-

рая, как утверждало обвинение, с помощью ЕАК стремилась отторгнуть Крым в пользу США. Особым нападкам подверглась попытка издания «Черной книги», в которой были бы показаны преступления немецкого фашизма против евреев в 30—40-х годах, тем самым якобы противопоставляя страдания еврейского народа бедам людей других национальностей. Обвинялись члены ЕАК и во многих других проявлениях национализма.

По указанию Сталина МГБ с помощью следствия стремились осуществить крупную политическую провокацию — получить компрометирующие материалы на некоторых руководителях партии и государства, с тем чтобы начать новую чистку «в верхах», а может быть, и во всей партии. Материалы собирались, в частности, на Молотова, его жену Полину Жемчужину, Лазаря Кагановича, известного писателя Илью Эренбурга. Да и сам арест Лозовского, приглашенного на работу в НКВД в 1939 году лично Молотовым, когда он сменил М. М. Литвинова на посту наркома иностранных дел, был несомненным ударом по попавшему к этому времени в опалу бывшему «второму человеку в стране». В эту высокопоставленную компанию был включен и начальник следственного отдела Прокуратуры СССР Л. Р. Шейнин, автор известных в то время «Записок следователя» и пьес «про шпионов». Шейнину, в частности, приписывалась попытка самостоятельного расследования причин гибели Михоэлса. Позднее, на заключительном этапе следствия, было решено провести дознания по всем лицам, так или иначе упомянутым на допросах. Список включал более двухсот человек. Из них предполагалось сформировать группу для следующих процессов.

Следствие скрупулезно копалось в биографиях арестованных. Вспоминали о том, кто и когда входил в «Бунд», сколько и по какому поводу находился за границей, не были ли подследственные выходцами из буржуазной среды. Так, например, академику Лине Штерн помимо обвинений в буржуазном национализме ставилось в виду ее происхождение из «чуждой среды», что приравнивалось к преступлению. И вообще всем фактам биографии арестованных придавалась резко обвинительная окраска.

Судьба подсудимых была решена задолго до начала самого суда. Еще 3 апреля 1952 года, за месяц до начала процесса, министр МГБ Игнатьев в своем письме на имя Сталина, Маленкова и Берии предопределил приговор Верховного суда. В письме предлагалось всех обвиняемых, за исключением Л. С. Штерн, приговорить к расстрелу. Политбюро ЦК ВКП(б)

утвердило это предложение, снизив только срок ссылки Штерн — вместо просимых десяти она должна была получить пять. Именно таким и был впоследствии приговор Верховного суда СССР.

Дело ЕАК слушалось на закрытом судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР с 8 мая по 18 июля 1952 года. Суд проходил с нарушением всех процессуальных норм — не только без адвокатов, но даже без прокурора и фактически без вызова свидетелей. Председательствовал в суде А. А. Чепцов, который заменил на этом посту небезызвестного «героя» «большого террора» 30-х годов В. В. Ульриха, освобожденного от занимаемой должности в августе 1948 года в связи с проявлением «мягкости и нерешительности» (!).

Положение Чепцова было незавидным. На него со страшной силой давило МГБ в лице Рюмина и самого министра Игнатьева. Они еще до суда передали Чепцову содержание постановления Политбюро ЦК ВКП(б) о том, каким должен быть на процессе приговор. Они вообще всячески подчеркивали свое пренебрежительное отношение к суду и его председателю. Суд проходил в помещении клуба МГБ, и Рюмин имел возможность непосредственно в ходе процесса оказывать на подсудимых давление. Дело дошло до того, что в совещательных комнатах судей были установлены подслушивающие устройства. Об этом позднее А. А. Чепцов рассказал в своем письме на имя Г. К. Жукова, в котором он заодно пытался подать свое участие в процессе в благоприятном для себя свете. Но, если даже у него и были какие-то благие намерения, осуществить их в тех условиях он просто не мог. На процессе он должен был проводить заданную ему линию обвинительного характера.

Однако, несмотря на все старания Рюмина и его подручных, процесс с самого начала стал вырываться из-под контроля. Уже на первом заседании суда Лозовский, Шимелиович, Маркиш и Бергман категорически отвергли все обвинения. Свою вину полностью признали только двое: естественно, Фефер и Теумин. Остальные вину признали частично. В дальнейшем все подсудимые, даже в конце концов и Фефер, отказались от своих показаний на предварительном следствии, заявляя, что они были даны под моральным или даже физическим нажимом. Квитко: «Мой общий позор — подпись таких протоколов»; Юзефович: «У меня не хватило железной выдержки на следствии, и я проявил малодушие, подписывая такие протоколы»; Бергельсон: «Я ставил свои подписи иногда там, где готов был положить свою голову»; Бергман: «Это наговор на себя и Лозовского»; Шиме-

лиович показал, что подписал признательный протокол в состоянии полной протрации, и т.д.

Отказавшись от своих прежних показаний, все подсудимые на суде категорически отвергли обвинения в шпионаже. Некоторые покаяться лишь в приверженности в той или иной степени к еврейскому национализму, который, как они поясняли на процессе, заключался, в основном, не в активных действиях, а в пассивном непротивлении национализму и, в худшем случае, в бессознательной его пропаганде. При этом не только суд, но даже и сами обвиняемые понимали «национализм» весьма странно. Националистическими, а следовательно, и антисоветскими действиями суд считал выступление против ассимиляции евреев, недопустимым было интересоваться историей еврейской культуры; как проявление национализма судьи посчитали даже посещение Лозовским вечера в Еврейском театре, посвященного памяти классика еврейской литературы Шолом-Алейхема. Осуждалось создание выставки «Евреи в Великой Отечественной войне», косо смотрели на всех, кто писал в еврейских газетах. Квитко оправдывался в том, что он пишет свои книги по-еврейски, на идиш. Величайшим преступлением считалось даже упоминание о дискриминации евреев в СССР и фактах антисемитизма. Даже Лозовский считал национализмом такие утверждения. При пересмотре дела в 1955 году Верховный суд СССР, исходя из мерок того времени, указал, что члены ЕАК «в своих отдельных литературных работах, письмах и разговорах иногда допускали суждения националистического характера», но, как подчеркивалось в Определении суда, это не давало основания обвинять Лозовского и других в таких тяжких преступлениях, как измена Родине, шпионаж и другие контрреволюционные преступления».

Отказавшись от своих признательных показаний, подсудимые шаг за шагом разбили обвинительное заключение. Видимо, подсудимые учли опыт процессов 30-х годов, когда обвиняемые не только на следствии, но и на суде признавали себя виновными. Как известно, дело тогда закончилось расстрельными приговорами. Теперь же подсудимые попытались дать бой тоталитарной судебной машине. И судьи в ходе процесса фактически ничего с ними не могли поделать. Особая роль в этом принадлежала Лозовскому. Чтобы представить объем проделанной им на суде работы, следует упомянуть, что одни только его персональные допросы продолжались почти 6 дней. На суде Лозовский держался с достоинством и проявил себя как та-

лантливый, эрудированный полемист. Он выделялся даже на фоне той интеллектуальной элиты, которую представлял из себя ЕАК. Но положение Лозовского было трудным. Следователи воспользовались его признательными показаниями от 3 февраля 1949 года и с их помощью, заставили многих обвиняемых дать показания о том, что именно Лозовский руководил всей деятельностью ЕАК как шпионского националистического центра. Поэтому ему приходилось полемизировать не только с судом, но и с товарищами по процессу. Лозовский сражался на процессе до конца, использовал все возможности для защиты если уже не жизни, то чести и достоинства. Он прежде всего отверг обвинение в двурушничестве, в том, что являлся тайным врагом большевистской партии на протяжении многих лет. На обширном историческом материале он показал, что когда бывал не согласен с линией партии, то выступал открыто, ибо это соответствовало его понятиям о принципах. Тем более что в то время, при В. И. Ленине, за разногласия с политикой партии еще не сажали и не расстреливали, а пытались убедить и направить «на путь истинный».

Что же касается главного тезиса обвинения о том, что именно он создал ЕАК как шпионский и националистический центр и лично подобрал в его состав отпетых еврейских националистов, то в опровержение этого обвинения Лозовский доказывал, что в нашей стране, где правит коммунистическая партия, где власть до предела централизована, без указаний и контроля ЦК никто не мог создать ЕАК и подбирать в него кадры. ЕАК создавался одновременно с другими четырьмя аналогичными комитетами с примерно одинаковыми задачами и только с различными объектами деятельности. Создавался он по предложению А. С. Щербакова, секретаря ЦК и кандидата в члены Политбюро. Все ключевые кандидатуры в члены ЕАК так же предлагались Щербаковым, а остальные, безусловно, с ним согласовывались. Затем все кандидатуры тщательно проверялись в Управлении пропаганды и агитации ЦК Г. Ф. Александровым и только после этого включались в состав комитета. (Кстати, Лозовский охарактеризовал Александрова как карьериста и склочника, крайне нечистоплотного человека и предрек ему неизбежное исключение из партии. Так же негативно он охарактеризовал деятельность и еще одного идеологического босса, правда, благополучно закончившего свою партийную карьеру, — Б. Н. Пономарева.)

Отвергая тезис о подборе кадров в аппарат ЕАК по национальному признаку, Лозовский заявил: «Я никогда не тяготел

к евреям и никогда не отрицал, что я еврей. Человек, который отрицает свою национальность, — сволочь». Беря специалиста на работу, он «...не спрашивал у человека — еврей он или не еврей». Ему нужны были квалифицированные работники, нужны были переводчики, владеющие тремя-четырьмя языками и способные переводить прямо на пишущую машинку под диктовку. (Точно так же как и Шимелиович отвергал обвинение в том, что он брал на работу в Боткинскую больницу только евреев. Он говорил, что интересовался не национальностью, а лишь квалификацией врачей. Кстати, по этой причине он не принял на работу в Боткинскую больницу дочь Фефера, несмотря на его просьбу, чем вызвал неудовольствие последнего.)

Разбил Лозовский и тезис обвинения о том, что все свои силы он отдавал именно руководству шпионской и националистической деятельностью ЕАК. Он показал, что в это время все свои силы он должен был отдавать основной работе в Наркомате иностранных дел и Совинформбюро. Кроме того, под его опекой был не один ЕАК, а еще четыре подобных комитета, которым также надо было уделять должное внимание. В марте 1945 года он поставил перед Щербаковым вопрос о необходимости роспуска всех пяти антифашистских комитетов, поскольку с окончанием войны заканчивались и их функции. Но решение этого вопроса задержалось. С конца же 1946 года все комитеты из ведения Совинформбюро перешли в ведение ЦК ВКП(б), и влияние Лозовского на работу ЕАК было сведено к минимуму.

Большое место на процессе занял вопрос о поездке Михозлса и Фефера в США в 1943 году. В обвинительном заключении говорилось, что эти кандидатуры подобрал лично Лозовский, он же давал им указания, чтобы они установили шпионские связи с еврейскими националистическими организациями Америки. Лозовский убедительно опроверг эти домыслы. Он доказывал, что кандидатуры на поездку подбирали секретарь ЦК партии Щербаков. Лозовский воспроизводит разговор со своим шефом: «Щербаков говорит: «Вот передо мной список... Мехлис — отпадает, он генерал, пусть воюет; Эренбург — отпадает, он пишет, хорошо, к тому же каждый день пишет, его нельзя посылать; Маркиш — отпадает, он путаник и истерик, он не знает, что через две минуты скажет; Эпштейн...» Против Эпштейна возражал Лозовский, так как Эпштейн ранее был редактором коммунистической газеты США и его приезд вызвал бы волну антикоммунистической пропаганды. Щербаков сам остановился на Михозлсе: «Михозлс человек разумный, политически грамот-

ный, между прочим, хороший оратор и первоклассный актер». И добавил: «...нам надо обязательно иметь одного беспартийного в составе делегации» (Михоэлс был беспартийный). Таким же образом была рассмотрена кандидатура и Фефера. Затем Щербаков согласовал их в ЦК ВКП(б). Перед поездкой их неоднократно инструктировал Щербаков, дважды они встречались с Молотовым. От них же они получили инструкции связываться не только с прогрессивными, но и с буржуазными организациями. Именно с санкции Москвы, переданной по официальным каналам НКВД через А.А. Громыко, они встречались с Вейцманом, будущим первым президентом Израиля, и с представителем еврейской буржуазной организации «Джойнт» Розенбергом.

Поездка Михоэлса и Фефера в США и Мексику прошла с большим успехом, деньги, собранные там, пошли не только на помощь еврейскому населению СССР, но и в фонд обороны. А это были довольно значительные суммы. Делегация выступала перед многими организациями Америки. Встречалась даже с белоэмигрантами. Лозовский говорил об этом на суде: «На собрании вчерашних наших врагов, сегодня колеблющихся старых антисемитов, еврей Михоэлс, актер, делал доклад на русском языке о борьбе советского народа против гитлеровской Германии». Деятельность Михоэлса и Фефера в Америке получила положительную оценку советского посольства в США. И этих людей, Лозовского и Михоэлса, обвинили в шпионаже и антисоветской деятельности!

Идею о еврейской автономии в Крыму, которая всплыла на процессе, Лозовский считал практически неосуществимой, по его мнению, на ее реализацию потребовалось бы 50—60 лет. Но против письма на эту тему в ЦК он не возражал, так как, по рассказам Фефера, Молотов в личной беседе одобрительно отнесся к мысли о заселении евреями Крыма. Письмо Лозовский тщательно редактировать не стал, поскольку оно предназначалось не для открытой печати, а руководителям государства. Он лишь подчеркнул, что оно должно быть послано не от имени ЕАК, а, так сказать, в частном порядке Михоэлсом, Фефером и Эпштейном. Никаких дискуссий на тему автономии в Крыму на заседаниях комитета не было. Об отказе было передано по доверительным каналам, кажется, через Кагановича. Официально никакой негативной реакции в то время (в 1944 году) на письмо не было. Кроме того, Лозовский считал, что все советские граждане имеют право обратиться в свое правительство с

любимым предложением. «Раз они имеют право, они написали... но шпионаж тут ни при чем, продажа Крыма ни при чем...» — заявил он, ибо в самой идее заселения той или иной территории евреями национализма нет. И опять, в силу стереотипа мышления руководящего советского работника, он утверждал, что национализм письма в другом — в утверждении, что евреи в СССР бесправны. За то, что он пропустил эту формулировку, хотя и в частном письме, он готов нести ответственность, но в партийном порядке.

Лозовский также заявил, что утверждения Фефера о том, что он якобы поручил ему и Михозэлсу через американского миллионера Розенберга продать Крым Соединенным Штатам, — «чистая фантазия Фефера», его «клеветническая беллетристика». В июне 1943 года, в разгар войны, никто, даже сам Розенберг, не мог говорить о захвате американцами Крыма. Идея о «продаже Крыма» могла возникнуть только в недрах МГБ и только после окончания войны, когда обострились отношения между бывшими союзниками.

Отвечая на обвинения о передаче якобы секретных шпионских материалов за границу, Лозовский потребовал показать ему эти материалы и приобщить их к делу, чтобы текстуально разобраться в их характере. «Имею ли я, не член ЦК, а просто рядовой советский человек, право знать, за что меня должны казнить? Как можно писать в обвинительном заключении, что материалы были шпионского характера, и не включить эти материалы в 42 тома (дознания. — В. М.)?» Но ни следствие, ни суд так и не приобщили эти материалы к делу, хотя постоянно ссылались на их преступный характер.

На примере одного из таких документов, обзора внешней политики Англии, Лозовский показал всю вздорность подобных обвинений. Документ был составлен исследовательским институтом при ЦК ВКП(б) и предназначался для открытого пользования, так как был основан на материалах, опубликованных в английской печати, что впоследствии и подтвердил бывший директор этого института. В свою очередь, Шимелиович доказывал, что приписываемая ему «шпионская» статья о московской медицине, отправленная за границу, была одобрена Моссоветом и Московским горкомом партии. Тем не менее документы продолжали фигурировать в качестве важнейших вещественных доказательств вины. Лишь объективным расследованием в 1955 году было установлено, что в приведенных судом документах

«данные секретными не являются и сведений, содержащих государственную тайну, не составляют».

Лозовский отверг и свои связи с американскими шпионами. Он подчеркнул, что знал обвиненных следствием в шпионаже американских граждан Гольдберга и Новика как прогрессивных деятелей США, не раз выступавших в американской печати в пользу Советского Союза. А Новик вообще был редактором коммунистической газеты. Эта точка зрения Лозовского была впоследствии подтверждена материалами пересмотра дела ЕАК в Верховном суде. Лозовский не был единственным подсудимым, который решительно сражался с судом. В подобном ключе действовали и другие обвиняемые, каждый по своей линии. Мы привели пример Лозовского потому, что на его фигуре замыкались все главные пункты обвинения и его защита была наиболее убедительной.

К сожалению, на процессе перед лицом смертельной опасности не произошло сплочения обвиняемых. Были нередки случаи попыток обосновать свою невиновность за счет товарищей по процессу. О Фефере Лозовский прямо сказал, что он своими клеветническими показаниями против товарищей пытался выгородить себя. Но некоторые действовали подсознательно. В ходу был расхожий в то время стереотип: я не враг народа, но, раз партия говорит, что враги есть, значит, они есть. Если следователи от имени государства заявляют, что ЕАК занимался враждебной националистической деятельностью, значит, это так. Хотя я лично к этому не имею отношения. Такие мотивы проходят в показаниях некоторых подсудимых. И еще печально, что отдельные обвиняемые на процессе выплеснули свои антипатии друг к другу, продолжали вспоминать полученные еще на воле обиды. Впрочем, не будем их за это судить строго. Они принесли на процесс все то, чем жили прежде. У всех помимо творчества большой и нужной для общества работы, были и свои человеческие недостатки: тщеславие, неуважительное отношение к товарищам и т.д.

Решительный отказ обвиняемых от своих признательных показаний на следствии и убедительное опровержение ими доводов обвинения поставили суд в сложное положение. Председательствующий на суде А.А. Чепцов, убедившись, что расследование построено на фальсифицированных фактах и проведено поверхностно, прервал процесс и взял недельный перерыв. Он поставил вопрос о проведении доследования. Этим своим шагом он, несомненно, выступил против всемогущего МГБ. Для того чтобы

подкрепить свою позицию, Чепцов обратился за помощью в Генеральную прокуратуру СССР, к председателю Верховного суда, в Комиссию партийного контроля и, наконец, к секретарю ЦК ВКП(б) Пономаренко, но все его уверяли, что вопрос может решить только Маленков. Встреча с Маленковым состоялась в присутствии министра МГБ Игнатьева и его заместителя Рюмина, составителя обвинительного заключения и вообще главного организатора процесса. Под их нажимом Маленков на просьбу Чепцова о доследовании заявил: «Что же вы хотите, нас на колени поставить перед этими преступниками? Ведь приговор по этому делу апробирован народом (! — В. М.), этим делом Политбюро занималось три раза. Выполняйте решение Политбюро!» На июньском 1957 года Пленуме ЦК КПСС Маленков говорил, что о просьбе Чепцова о доследовании дела ЕАК он докладывал самому Сталину. Таким образом, отдельные демарши Чепцова, направленные против беспардонного вмешательства органов госбезопасности в ход процесса, никаких ощутимых результатов не дали. Как только в ЦК партии на него цыкнули, он послушно выполнил его волю, и прежде всего волю самого Сталина, и вынес несправедливый смертный приговор.

После недельного перерыва суд возобновил работу и уже без остановок покатил к своему трагическому концу. В своем последнем слове все обвиняемые, за исключением, может быть, Фефера, единодушно заявили, что в ходе процесса «все подсудимые отказались от своих показаний, данных ими на предварительном следствии», и все обвинения, выдвинутые против них, «были опровергнуты теми же людьми, которые подписали их на предварительном следствии». Все они заявляли, что никогда не занимались антисоветской деятельностью, потому что советская власть дала им все возможности для полноценного творчества и работы. Они надеялись своим трудом после суда доказать свою преданность Родине. Впрочем, такие люди, как Лозовский, понимали, чем может закончиться этот процесс. В последнем слове он заявил: «Я сказал все и не прошу никаких скидок. Мне нужна полная реабилитация или смерть...» И, видимо, не надеясь на оправдательный приговор, добавил: «Но если когда-нибудь выяснится, что я был невиновен, то прошу посмертно восстановить меня в рядах партии и опубликовать в газетах сообщение о моей реабилитации».

Приговор был вынесен 18 июля 1952 года. Суд безропотно выполнил волю Политбюро: 13 человек приговаривались к расстрелу (тяжело больной Бергман в бессознательном состоянии

был переведен в больницу, где спустя некоторое время скончался), и лишь одна Л. С. Штерн получила три года и шесть месяцев лишения свободы в ИТЛ с последующей высылкой в отдаленную местность на пять лет. Ей зачли предварительное заключение. Менее чем через месяц, 12 августа 1952 года, все 13 приговоренных к смерти были расстреляны. Как будто не было двух месяцев с лишком суда, как будто суд не слышал убедительных, страстных и искренних показаний подсудимых. Судьи просто переписали в приговор отдельные положения обвинительного заключения и тем самым выполнили волю не только МГБ, но прежде всего стоящего над ним диктатора. Но борьба обреченных все-таки не была напрасной. Впервые в истории сталинских судилищ мы имеем возможность прочитать полную стенограмму процесса, увидеть подлинную картину борьбы, происходившей на нем. Может быть, именно эта борьба, этот бунт обреченных дали возможность сравнительно быстро после смерти Сталина пересмотреть результаты процесса. В ноябре 1955 года по заключению Генерального прокурора СССР Военная коллегия Верховного суда СССР отменила приговор 1952 года и прекратила дело за отсутствием состава преступления. Так была исполнена последняя воля С. А. Лозовского: он и его товарищи были признаны невиновными и реабилитированы.

Трагическая судьба Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) определялась той политикой махрового антисемитизма, которую неуклонно проводил сталинский режим в течение многих лет. Другими словами, иной его судьба при тогдашнем режиме и не могла быть. И дело здесь не только в параноидальном антисемитизме Сталина, но и в особенностях тоталитарного государства, которое, как показывает опыт СССР и гитлеровской Германии, не может обойтись без антисемитизма.

Публикация стенограммы судебного процесса над членами Еврейского антифашистского комитета — еще один шаг в восстановлении честного имени невинных жертв сталинского режима. К сожалению, суд над членами ЕАК не был последним несправедливым судом в нашей стране. После него был несправедливый процесс над Синявским и Даниэлем, были и другие процессы над правозащитниками, были несправедливые заключения в «психушки» инакомыслящих. Только полный переход к правовому демократическому государству сможет воспрепятствовать появлению впредь новых несправедливых политических судов.

Леонтий Куликов

БИОГРАФИЯ ФЕДОРА АФАНАСЬЕВИЧА ГУСЕВА

Федор Афанасьевич Гусев умер в 1929 году, в начале централизованного разгрома сельского хозяйства и массового террора против крестьянства. Вне всякого сомнения, богатая семья Гусевых должна была пройти по разряду кулаков, судьба ее во время коллективизации решалась однозначно. Скорее всего, и Федор Афанасьевич не случайно принял смерть, поскольку он был главой семейной старообрядческой общины.

Спустя тридцать с лишним лет, в 1966 г., когда за симпатии к таким людям, как Ф. А. Гусев, можно было поплатиться, старообрядческий самиздат предложил сочинение «Биография Федора Афанасьевича Гусева», принадлежащее перу Леонтия Ивановича Куликова. Сочинение это попало мне в руки в 1979 г. в составе небольшой уцелевшей части личного архива Н. А. Тимофеева, покойной главы староверов-поморцев г. Зырянска. Бумаги зырянского наставника состояли, в основном, из машинописных копий документов, касавшихся острых проблем, характерных для любого ответвления старообрядчества: здесь и условия приема из других согласий старообрядчества, и необходимость поддерживать внутренний мир в общинах, и многое другое. География документов очень широка — не только Восточный Казахстан, но и Киргизия, юго-восток и центр России, Прибалтика. Общины советуются, вырабатывают единое мнение, просят и предлагают помощь. И Леонтий Иванович Куликов, который руководил в конце 1960-х — начале 70-х гг. поморцами г. Фрунзе (ныне Бишкек), принимал самое деятельное участие в этой переписке. В 1970 г. он написал обширное сочинение с обличением волгоградского «раздорника» А. Ф. Лебедева, а в 1969 — 1972 гг. ему самому пришлось обращаться к авторитету Высшего старообрядческого совета (Вильнюс) и Совета Московской общины поморцев в связи с конфликтом во Фрунзе. Помощь ему действительно была необходима: оппоненты Л. И. Куликова для решения внутриобщинного спора привлекли для верности местный райисполком!

«Биография Федора Афанасьевича Гусева» написана как бы в житийном жанре. В ней отражен положительный идеал человека

трудолюбивого и потому богатого, строгого и чадолубивого, странноприимного и простодушно-хитрого в отношении любого начальства, вплоть до царя. Гонимое старообрядчество веками училось выживать, подкупая всевозможную администрацию. В частности, хорошо известно, что в XVIII в. старцы Выговской пустыни, колыбели поморских общин, не раз откупались от преследований, посылая подарки государям. Ф. А. Гусев, доставивший в подарок царской семье бочку алтайского меда к 300-летию дома Романовых, как проговаривается его честный биограф Л. И. Куликов, тоже не горел чистой преданностью правящей фамилии, а имел в виду какое-то ходатайство.

Одной из самых привлекательных для автора биографии добродетелей Ф. А. Гусева была его горячая любовь к Богу, которая и повела его в путешествие по святым местам. Народная, крестьянская вера старообрядцев очень часто являла такое непосредственное, личное, горячее отношение к Богу — в течение столетий создавались произведения так называемой «низовой» литературы, живое богословие которых успешно соперничало с сухой схоластикой официальной церковности.

Воссоздавая почти через тридцать лет после смерти Ф. А. Гусева его жизнь, биограф, возможно, и допустил какие-то искажения, особенно при описании путешествия. Так, не исключены неточности в области церковной археологии. С другой стороны, обилие сведений о расстояниях между святыми местами заставляет думать, что кроме памяти биограф использовал какие-то путеводители по Святой земле. Но в данном случае, наверное, все это не столь важно. Главное — общественный и нравственный идеал человека, сохраненный в старообрядческой среде и так ярко представленный нам Л. И. Куликовым, одним из многих не известных современной культуре народных писателей.

Наталья Зольникова

Новосибирск

Федор Афанасьевич Гусев был житель Восточно-Казахстанской области поселка Лосиха. Этот поселок расположен на горной речке Уба, которая протекает среди Алтайских гор. Федор Афанасьевич принадлежит к потомству крестьян, забегших сюда из Центральной России во время притеснения и страшного гонения, которое происходило от царской власти при первых царях Романовых за принадлежность к старой вере.

Поселились здесь, в глухом необжитом краю, где до этого не ступала нога человеческая. Предки Гусева, будучи религиозными, по своему убеждению принадлежали к старой вере, которую стремились не только сохранить в полной святости, но и передать своему потомству и молодому поколению, для чего и было избрано такое место жить среди девственной природы, вдали от шумных городов и разных мирских соблазнов, а главное — от царских чиновников, которые рыскали везде, чтобы обнаружить людей, принадлежащих к старой вере, так называемых старообрядцев, за что чиновники получали от властей вознаграждение, если обнаружат и донесут властям, что там-то живут раскольники.

Вот в такое время, в половине XIX столетия, и родился Федор Афанасьевич Гусев, которого биографию частично мы здесь и описываем.

Его родители, Афанасий Кузьмич, отец, и мать, Федосья Платоновна, по природе были очень трудолюбивы, так что имели достаточное хозяйство, нажитое личным трудом. Таким образом, молодой Гусев по смерти родителей умело стал пользоваться и управлять хозяйством.

Главная отрасль хозяйства была пчеловодство, которое велось по старой системе. В колодочных ульях доходу получилось не так много, хотя пчелосемей имелось около 500 в год.

Семья у Федора Афанасьевича стала большая, было 6 сыновей и 2 дочери. И замечательно то, что благодаря хорошему воспитанию детей и нравственной строгости, и умелому наставлению в семье Федора Афанасьевича и Матрены Ивановны был самый примерный порядок, дружба и согласие, несмотря на то, что все сыновья были женаты и имели детей, и даже внуков, но произвести раздел семьи, то есть отделиться сыновьям от отца, как это делается обычно во всех семьях, но об этом в семье Гусевых, даже разговоров не было. И, таким образом, семья разрослась и увеличилась до 70 человек, и надо отдать вполне заслуженное предпочтение Федору Афанасьевичу и его жене Матрене Ивановне за образцовое руководство и распорядок в такой многочисленной семье, которая вся от старых до малых чувствовала и признавали над собой главу семьи, и беспрекословно подчинялись, и все были счастливы и довольны, и наслаждались своим семейным счастьем, миром и любовью.

Следует сказать и о том, что для семьи своей Федор Афанасьевич на свои средства содержал учителя и домашнюю школу. Конечно, в такой семье ежегодно подрастали дети и школьного

возраста, и обучались не только дети, но и замечательно то, что, если вступит в брак сын или внук, а может быть, даже правнук, и если невестка окажется неграмотная, то в обязательном порядке должна обучиться грамоте, а на это время она освобождается от всяких хозяйственных работ. Так что в такой многочисленной семье не было ни одного неграмотного, но все умели читать и писать, читать главным образом церковно-славянские книги. А некоторые из членов этой семьи изучили и знаменное пение, каковое требовалось, так как у Федора Афанасьевича была своя домашняя моленная, а следовательно, при ней и хор певцов, и много чтецов. И по распоряжению главы семьи каждый по возможности обязан был участвовать на богослужении каждый воскресный день и праздник, несмотря ни на какие сезонные работы.

В этой семье были замечательные головщики¹ и певцы, и уставщики, и, кроме того, как правило, был приглашен и постоянно находился у них для семьи и духовный наставник для исполнения духовных треб и управления богослужением.

Следует сказать и о добродетелях Федора Афанасьевича. По страннوليбию это был второй Авраам, не только сам и его жена никогда не отказывали в ночлеге каждому нуждающемуся, но также всем членам семьи было приказано никому не отказывать, в чем кто нуждается. И этот благородный и благотворительный закон по возможности выполнялся всеми членами семьи. Вот, например, во время летнего медосбора, когда производилась выкачка меда на пасеках, приглашались все проезжие и прохожие по дорогам посетить пасеку Гусева в обязательном порядке. Для приглашения проезжих было поручено отдельным членам семьи, чтобы наблюдать и пропускать проезжих мимо пасеки, но чтобы посетили, и для этого всегда выделялось достаточно меда. Из этого можно заключить и о других его добродетелях по исполнению заповеди Христа «Возлюби ближнего своего, яко сам себя».

Еще опишем другую сторону жизни Федора Афанасьевича, его любознательность и природную пытливость.

В 1913 году Федор Афанасьевич был в столичных городах Москве и Петербурге, отмечалось царским правительством 300-летие дома Романовых, и царь Николай II по случаю празднования устроил большой прием своим генералам, графам и прочим гражданским и военным чинам, и представи-

¹ Головицк, уставщик — глава церковного хора или его части (клироса).

телям разных сословий. И Федор Афанасьевич, несмотря на то, что имел только домашнее образование, решил для интереса и любопытства поехать в Санкт-Петербург посмотреть самодержца российского, и, конечно, не без подарка: он приготовил меду 10 пудов, а в то время самая ближайшая станция Кривощекково была на расстоянии около 700 километров от его дома. И такое расстояние нужно было проехать на лошадях! Но, несмотря ни на какие препятствия и трудности, Федор Афанасьевич поехал и прибыл в Санкт-Петербург без опоздания, и через министерство императорского двора сумел передать царской семье свой подарок, и, конечно, был удостоен приглашения участвовать на приеме у царя вместе с генералиссимусами; принимал обед и получил от царицы Александры подарок — перстень, и имел возможность видеть всю царскую семью, которая состояла в то время из восьми человек.

Федор Афанасьевич мне лично рассказывал и делился своим впечатлением о пребывании в Петербурге, и, между прочим, заключил, что такой случай редко выпадал на долю простого смертного в то время. Характерно то, что у царя Николая уже была усиленная охрана, а главный телохранитель был не русский, араб черной расы, но, несмотря ни на что, этот последний самодержец ровно через 4 года был свергнут. Федор Афанасьевич еще раз успел побывать у царя Николая с ходатайством по одному делу, но не получил результата.

Нужно отметить еще из жизни Федора Афанасьевича следующую особенность. Он страшно любил находиться в путешествии и мог добиться такой возможности — побывать в 12 государствах Азии, Европы и Америки, и надо сказать, что едва ли найдется кто другой в нашей стране из простых мужиков крестьян, чтобы совершил столько и таких путешествий.

По словам Федора Афанасьевича, он имел главную цель в своем путешествии — посетить святые места Палестины и побывать в Иерусалиме. И, как известно из его рассказов, совершая кругосветное путешествие, некоторое время прожил и ознакомился с жизнью Северной Америки — Соединенных Штатов. А оттуда проезжал и по европейским государствам.

Правда, мне в своей жизни довелось видеть этого талантливого человека только один раз, и беседа наша очень ограничена временем, и я не могу вспомнить всех его рассказов. Но Федор Афанасьевич охотно делился своими впечатлениями и рассказывал, в каких был главных городах за границей. Но, между прочим, пояснил, что лучше и красивее, и культурнее не видел

города, чем Нью-Йорк в Америке, там, оказывается, и в то время в этом городе были здания до 70 этажей, что в других городах довелось быть, ни в одном городе не видел.

И вот, по словам Федора Афанасьевича, когда плыли по Средиземному морю, стало мое сердце волноваться, в чем же дело? Проплыл столько морей и океанов и за все время своего путешествия чувствовал себя спокойно, а здесь начал волноваться. Но дело в том, что приближалась главная цель всего путешествия, приближались к городу Иерусалиму, который считается и всеми христианскими народами называется священным городом, так как в нем и его окрестностях проходила земная жизнь Иисуса Христа, а вместе с тем и все чудеснейшие явления из его жизни, показанные в Евангелии, в которое верят все христианские народы всех стран мира.

Вот поэтому паломники и все богомольцы так спешат приблизиться и вступить на эту священную землю. И вот пароход причалил в Константинопольский порт, и тут Федор Афанасьевич увидел, что оказалось много прибывших с этой же целью, посмотреть и поклониться святым местам. От Константинополя до Иерусалима добирался, кто как сумеет. В Константинополе есть величественный храм Святой Софии, и наш паломник Федор Афанасьевич решил в нем побывать. Этот храм турки перестроили на мечеть, в ней много осталось христианского, вот заметно внутри храма на куполе лик Господа, хотя ежегодно закрашивают, но образ хорошо виден, выступает сквозь краску. По словам Федора Афанасьевича, не может быть ни в одном храме такой красоты, вот поэтому послы князя Владимира и рассказывали, когда находились здесь во время христианского богослужения, и говорили, что не знали, на небе или на земле. Тут хранятся ясли из зеленого мрамора, в которых лежал Иисус Христос. Вот это первое из святых мест, которые увидел наш путешественник из Алтайских снежных гор.

Теперь нужно было добираться до Иерусалима, и Федор Афанасьевич воспользовался услугами одного араба, который изъявил согласие доставить на своем муле нашего путника куда угодно. И Федор Афанасьевич хорошо устроился на арбе, и тронулись в путь, и, к счастью, наш извозчик мог говорить немного по-русски. Этому очень обрадовался Гусев, и договорились, чтобы за известную плату возить туда, куда только пожелает наш пассажир. Деньги у Федора Афанасьевича имелись уже местные, турецкие, обмененные в Константинополе в банке на русские.

И этот араб за все время путешествия по Палестине доставлял Гусева туда, куда только он потребует.

И вот началось путешествие по святым местам, осуществлялась мечта Федора Афанасьевича, о чем он думал с самых молодых лет, когда стал читать Евангелие, в котором точно указаны те места, где проходила земная жизнь нашего Спасителя. В то время задумался молодой Гусев, а что если бы побывать на тех местах, я бы считал себя самым счастливым человеком в мире. Вот и представился такой случай, прибыл в город Иерусалим. Первым долгом с трепещущим сердцем поспешил туда, где находится гроб Господен, куда ежедневно собираются для поклонения тысячи паломников и богомольцев поклониться на том месте и осмотреть тот гроб, в котором положено было мертвое тело Иисуса Христа Иосифом и Никодимом и откуда совершил свое победное восстание и воскрес из мертвых. На том месте построена великолепная церковь во имя воскресения Христа, и тут же находится тот камень, который был привален для закрепления мертвеца и был отставлен ангелом.

По словам Федора Афанасьевича, ни один путешественник, побывавший здесь, не уйдет с того места, чтобы не пролить слезы. А вот и поток кедрский, через который вели Иисуса избитого, израненного и окровавленного с крестом на распятие.

Теперь мы представим нашим читателям выслушать рассказ о дальнейших путешествиях самого Федора Афанасьевича, от которого мне лично довелось слышать, и этот рассказ навсегда остался у меня в памяти.

Мы вместе с другими паломниками, говорит Федор Афанасьевич, несмотря на усталость, в тот же день отправились в Гепсиманию, где молился Христос пред страданием. Нас повел экскурсовод из местных жителей, турок, который хорошо владел русским языком. Вот и Гепсимания — это тенистая роща кипарисовая, нам было показано то место, где ученики спали, а Христос молился до кровавого поту и несколько раз будил учеников. Тут же рядом и то место, куда Иуда привел воинов и где взяли Христа и связали, и начали над ним издеваться всячески. Много пришлось пролить слез на этом месте, рассказывает Федор Афанасьевич. С этого места из западной части города находится гора Гольгофа, небольшой холмик, и он не представляет ничего замечательного, кругом почва неровная, рытвины, по всей вероятности, с того времени, когда греческая царица Елена искала крест господень. В Иерусалиме мы были немного дней, был я и на том месте, где плакался Петр и мо-

лился о своем поступке, отказе от Христа; видел то кладбище, которое существует и до сего времени, который участок куплен на те серебренники, что Иуда получал за Христа и отдал обратно.

Так же ознакомился с местом Сионской возвышенности, это южная часть Иерусалима.

Показывали нам и то место, где находилась Сионская гора, в которой была тайная встреча Христа с учениками. Теперь тут осталось только воспоминание. Правда, развалины дома Давидова остались незастроенными, Храма Соломонова в Иерусалиме не осталось, и признаков не сохранилось.

Итак, мы из Иерусалима взяли курс на Вифанию, я не мог никак пропустить, чтобы не побывать на том месте, где Христос воскресил Лазаря. Вифания от Иерусалима 4 версты, и мы ехали по той же дороге, по которой Иисус Христос ехал на жребяти, осли. На том месте, где Лазарь был погребен, построена церковь во имя Лазаря, но в ней служба совершается только один раз в год, в субботу Лазареву приезжает духовенство. Отсюда наш путь был через Кану Галилейскую, где Иисус Христос на браке претворил воду в вино. Это небольшая деревня, но на том месте, где было совершено чудо, царица Елена построила церковь. А вот и городок Назарет, расположен у горы Фавор. В этом городе жили Иосиф и Мария, здесь прошло детство и отрочество Иисуса Христа, разве без душевного волнения и без слез минуешь это место?

Вот мы внезапно приблизились к реке Иордану, речка небольшая, течет очень тихо, медленно, берега совсем низкие, и мы, оказывается, подъехали к тому месту, где Илья Пророк с Елисеем прошли Иордан как по суху. А на второй день мы приехали и на то место, где Иисуса Христа крестил Иоанн, на том месте стоит церковь. Когда грецкие христианские цари занимали эту страну, тогда и дорожили святыми местами и построили церкви, а когда турки завладели и разрушали многие церкви. И мы в воспоминание на этом месте долго купались в этой священной реке Иордани.

И вот перед нами оказалось Мертвое море, длина его 70 километров, ширина 25 км. Жутко вспоминать, что согласно библейской истории здесь когда-то были цветущие города Содом и Гоморра и проживало множество народа, а теперь море и такая необыкновенная вода, что в ней нет никакой жизни: ни рыб, ни ракушек, ни пьавок, вода желтая. Возле него мы мало ехали, оно скоро скрылось за горами, путь наш лежал

к долине Мамарийской, где находится город Хеврон, в котором похоронен Авраам и Сарра, здесь Давид поставлен на царство.

И вот подъехали прежде всего к Дубу Мамрийскому, под которым жили Авраам и Сарра. Дуб этот имеет толщину у корня в обхвате 5 сажений, стоит он уже тысячелетия, вершина сухая, только зеленые несколько сучков, и здесь к Троице собираются тысячи богомольцев и служат всенощную. Оттуда мы проехали небольшое расстояние и оказались у гор Сигоры, куда Лот с дочерьми вышли из Содома, а жена Лотова окаменела за ослушание Бога. Говорят, что каменная глыба наподобие человека стоит, но я не видел, так что мы ехали не той дорогой, это место осталось за горой.

И вот не менее важное место, нам сообщили, что подъехали к тому горному обрыву, в который бесчеловечные братья бросали Иосифа Прекрасного, здесь и тоже не мог без волнения быть и невольно сплакал.

После этого я узнал, что мы через несколько часов должны проезжать возле колодца Иакова, возле которого Иисус Христос беседовал с Самарянкой возле городка Самарии. А вот и тот камень, на котором сидел Христос, егда утрудился от пути, и я не знаю, откуда у меня накопилось столько слез, что я не мог миновать эти священнейшие места, чтобы не поплакать. Ведь эти места настолько дороги нашему сердцу, мы читаем обо всех чудесах Христа Спасителя из Евангелия, и вообще вся его жизнь проходила в этих местах, где мне и пришлось лично побывать самому, и я хочу всех заверить, особенно свое плотское потомство, что действительно нужно верить всему, что написано в Евангелии и прочих писаниях.

Вот мы читаем, как Христос на горе Фаворской преображался в несказанный небесный свет, вот она перед нами и гора Фавор, она находится от Назарета 7 верст или километров. И где родился Иисус Христос в городе Вифлееме, вот мы и к нему приближаемся, этот город от Иерусалима 10 км. на южную сторону, и мы увидели ту горную пещеру, в которой, по Евангелию, родился божественный младенец. Здесь мы пробыли два дня. На месте рождения Христа построена громадная церковь во имя Рождества Христова, но при занятии мусульманами служба в ней прекратилась, но когда собирается множество богомольцев, тогда в ней служат. Сожаления достойно такое положение, что все святые места занимают люди мусульманского вероисповедания.

Теперь, в основном, мое путешествие по святым местам подходило к концу, но было бы прямо преступлением с моей сто-

роны, чтобы не побывать на том месте, где Моисей провел народ через море «яко по суху». Хотя расстояние от Иерусалима до Черного залива было большое, но мой извозчик согласился, и мы на третий день уже были возле Красного моря, где произошло величайшее чудо, что расступилась вода, и за 11 часов прошло 600 000 человек, прошли несколько километров и ноги не замочили. Здесь мы заночевали и отправились по направлению к реке Киссон, и проехали недалеко от того места, где Илья Пророк своей молитвою испросил с неба огонь. Путь нам еще предстоял до горы Елеонской, проезжали и Гадарянское село, в котором Христос исцелил бесноватых, и бесем позволил войти в свиней, и они потонули, и я видел это озеро.

На пути до горы Елеонской мы встретили еще два замечательных места. Первое — это то, где Иисус Христос пятима хлебами и двумя рыбами накормил 5 000 человек, это происходило на берегу Генисаретского озера, а второе — проезжали через село Капернау, здесь больше всего Христос творил чудес. Наконец и доехали до горы Елеонской. Она находится к востоку от Иерусалима. С этой горы, по Евангелию, Иисус Христос совершил славное свое вознесение на небеса, и я видел тот след, который выдавлен на камне. По преданию, Иисус Христос последний раз вступил на камень и оставил свою память и воспоминание. На этом закончено было мое путешествие по Палестине по святым местам, и мы со своим извозчиком благополучно прибыли в Константинополь, и я щедро заплатил с вознаграждением, и мы с ним расстались задушевными друзьями.

На этом и закончен рассказ Федора Афанасьевича, и он, прежде чем отправиться на родину, еще поколесил по государствам. И вот, путешествуя по Австрии в Буковине, отыскал там христиан-старообрядцев и ими был принят как свой человек, и они с ним написали послание к российским старообрядцам. Кто желает этому увериться, прочитайте в книге 2-го Всероссийского собора. Из Австрии через Румынию Федор Афанасьевич прибыл в Россию и на свою родину к своей многочисленной семье.

И так Федор Афанасьевич дожил до глубокой старости, помер в 1929 году.

Настоящую биографию посвящаю его потомкам, которым есть чем вспомнать своего предка.

6 июня 1966 г.

Жан-Рене Шовен

ЛОЙБЛ-ПАСС, ИЛИ МАЛЕНЬКИЙ РАЙ¹

ГЛАВА ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Жан-Рене Шовен. Журналист. Родился 16 июня 1918 года, сын одного из основателей и депутатов Рабочей партии (сотрудника Жюля Геда и Поля Лафарга). С 1936 года сотрудничает в Комитете защиты обвиняемых московских процессов — «троцкистов, зиновьевцев и бухаринцев». В начале войны призывается в артиллерийское училище, откуда исключен за политические убеждения. Во время нацистской оккупации ведет подпольную борьбу. Арест, побег, новый арест. Лагеря смерти Маутхаузен, Освенцим и Бухенвальд.

Мне бы поставить его на решетку — мой двухлитровый котелок, начищенный и блестящий, как новенькая монетка, — а я попросту сунул его под койку. За это староста второго барака южной части лагеря наградил меня сокрушительным ударом в подбородок. Все также, по простоте, я не сообразил, что надо увернуться, и полетел вверх тормашками. «Захотел добавки — попроси у меня, а не у других», — рявкнул наш покровитель-кровитель. Неней². Получивший от французов это прозвище за свое кривоглазие, Неней был личностью весьма привлекательной — зеленый треугольник³, изрытое оспой лицо, злобная усмешка, тучное тело, увесистые кулаки. Может, оттого, что немецкие уголовники считали меня слишком удароустойчивым,

¹ *Лойбл-пасс* — одно из дальних отделений лагеря Маутхаузен, в которое входили северная и южная командировки. В переводе с немецкого — Лойблский перевал.

² *Неней* — одноглазый (фран.).

³ Заключенные гитлеровских лагерей носили на своей одежде цветные нашивки — знак их национальной принадлежности или статьи, по которой они осуждены. Зеленый треугольник — нашивка уголовника, красный — нашивка лица, осужденного по политической статье, черный — асоциальный элемент.

а может, по каким-то рабочим соображениям, но за три месяца меня несколько раз переводили из одного барака в другой (из четвертого в первый, а затем во второй). Неней подозревал, что я спекулирую баландой или картошкой. Вечерняя проверка застала меня в ту минуту, когда, спрятав котелок под курткой, я собирался спуститься в картофелехранилище, расположенное под вторым бараком. Стараясь не потерять ни одной минуты, готовый к любой неожиданности, я поспешил отправить котелок под койку. Всякий мало-мальски сообразительный вор скажет вам, что успех дела зависит от быстроты. Моя кража закончилась, так и не начавшись. Старый лагерный лис Неней взглянул своим единственным оком на решетку и под кровать и сразу все понял.

Уже на следующий день он сослал меня в северный лагерь, вместе со мной он отправил господина Лебрена, такого же, как я, лагерного *Blödhund* (пса). Лебрена арестовали во Франции, где он жил с фальшивым удостоверением на это имя. И только после войны я узнал, что на самом деле он родился в Тарнуве — тогда Галиция входила в состав Австро-Венгерской империи. Отец его был сановником высокого ранга и смог дать сыну прекрасное образование — вначале в лучшем учебном заведении Вены, затем в Англии, затем в Париже. Его профессором математики был Бертран Расселром. Не считая польского, Лебрен без акцента говорил по-немецки, по-английски и по-французски, кроме того, он понимал многие славянские языки. После первой мировой войны он стал польским подданным и вступил во вторую польским кавалеристом, потом сражался во Франции, где получил ранение, после которого ему запретили поднимать тяжести:

Во Франции его арестовали за участие в Сопротивлении. Отправили в Маутхаузен. Как только он попал в Лойбл-пасс, немецкие вояки отметили его знание языков и назначили писарем. Но он не смог работать писарем при таком татуированном уголовнике, как староста третьего барака, и попросился в больницу. И очень обрадовался, когда его привилегированное место занял другой. После выписки из больницы *Lagerältester* (заведующий лагерным отделением) подыскал ему другое теплое местечко — он стал *Kartoffelschäler* (чистильщиком картофеля). Именно к нему я и хотел любопытства ради навеститься со своим котелком. Казалось бы, лучшего не пожелаешь — работа под крышей, где тебя не застигнет холод и снег, кухня под боком, возможность наестся досыта... Любой другой пришел бы в восторг от такой

удачи. Но только не он! Он посчитал недостойным отсиживаться на непыльной работенке, тогда как другие дышат известкой в туннеле. И попросился туда добровольцем. Там-то мы и познакомились. Я бы и не заметил, что французский язык для него не родной, если бы он не был слабоват в употреблении чертовски трудного наклонения романских языков — сюбжонктива.

Благодаря неразберихе на стройке мы нашли себе легкую работу. Надо было очищать от снега кучу труб, по которым должен подаваться сжатый воздух, приводящий в движение отбойные молотки в галерее. За рабочий день мы откапывали одну-две трубы диаметром в три-четыре сантиметра и длиной примерно четыре метра. Они были такие легкие, что каждый мог бы свободно поднять несколько штук за раз. Мы же оттягивали время и, вскинув на плечо одну трубу, несли ее вместе — он впереди, а я за ним. Входили в туннель с самым серьезным видом. Там было не холодно и, кроме того, до нас не мог добраться капо с улицы, несмотря на красный треугольник, вечно пьяный (не брезговавший даже эфиром) и беспощадно избивавший узников. В туннеле мы задерживались надолго. Капо из забоя не обращал на нас никакого внимания, ведь мы подчинялись не ему, и его не трогало, что мы стоим у своей трубы и болтаем. Впрочем, Лебрен с его знанием немецкого языка и техники всегда мог парировать любой нескромный вопрос о нашей работе. Он был на десять лет старше меня и многое знал о вещах и людях. Обаятельный собеседник, он многому меня научил. Мы понимали друг друга с полуслова: он — убежденный христианин, и я — столь же убежденный атеист. Нам не всегда удавалось поселиться в одном бараке и работать в одной бригаде, но, как правило, это получалось. Какое-то время мы жили вместе в пятом бараке и работали в одной бригаде на бетономешалке.

Утром мы пили кофе из одной кружки — полагалась одна порция на двоих. Когда рабты на саперной командировке кончились, нас поселили в пятом бараке, стоявшем в верхней части лагеря и окруженном колючей проволокой под током. За изгородью располагался спальный корпус эсэсовцев. Однажды в воскресенье случилось невероятное событие — нам выдали горячий сладкий кофе. Мы были поражены. Придя в себя, решили насладиться им подалее от толкотни, уселись в сторонке и выпили по глотку. И в этот самый миг эсэсовец Вилли — верзила с лысым черепом, один из самых тупых в отряде — небрежно

перекинул через забор тряпку, смоченную бензином, которой он надраивал свои сапоги. Тряпка плюхнулась в наш почти не начатый кофе. Я подскочил как пружина и безрассудно стал орать на этого дурака, радостно гоготавшего от такой неожиданной удачи. Лебрен же, как обычно, не терял присутствия духа. Он повернулся к эсэсовцу и с улыбкой произнес: «Ах, как остроумно!» Весь мой гнев как рукой сняло — так меня поразила бесстрастный тон и юмор Лебрена. Мне стало стыдно за свою несдержанность.

А вот другая история, которая просто потрясла всех нас. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1944 года, когда в туннеле работала одна лишь северная командировка, троим русским (как мы потом узнали, это были офицеры) удалось бежать. Стража СС заметила это только на утренней поверке на площадке у входа на стройку. Нам пришлось пережить в караульном помещении, пока группа эсэсовцев обыщет туннель, где, по их мнению, беглецы могли задремать. Конечно, нам не улыбалось стоять столбами после ночной смены, хотя, впрочем, мы провели здесь уже год и стали выносливее. Кроме того, мы злорадно представляли себе, какую мину скорчит унтер-офицер СС, заведующий охраной. За тощую шею и узкие плечи мы прозвали его Сен-Гламье¹. На самом деле его имя было Вальтер Брисске; он совершил много убийств, за что и был повешен после войны. Всем очень хотелось, чтоб беглецам удалось скрыться, иначе их ждала смерть. Вместе с тем, если их не найдут, нас ожидала «коррида»². Когда его команда вернулась ни с чем, Брисске пришел в ярость и подозвал Лебрена, чтобы перевести адресованное нам предупреждение. Лебрен подошел к караульной, встал рядом с ним и снял пилотку; когда кто-нибудь из эсэсовцев снисходил до разговоров с нами, полагалось обнажать голову. Нас выстроили в пять рядов, перед нами — Сен-Гламье и Лебрен. «Если кто-то из вас вздумает бежать, — орал Сен-Гламье — Брисске, — я расстреляю десяток первых, кто попадет под руку! Ну, переводите!» Лебрен повернул свою бритую голову к эсэсовцу и спокойно произнес: «Я отказываюсь переводить». Брисске разинул рот. Те же из нас, кто понял его угрозу, испугались больше за Лебрена, чем за себя. Зная Сен-Гламье, мы чувствовали, что он может прикончить Лебрена на месте. Но среди нас были и

¹ *Сен-Гламье* — небольшой городок на Луаре, где расположен источник щелочной минеральной воды. Внешность эсэсовца напоминала бутылку с такой водой.

² «Корридой» на лагерном жаргоне называли массовое избиение.

вольнонаемные рабочие. Они замерли и с тревожным любопытством наблюдали за этой сценой. Из-за присутствия таких внимательных зрителей Сен-Гламье удовольствовался тем, что отпустил от себя Лебрена и вызвал более послушного Dolmetscher (переводчика). Вернувшись в лагерь, за пределами посторонних взглядов, русские получили хорошую «корриду», тем более неприятную, что шел весенний мокрый снег. Лебрен отделался легко — всего несколько ударов кулаком. Его спокойная дерзость ошеломила всех. 11 ноября примерно 200 заключенных были отправлены в центральный Маутхаузен, а затем получили удовольствие попасть в Аусшвитц — Биркенау¹. Так я был разлучен с моим другом Лебреном.

Вернувшись домой, я узнал, что он тоже выжил, но, не зная его настоящего имени, не сумел повидаться с ним. И только через несколько лет после войны мы встретились. Он удивился, что я жив. Теперь он снова взял свое настоящее имя и принял французское подданство.

Итак, позвольте вернуться в Лойбл-пасс. Это была одна из 66 или 67 рабочих командировок их альма-матер — Маутхаузена. Через нее прошло примерно три тысячи заключенных. Существовала она с 3 июня 1943 года по 6 мая 1945 года, постоянно там находилось от 600 до 1000 человек. Это был отнюдь не худший лагерь. Своей известностью он обязан нашумевшей книге нашего друга Деде Лаказа «Туннель». В период самых трудных работ лагерь включал в себя две небольшие командировки по пять бараков. Первая командировка располагалась на югославском склоне, слева от дороги, ведущей к перевалу. Справа же, напротив окруженного колючей проволокой лагеря, находился поселок для вольнонаемных рабочих, занятых на строительстве туннеля. Северная часть лагеря располагалась на австрийском склоне в отдалении от дороги. Перевал Лойбл (по-словенски Любль) находится на высоте 1368 метров над уровнем моря. В 1945 году он снова стал пограничным. Если идти по крутой и извилистой каменной дороге, то весь путь занимает около десяти километров. Если проложить туннель, то это расстояние сократится до трех километров. Полгода перевал занесен снегом, поэтому для круглогодичного движения по стратегической дороге Клагенфурт — Люблина туннель был просто необходим. Господа из третьего рейха взяли проект двухвековой давности и решили прорыть туннель в этом месте старинной дороги. Первая

¹ Немецкое название лагерей Освенцим и Бжезинка.

стройка, начатая в 1941 году, была прекращена из-за партизанского налета. Возобновили ее только в начале весны 1943 года; прежде там работали вольнонаемные из Югославии, а потом стали использовать в качестве самой дешевой рабочей силы специально привезенных из Маутхаузена узников. За работу отвечало венское предприятие *Universale Hoch und Tufban A.G.*¹

Две первые партии по 300 *Stücken* (штук) — так говорили эсэсовцы, пересчитывая нас, — прибыли двумя этапами из Кампъени в середине апреля 1943 года; они состояли почти исключительно из французов. Поэтому жители словенского городка Тржича, расположенного в 12 километрах от Лойбл-пасс, называли это место «французским лагерем». Прибыли эти этапы 3 июня и 19 июля 1943 года. Для защиты лагеря от возможных партизанских нападений охрану осуществляли 220 эсэсовцев и 80 жандармов-горцев из Австрии. Иначе говоря, в первое время на одного вооруженного стражника приходилось по два узника.

Первые недели в этой рабочей командировке были заполнены муштрой, явившейся продолжением маутхаузенского карантина. Таким образом, «маленький рай» не был исключением из общего правила. Единственная отрада — величавая красота окружающих вершин. Когда мы спускались в южный лагерь после десятичасового рабочего дня, то целый километр каждый из нас тащил на плече большой камень — требовалось замостить площадь, где производилась перекличка. Может быть, именно потому, что я впервые оказался в горах, я не мог не любоваться естественными декорациями, на фоне которых разыгрывалась невыдуманная драма. Когда площадь замостили, то после рабочего дня мы стали носить топливо — приближалась зима. Иногда поздно вечером устраивалась «коррида», исполнителями эсэсовцы назначали старост барачников, которые конвоировали и избивали нас.

Из этого периода муштры в нашей общей памяти особенно запечатлелись два дня — 19 июня и 14 июля 1943 года. 19 июня прошло под знаком расправы над французским переводчиком Жаном Соважем, которого немецкие капо называли «французским фюрером». Подобные фантазмагии были характерны для ограниченных и вечно пьяных тюремщиков, пропитанных духом культа фюрера. Им казалось, что, унижая и до полусмерти забивая «французского вождя», они добьются лучшей дисциплины среди заключенных. В присутствии коменданта Жана Соважа

¹ Это предприятие процветает до сих пор. Спасибо. (Прим. авт.)

обвинили в том, что он тайно слушает радио и поддерживает связь с югославскими партизанами. Такую небывлицу выдумал староста Фридолин Бепп, носивший черный треугольник асоциального элемента. Откуда Жану было взять радиоприемник? Ведь он прибыл в Маутхаузен совсем недавно; как и у всех, у него отобрали личные вещи, теперь он имеет только полосатую пижаму. В любой темнице палачи находят повод для расправы — вот Фридолин и придумал такой дешевый трюк. Во времена абсолютного тоталитаризма лживые обвинения шли сверху. Так Гитлер и его банда организовали лейпцигский процесс против коммунистов, обвинив их в поджоге рейхстага. А Сталин провел московский процесс против троцкистов. Все же сомневаюсь, что Фридолин обладал такой политической культурой. Просто он надеялся возвысить себя в глазах коменданта, закрепить свое положение старосты и избежать пересылки в Маутхаузен. Сначала Жана Соважа осыпали ударами, затем Макс Скирде (Неней) поставил его на табуретку, на шею накиннули петлю; второй конец веревки закрепили на поперечной перекладине. По заведенному порядку ударом ноги табуретку выбивали — и человек повешен. Жан Соваж решил, что настал его последний час. Он говорил по-немецки так же хорошо, как по-французски, и ответил на все вопросы коменданта-эсэсовца. Так ничего и не добившись, последний начал сомневаться в правдивости показаний Фридолина и приказал отправить Соважа в *Strafkompanie* (дисциплинарная бригада), что могло оказаться хуже повешения: там полагалось под градом ударов таскать огромные камни, таскать до полного изнеможения. Соважа вывели на *Apelplatz* (площадь, где происходит перекичка) и нагрузили камнями, такими тяжелыми, что он не мог вскинуть их без помощи двоих-троих товарищей. По площади надо было бежать метров 80, в это время Неней колотил узника палкой от метлы. В былые времена Жану Соважу, известному атлету, аплодировали стадионы. Он оторвался от увальня Неней, что развеселило коменданта, вскоре, однако, утратившего всякий интерес к этому зрелищу. Все же Соважу не удалось избежать всех ударов, и к концу дня он совершенно выдохся. Чтобы избавиться от него, староста отослал его в центральный лагерь, где ему удалось проработать переводчиком до конца войны.

Другой памятный день — 14 июля 1943 года, французский национальный праздник¹. Заключенные из северного лагеря хо-

¹ День взятия Бастилии.

дили на стройку по дороге № 333, ведущей из Любляны в Клагенфурт. Справа, метрах примерно в трехстах от входа в туннель, стояла маленькая часовня. Предания старых лагерников рассказывают, что в этот день в окошке часовни были выставлены три куклы — одна в белом, другая в красном, третья в синем платье¹. Этот символ солидарности с нами словенцев был тут же замечен — французами с радостью, эсэсовцами с яростью. Отыгались они на узниках. Жорж Юре, прозванный Большим Жо, позже бежавший, вспоминает об этом дне: «Разнузданная банда бешеных эсэсовцев и капо зверски избивала нас...» Подобная мелкая и подлая месть была вполне в духе Великого рейха.

А Луи Бальзан, некоторое время служивший писарем в третьем бараке, вспоминает о 2 ноября 1943 года. Накануне его застали за кражей картошки в кухонном погребе (это было в тот вечер, когда провалилась моя попытка). В награду староста поколотил его. Потом на его полосатый костюм нацепили мишень — большой красный круг — и должны были расстрелять якобы за попытку к побегу. Таков здесь был обычай. Утром 2 ноября, когда нас отправляли на стройку, его повели с так же помеченными чехом, поляком и русским. Чеха и поляка тогда же расстреляли у входа на стройку на глазах у вольнонаемных. А в обед Бальзану и русскому выдали баланду, отведя их в сторону от других узников, которые, впрочем, и сами шарахались от них, как от зачумленных. Они готовились к участи двоих первых (Бальзан уже вспоминал своего отца, умершего тоже 2 ноября)... Но — удивительное дело! — с них сорвали мишень и присоединили к остальным.

Тем же утром 2 ноября 1943 года мы с Лебренем были отправлены в дисциплинарный лагерь и, пролезая через только что проделанную дыру в галерею, не сомневались в том, что сейчас произойдет убийство. Узнали мы обо всем гораздо позже — в такой изоляции друг от друга находились две бригады. Оглядываясь назад, я задаюсь вопросом: уж не повезло ли мне, что Неней слишком рано обнаружил мой котелок и не меньшим ли из зол явилась его затрещина?

Были и другие «корриды» в северной и южной командировках. И тем труднее их перечислить и описать, что каждый вспоминает только о лично пережитом и ничего не знает о перипетиях тех, кого он в данную минуту не видел и кто находился

¹ Синий, белый, красный — цвета французского знамени.

в нескольких десятках метров от него. Вот что пишет Р. Аллари, узник Мелк, Эбензее и других командировок Маутхаузена: «Условия в лагерях были таковы, что редко кто представлял себе полную картину происходящего. Каждый существовал в ограниченном пространстве и не знал, что происходит в нескольких шагах от него».

Мне довелось стать свидетелем «корриды» Пенсмена (ветеринара из Ножан-ле-Ротру) и побега-самоубийства на северной командировке. «Корриду» Пенсмена, проходившую на территории лагеря в конце июля — начале августа, мы видели сверху, со стройки. Его тоже заставили таскать огромные, на глаз взгляд, камни. По свидетельству нашего покойного товарища Мориса Риу, сумевшего ознакомиться с картотекой СС незадолго до ее уничтожения, побег-самоубийство Курта Винда произошел 7 сентября. Курт Винд, немецкий политзаключенный, человек лет тридцати, работал на кухне или в ревире¹. Вдруг его перевели на стройку. Причина этого непонятна — то ли мелкая провинность, то ли мстительное чувство кого-то из крупных лагерных авторитетов. Прекрасно говоривший по-французски Курт шел справа от меня, когда мы колонной поднимались к месту работы. Я слышал, как он вел с другим своим соседом пессимистические разговоры. И работали мы с ним в одной бригаде. Нам приказали обнажиться по пояс. Нам это не улыбалось — то обжигало солнце, то дул холодный ветер. И вдруг Курт Винд бросился бежать, он перепрыгнул через поваленное дерево и пересек линию часовых. Я услышал выстрел и увидел, как Курт упал. Наступила напряженная тишина, мы опустили лопаты и кирки, все взгляды устремились на мертвое тело. Потом раздались лающие голоса капо, нам велели пошевеливаться. «Loss! Loss! Arbeit Bewegt euch!» — «Живее! За работу!» Курт провел в лагере много лет и сейчас, видимо, выдохся. Его сломил перевод с привилегированного места — нормальный человек не убегаёт нагишом на виду у часовых в покрытые лесами горы, безлюдные на много километров. Как известно, подобные акты отчаяния были нередки в Маутхаузене. В Лойбл-пасс это был единственный случай. Нам становилось страшно каждый раз, когда кого-нибудь посылали в *Strafkompanie*. При этом на спину такому человеку не обязательно нацепляли красный круг, как это случилось с Бальзаном и его товарищами. Стратегия эсэсовцев была проще. *Unterscharfuhrer* (унтер-офицер), руководивший ох-

¹ *Ревир* — лагерная больница.

ранниками на стройке, указывал капо, специалисту по разыгрыванию подобных сцен, на очередную жертву. Тот избивал несчастного дубинкой, понукал его до полного изнеможения, и, если не удавалось сломить его, он хватал свою Mutz (шапку), бросал далеко за линию, по которой стояли часовые, и приказывал принести ее. Если человек повиновался, его подстреливали, как кролика. Коммунист Морис Коллен, позже ставший парижским муниципальным советником, и Франсуа Шаффрен чуть было не пали жертвой подобной провокации. Но они оба обладали сильным характером и не потеряли голову.

Известна также пытка «Baum» — подвешивание на дереве. Так подвесили француза Эмиля Прюно, обвинявшегося в распространении новостей по английскому радио. Руки ему связали за спиной и подняли вверх. Эта пытка, применяемая в нацистских лагерях, стала практиковаться задолго до начала войны и применялась против активных антифашистов. Минут за двадцать палачи добивались вывиха плечевых суставов. Когда дело не двигалось, мучители усовершенствовали пытку, раскачивая тело и дергая человека за ноги. Рассказавший об этом Луи Бальзан добавляет, что Эмиль Прюно провисел в такой позе полчаса, его избивали, а потом два раза привязывали к козлам и нанесли 85 ударов палкой по ягодицам.

За мое двухлетнее существование в лагере Лойбл-пасс, если не ошибаюсь, произошла 41 смерть. Причины тому были разные: физическое истощение, расстрел или инъекция лигроина в сердце, осуществлявшаяся врачом-эсэсовцем Рамзауэром. В сравнении с другими лагерями, и прежде всего с центральным отделением Маутхаузена, такая цифра была мала (1,6% рабочих). Для нас же она была слишком велика. Впрочем, каждый свидетель исходит из собственной ситуации. Как мне позже говорил один из писарей центрального лагеря Хуан де Диего, его товарищи считали Лойбл-пасс «маленьким раем»... Но ведь это был каторжный рай!

В обычные рабочие дни перед входом в туннель производили землеройные работы, в галерее долбили стены отбойным молотком, вывозили землю и дробленый камень, привозили бетон. Техника безопасности не соблюдалась. Надсадно орали капо — вначале немцы из уголовников, потом бандиты разных национальностей. В обществе голодных черпак похлебки заставляет продавать совесть. Все это плюс дистрофия приводило к несчастным случаям, иногда с летальным исходом. Деде Лаказ и Луи Бальзан вспоминают, как попал в завал Леон Феликс.

Перелом позвоночника, паралич ног. Его доставляют на тачке в южный медпункт. Зная, что эсэсовский доктор Рамзауэр делает ему смертельный укол, он громко кричал и называл говнюком каждого эсэсовца. Одно время мы с ним работали в паре — попеременно нагружали друг другу тачку. Теперь я вспоминаю кроткого молчаливого товарища, замкнувшегося в своей печали и как бы носившего траур по самому себе.

Зимой в горах работали две Schneekommando, которые расчищали дорогу № 333 до самой вершины, где снег доходил до двухметровой толщины. Температура опускалась до -30° . Вечером мы возвращались в плохо натопленный барак совершенно мокрыми. На следующее утро мы снова должны были выходить на работу в легкой влажной, иногда даже замороженной одежде. Окруженные эсэсовцами, мы выходили двумя колоннами по двадцать — тридцать человек, число людей в бригадах зависело от состояния дороги.

В северной командировке особо скверной репутацией пользовались двое эсэсовцев. Того, которого прозвали Микадо, было легко узнать по лицу. А вот Интеллектуала было трудно отличить от других, особенно таким, как я, только что прибывшим на эту командировку. Коллеги сообщили мне, что Интеллектуал не блистал интеллектом и время от времени развлечения ради стрелял по какому-нибудь узнику. Так француз Максим Тьери, юноша лет двадцати, был убит Интеллектуалом за несколько дней до моего прибытия в Лойбл-пасс. Положение усугублялось еще и тем, что поляк капо из заключенных раболепствовал перед эсэсовцами и ненавидел французов, прозвавших его фон Паулюсом. Он открыто покровительствовал полякам, получавшим посылки; за сигареты или скудную пищу они могли купить себе место в Schneekommando. В разноязычном лагерном обществе смешались две тенденции — национальный антагонизм и использование служебного положения. Самоуверенные французы, с детства впитавшие мысль о превосходстве своего точного и всемирно признанного языка над другими, постоянно оказывались в затруднительном положении из-за незнания других европейских языков.

Каким бы это парадоксальным ни показалось, у меня не осталось тягостных впечатлений от зимы, проведенной в этой командировке. Я был единственным французом, с которым фон Паулюс держался безукоризненно вежливо, хотя я ему никогда ничего не давал. Объясняю это тем, что у меня были обладающие некоторым влиянием друзья-поляки, в частности, Вик-

тор-Хеннох Лебрен и Станислав Яворский. В общении с ними я пытался научиться польскому языку. Почти все остальные французы, включая коммунистов, призванных исповедовать пролетарский интернационализм, варились в собственном соку; когда получали посылки, то делились только друг с другом и чрезвычайно редко с людьми другой национальности. Не давали ничего даже русским, никогда не получавшим посылок из-за того, что их правительство не подписало международный договор с Красным Крестом.

Зимой солнце садилось рано, а в горах, особенно когда поднимался туман, и того раньше. Поэтому эсэсовцы пригоняли нас домой, когда другие еще работали около лагеря. Может показаться, что откидывать снег лопатой легко. Это ошибочное представление. Здесь все зависит от того, как давно выпал снег, какая стоит температура и какова влажность. Нам выдали большие лопаты, тяжелые и неудобные. Часто снег налипал на лопату, и приходилось откидывать его резким движением. Такая работа быстро изматывает. Иногда доводилось откапывать буксующий или полностью погребенный под двухметровыми сугробами снегоочиститель, к тому же часто он примерзал к дороге. Помню, как мы втроем отправились на перевал к бывшей пограничной заставе за огромным домкратом — требовалось высвободить из обледенения снегоочиститель. Ну и тяжеленный был этот домкрат! Троице было не справиться. Возвращаясь, мы провалились в снег по шею. Домкрат все еще был у нас на плечах. Все рассмеялись — ругающие нас эсэсовцы, вытаскивающие нас товарищи и мы сами, барахтающиеся в снегу. Кроме подобных мелких приключений было и другое — солидарность словенцев. Иногда в будке путевого обходчика нас ожидала буханка хлеба. По безмолвному соглашению эсэсовцы останавливались и пережидали, пока мы разделим ее между собой.

Однажды, когда я сражался со своей тяжелой от налипшего снега лопатой, какой-то молодой эсэовец велел мне взять кирку и лопату и пройти за ним. Двое стоявших рядом товарищей бросили на меня тревожный взгляд и что-то шепнули, что именно — я не разобрал. Мы с эсэсовцем спустились вниз по дороге и за поворотом исчезли из поля зрения колонны.

Я был несколько встревожен, ведь мы перешагнули «черту», за которой он имеет право застрелить меня за попытку бежать. Поэтому я спросил, куда мы идем и что именно надо делать. Хотя мой немец и не отличался особым умом, но все же сообразил, что разговор поддержать надо. Я уже понял, что когда

к охраннику обращаешься непринужденно и на «ты», то он перестает бояться. Ведь им столько наговорили об охраняемых ими «бандитах», что они испытывали перед нами страх. Он ответил, что мы должны спуститься ниже и очистить дорогу ото льда. И действительно, он остановился на пересеченной оврагами дороге, где лежала огромная ледяная глыбина. Я начал долбить ее киркой. Казалось, это гранит. Я долбил изо всех сил. С каждым ударом отскакивали лишь мелкие осколки. Обескураженный и усталый, я решил немного передохнуть и стал изрыгать все немецкие ругательства, которые в подобного рода заведениях усваиваются особенно быстро. Немец должен был понять, что я стараюсь изо всех сил, но этот «scheissen Eis» («дерьмовый лед») действительно тверд. «Stärker, Mensch!» («Сильнее, мужик!») — ответил он мне, но ответ звучал отнюдь не агрессивно. Я снова принялся за работу... и снова безуспешно. «Noch stärker!» («Еще сильнее!») — крикнул он. Я все колотил, но этот чертов лед только чуть крошился. Я почувствовал, что он теряет терпение. И вдруг он говорит: «Gib mir deinen Pickel, Mensch. Nimm die Schaufel» («Давай-ка свою кирку, мужик. А ты бери лопату»). Он изо всех сил ударил по льду, но от этого только уронил свое ружье, которое держал на плече. Я машинально поднял ружье и предложил подержать, пока он работает. Он оторопел — я отдаю ему ружье! — и расхохотался: «Oh, Mensch! Ich bin nicht so blöd!» («Ох, мужик, я не такой дурак!») Я тоже рассмеялся. «Habe keine Angst. Beidiesems Schnee ich kann nicht vonlaufen. Es ist viel kalt!» («Не бойся! По такому снегу не убежишь. Как же холодно!») Я продолжал болтать с ним на своем неважном немецком языке, но все же это был достаточно понятный язык. Мы были одни, затерянные в белой пустыне, вдалеке от глаз и ушей его начальства.

Воспользовавшись обстоятельствами, я рассказал ему, что нам нечего жрать и поэтому у меня нет сил колотить лед. То ли мои слова показались ему убедительными, то ли он промерз, но он снова принялся орудовать киркой и, приложив немалые усилия, смог отковырнуть большой кусок льда, который я скинул в овраг. Он гордился своей работой. И снова мы рассмеялись. Работал он без остановки до обеда. Я подавал ему то кирку, то лопату и старался, чтобы ружье не сползало у него с плеча. Признаюсь честно — работал он лучше меня. Он полностью расчистил большую часть дороги.

Не упустил ли я случай бежать? Я не думал об этом, когда поднял его ружье. А потом задумался. Вырвать ружье силой

означало смертельную схватку. Хватит ли мне сил? А потом, даже если мне и улыбнется удача, что с ним делать — пристукнуть или пристрелить, рискуя вызвать тревогу в отряде? Или держать под прицелом и увести с собой? А куда идти? К побегу готовятся заранее. У меня не было никаких припасов и, главное, не было пристанища. Скорее всего, я замерзну в горах. Продумав все это, я решил, что надо дожидаться весны или лета, как следует подготовиться и подождать удобного случая.

Время пробежало незаметно. Мы даже удивились, увидев возвращающуюся колонну. Эсэсовцы и каторжане втягивали головы в плечи и ежились от холода. Я быстренько подхватил кирку и лопату, чтобы не попасться на глаза унтер-офицеру, который вел отряд. Колонна прошагала мимо; казалось, мы принимаем парад. Пристроившись в конце, я пошел вместе с поляками. Через несколько сот метров колонна остановилась, югославы припасли для нас буханку хлеба в будке у дорожного обходчика. В этот день нас оказалось слишком много. Ясно, хлеб достанется первому десятку. Как я уже говорил, мы огрубели от муштры и не сопротивлялись произволу всех начальников. И вдруг я вижу, что мой бравый эсэсовец бежит, исчезает за спинами товарищей, запыхавшись, возвращается и протягивает мне большую краюху. Мы, как сообщники, подмигиваем друг другу. Согнувшиеся под северным ветром поляки подняли воротники; словно марионетки, повернулись в мою сторону и с удивлением поглядели на меня.

Через 10 минут мы подошли к лагерным воротам и, как обычно, выстроились по пятеркам — так было легче пересчитывать нас. Я подошел к французским товарищам и стал хвастаться своим подвигом. Я же заставил ишачить эсэсовца! «А кроме того, — сказал я, — этот идиот принес мне хлебушка!» Слушая меня, друзья снисходительно посмеивались. Потом кто-то сказал:

— Тебе чертовски повезло. Видно, уж такой счастливый выдался денек. Но шутки в сторону, мы ужасно за тебя боялись. Берегись такой приятной компании!

— Почему?

— Так ты не знаешь, кто это?

— Кто?

— Интеллектуал. Это он на прошлой неделе пришел Тьерри...

Марк Янсен

ЖИЗНЬ МЕНЬШЕВИКА

Борис Моисеевич Сапир родился 11/24 февраля 1902 года в польском городе Лодзи, известном своей текстильной промышленностью. В то время Польша еще находилась в составе Российской империи. Его отец был довольно состоятельным торговцем текстильными товарами. Семья Сапиров придерживалась еврейских традиций, но в религиозных вопросах не была консервативной. Борис изучал древнееврейский язык и читал Библию в оригинале. Дома между собой разговаривали по-русски, а с персоналом говорили на идиш. Сионизму в семье не уделялось внимания. Когда Борису исполнилось восемь лет, он поступил в русскую гимназию Витановского.

В августе 1914 года началась первая мировая война. Борис вместе с матерью отдыхал в Бад-Гомбурге, в Германии. Он был эвакуирован и полгода находился у тети в Слониме, в Белоруссии. В 1915 году он вернулся обратно в свою семью, которая к тому времени уже находилась в Москве.

Борис продолжил обучение в одной из известных гимназий, в Лазаревском институте, в котором училось много армян. Во время революции 1917 года обучение в гимназии было прервано, но Борис все же получил диплом об окончании гимназии. Он погрузился в революционную деятельность, активно занимался в организации, оказывающей помощь революционерам, возвращающимся в Москву из тюрем или ссылки. Борис и его приятель Лев Ланде поддерживали отношения с Союзом евреев учащихся средних школ. Наряду с этим он пару месяцев работал в Историческом музее, где помогал приводить в порядок архивы, в частности архивы охранки, доступ к которым только что был открыт.

В октябре 1917 года большевики свергли Временное правительство либералов и социалистов, которое находилось у власти со времени Февральской революции. Александр, брат Бориса, участвовал в октябрьских сражениях студентов против большевиков. Родители Бориса, с их либеральными взглядами, не видели в большевистской власти ничего хорошего и вскоре

вернулись с двумя сыновьями в город Лодзь, который к тому времени уже принадлежал независимой Польше. Но Борис, средний сын, вопреки желанию родителей решил остаться в Москве. У него появился интерес к социал-демократическим идеям, т.е. идеям меньшевиков. В июне 1918 года он присутствовал на собрании ЦИК в гостинице «Метрополь», во время которого большевики выгнали меньшевиков из Советов. Будучи студентом Института народного хозяйства им. Плеханова, он стал работать в профсоюзе рабочих химической промышленности, в котором меньшевики еще имели некоторое влияние. В ноябре 1919 года он официально вступил в партию меньшевиков.

В то время Центральный Комитет меньшевиков как раз принял решение послать членов партии в Красную Армию в связи с наступлением белых по направлению к Москве. Борис Сапир, как и многие другие, был мобилизован и отправлен на юг. Несмотря на его революционный энтузиазм, первое разочарование к Борису пришло уже в поезде: его спутников, солдат Красной Армии, больше интересовал белый хлеб в Киеве, чем успехи революции.

Борис стал начальником информационного отдела пятнадцатой дивизии и должен был собирать сведения о настроениях среди населения и в армии. К тому же он преподавал марксизм курсантам. Борис находился в Крыму в конце 1920 года. После поражения Врангеля Борису предложили остаться в Красной Армии, но он этого не хотел и в начале 1921 года вернулся в Москву.

Там он вновь стал работать в союзе химиков, поступил опять в институт им. Плеханова и принимал активное участие в молодежной организации меньшевистской партии (кроме того, он был редактором журнала «Юный пролетарий»). Все это продолжалось недолго. 25 февраля 1921 года сотрудники ЧК вторглись в московский меньшевистский клуб как раз в то время, когда там происходило общее собрание московской меньшевистской партийной организации. Борис Сапир был одним из ста пятидесяти арестованных. Он попал в Бутырскую тюрьму в Москве. В ночь с 25 на 26 апреля всех заключенных социалистов насильно перевели в различные тюрьмы страны. Сапир попал в Рязань, но позднее его вернули в Бутырку, а в ноябре его выпустили из тюрьмы.

В период нэпа заниматься политической деятельностью становилось все сложнее как для меньшевиков, так и для других

политических группировок, кроме, разумеется, коммунистической партии. В январе 1922 года Федор Дан и несколько других руководителей меньшевистской партии получили разрешение выехать за границу; Сапир был одним из тех, кто их провожал на московском вокзале. Для оставшихся ситуация становилась все более неприятной.

15 февраля 1922 года сотрудники ГПУ вторглись на собрание московского комитета меньшевистской молодежи. Около 25 человек было арестовано, среди них Сапир и Лев Ланде. Сначала они сидели в тюрьме на Лубянке, но после того как они объявили голодовку, их в апреле перевели в Бутырку. В июне арестованных без какого-либо процесса приговорили к ссылке в Сибирь, но после второй голодовки заменили ссылкой в деревню в Курской губернии. Через несколько месяцев Сапир и Ланде удалось оттуда бежать в Харьков, где они продолжали подпольную политическую деятельность. Оттуда Сапир вернулся в Москву, где стал секретарем Центрального Бюро меньшевистской партии. Вскоре, в январе 1923 года, последовал его третий и последний арест. Он опять попал в Бутырку, и в апреле ГПУ его приговорило к двухлетнему заключению в концентрационном лагере. В «стольпинском» вагоне он был отправлен в Архангельск, откуда должен был еще более ста километров идти по снегу в Пертоминск, и в конце концов он на пароходе «Глеб Бокий» попал на Соловецкие острова. Он прибыл туда 1 июля 1923 года.

Соловки были самым известным концентрационным лагерем ленинского периода. В течение 1923—1925 гг. там, в зданиях монастыря, находились в заключении несколько сотен социалистов. В сравнении с более поздними, сталинскими лагерями там были довольно сносные условия. Не было принудительных работ, и кормили сравнительно хорошо, хотя и не было мяса и свежих овощей. Но условия постепенно ухудшались. 19 декабря 1923 года при введении более строгого лагерного режима охранники застрелили 5 заключенных социалистов.

Различные политические группировки (меньшевики, эсеры, левые эсеры, анархисты) имели на Соловках свои фракции. Сапир, находившийся в Савватиевском скиту, являлся представителем молодежи в бюро меньшевистской фракции, пользовался большим уважением. Один из заключенных, находившихся вместе с ним, описывал в своих воспоминаниях, что это был красивый черноволосый парень, «всегда с книжкой

под мышкой или в руках». Он хорошо разбирался в марксизме и экономике и всегда был готов дать свои комментарии, если кто-либо его об этом просил. Он делал это «с присущим ему тактом, мягкостью, без тени тщеславия, нисколько не принимая своего собеседника»¹.

Из последующего описания, данного Владимиром Рубинштейном, товарищем Бориса Сапира по партии, находившимся вместе с ним в заключении в Савватиевском скиту, Сапира легко узнают люди, знавшие Бориса в более поздние периоды его жизни: «Я вспоминаю пронизательный взгляд умных глаз Бори, его несколько ироничную улыбку. Скромный до застенчивости, он никогда не перебивал спорящего, всегда вдумывался в возражение собеседника. Он всегда был спокоен и уравновешен. Я не помню его эмоционально приподнятым, как другие, даже в самых жарких спорах или дискуссиях. Отстаивая свое мнение, он делал это всегда в мягкой форме, так, чтобы не обидеть собеседника... Боря Сапир очень много работал над собой, был достаточно подкован в экономической теории Маркса, изучив все три тома «Капитала». <...> В политических дискуссиях Боря участвовал редко, когда же он выступал, то речь его была по-деловому кратка и ярко отражала факты, сопоставление и анализ которых не оставляли сомнений у слушавших в правильности его выводов. Говорил он ровно и негромко, не прибегая к «ораторским эффектам», чем грешили иногда другие лидеры социал-демократической и особенно эсеровской молодежи. Боря не любил говорить о событиях или предметах, которых он сам основательно не изучил или не был бы о них достаточно информирован. <... > Впрочем, он никогда не подчеркивал свое превосходство в знании предмета, как и наше верхоглядство и дилетантство, которым грешили многие из нас. <...>»².

Осенью 1924 года Сапир был перемещен в Кемь, в другой лагерь, находившийся на материке, на берегу Белого моря. По истечении срока в июне 1925 года он был отправлен в ссылку в Курган в Западной Сибири; путь туда продолжался шесть недель. Тут он тоже пробыл недолго. Уже осенью того же года он бежал: он изменил внешность (сбрил бороду) и просто сел в поезд и поехал в Москву. Там он получил от Центрального Бюро меньшевистской партии указание отпра-

¹ А. В. Ягур. Сионисты на Соловках. 1980 (рукопись), с. 95 — 97, 124.

² В. Рубинштейн. Так было. Записки социал-демократа. М. 1990 (рукопись), с. 58 — 59.

виться за границу, чтобы проинформировать товарищей по партии о ситуации в России. 31 декабря 1925 года он нелегально перешел границу в независимую Латвию. Весь его багаж состоял из томика Гейне «Книга песен» и «Географии России», страны, которую он, сам того не желая, покидал навсегда.

С марта 1926 г. по 1928 г. он жил в Берлине, бывшем в то время центром меньшевистской эмиграции. Изучал право и экономику, будучи вольным слушателем Берлинского университета. С 1928 года он и Лев Ланде, который также эмигрировал, продолжали образование в Гейдельбергском университете у профессора Густава Радбруха. Как явствует из предмета диссертационной работы «Достоевский и Толстой о проблемах права» (1932 г.), его больше интересовала литература. После защиты докторской диссертации он опять поселился в Берлине.

Вскоре после того, как Гитлер пришел к власти, Сапир был вызван в гестапо. Один студент, учившийся вместе с ним, донес, что он «коммунист». Русские сотрудники допрашивали его о связях с коммунистами, которых у него, естественно, не было. В апреле 1933 года он перебрался в Париж.

В руководящих социал-демократических кругах к фашизму относились как к отклонению в буржуазной системе. Они предполагали, что у фашизма нет шансов в Германии, так как там имеется широкий слой пролетариата, благодаря которому в конце концов победит социализм. Этому же мнения придерживались такие люди, как Карл Каутский и меньшевистский руководитель Федор Дан. Сапир понимал реальность лучше их. Он уже видел, и как возникал насильственный режим в России, и как вооруженные коричневорубашечники маршировали по улицам Берлина. Совместно с товарищем по партии Григорием Бинштоком и другими он отстаивал свою диссидентскую точку зрения. Под псевдонимом Б.Ирлен он в 1933 году написал брошюру «Маркс против Гитлера». Он настаивал на менее терпимом отношении к фашизму, который и для пролетариата имел в известной мере привлекательную силу. Нужно было против этого вооружиться и в случае надобности применить недемократические методы. Каутский нашел брошюру Ирлена недостаточно марксистской. В ответе он писал: «Нет ничего более неправильного и опасного, чем мнение Б.Ирлена, что фашизм непобедим там, где он уже укрепился. Это не только возможно, нет, на основе целого ряда хорошо обоснованных соображений очень велика вероятность того, что ни

одна из нынешних диктатур долго не продержится, но немецкая диктатура будет первой, которая рухнет вследствие кризисной ситуации и всеобщего презрения даже тех слоев населения, которые до сих пор ей верно следовали»¹.

В конце 1935 года Сапир переехал из Парижа в Голландию, где он вначале работал на маленьком текстильном предприятии, основанном Львом Ланде в Хилверсуме в 1933 году. Через посредничество товарища по партии Бориса Николаевского ему в начале 1936 года была предложена работа в только что открывшемся Международном институте социальной истории (МИСИ) в Амстердаме. Основной задачей этого института было сохранение архивов истории социалистического движения. Борис Сапир, став начальником русского отдела, в сотрудничестве с Николаевским (в то время бывшим начальником парижского филиала) положил начало богатой коллекции русских архивов, периодической печати и книг этого института.

Сапир активно занимался политической деятельностью. После отъезда из России и до начала второй мировой войны он был представителем меньшевиков в Исполнительном комитете Социалистического Интернационала Молодежи. Напечатал много статей о социалистической молодежи, о фашизме, о демократии и диктатуре, об актуальных политических вопросах, о Голландии и т.д. в меньшевистском журнале «Социалистический вестник» (1921 — 1965).

После захвата Голландии немцами в мае 1940 года Сапиру опять пришлось бежать. Первая попытка сорвалась: он поехал на велосипеде в Зандфорт, на берегу Северного моря, но ему не удалось найти лодку, на которой его могли бы переправить в Англию. 18 июля 1940 года по приказу немецкой полиции безопасности МИСИ был закрыт. Через месяц после этого обер-штурмфюрер СС доктор Принцинг в докладной записке о МИСИ назвал Сапира «русским евреем и троцкистом!» После закрытия института директор Николас Постумус устроил сотрудников на работу в амстердамскую университетскую библиотеку, но с апреля 1941 года Сапиру, как еврею, больше не разрешалось там работать.

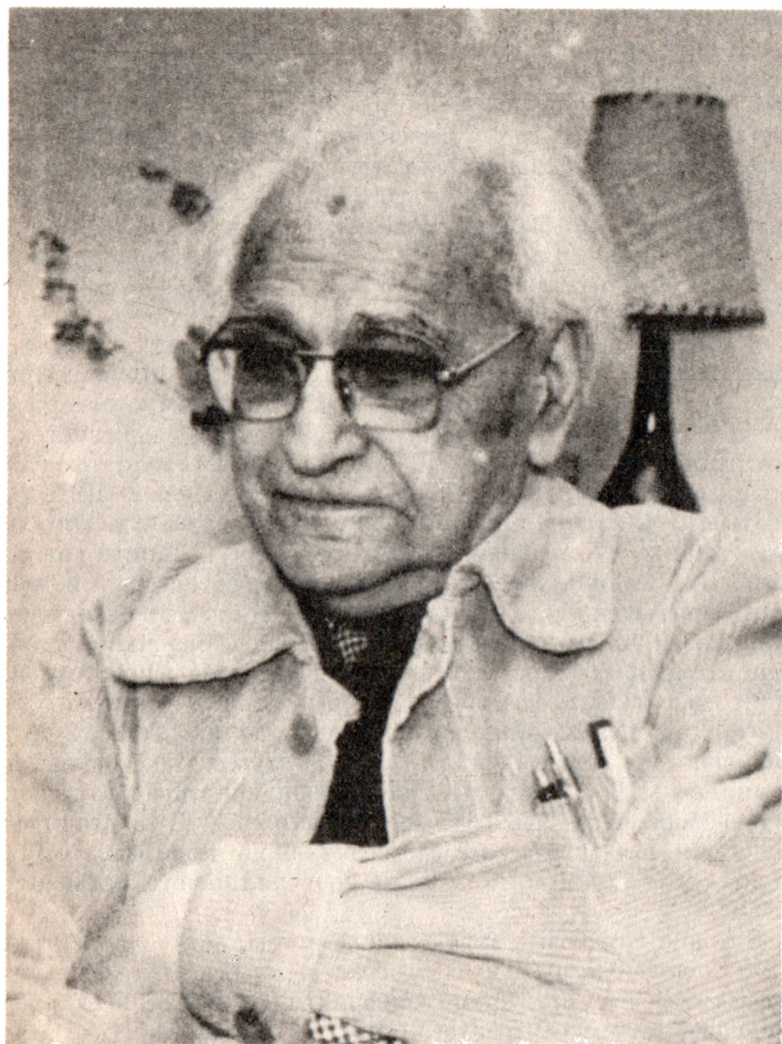
В ноябре 1941 года он совместно с семьей Ланде бежал из Голландии. Через Бельгию и Северную Францию они пешком добрались до той части Франции, которая еще не была оккупирована. При попытке перейти швейцарскую границу они

¹ K. Kautsky. Was tun?, «Tribune» (Prag), 1934, № 1, с. 10.

были задержаны и высланы обратно. В Лионе им удалось получить кубинскую визу. В начале 1942 года семья Ланде и Б. Сапир прибыли из Марселя в Касабланку, откуда на португальском судне шесть недель плыли в Гавану. Там они должны были в течение полугода пребывать в лагере Тискорния, находившемся на острове, недалеко от побережья, так как американские власти предполагали, что среди беженцев находились немецкие шпионы. После этого Сапир прожил еще полтора года в Гаване, где был руководителем работы об истории еврейской общины на Кубе. По этой теме им было сделано несколько публикаций.

В конце концов Сапир получил американскую визу и в феврале 1944 года приехал в Нью-Йорк. По прибытии он писал в письме: «Путешествие Колумба было намного короче». После Берлина и Парижа новым центром меньшевистской эмиграции стал Нью-Йорк. Сапир был принят в руководство партии и стал секретарем Заграничной Делегации РСДРП. Зарабатывая на жизнь, был начальником исследовательского отдела американского общества «Джойнт», организации, которая оказывала помощь евреям, проживающим за пределами Америки. Занимался исследованием условий, в которых находились евреи в различных странах мира. Вскоре после окончания войны Сапир совершил многомесячную поездку, чтобы посетить лагерь с еврейскими беженцами в Германии. Он узнал, что его родители во время войны погибли в варшавском гетто. Будучи в Голландии, встретился с Берти Виллекес-МакДоналд, сотрудницей МИСИ, которую хорошо знал. Он забрал ее с собой в Нью-Йорк, и в 1948 году они поженились. У них родилось двое детей. Семья в летнее время регулярно приезжала в Голландию, и тогда Сапир обычно проводил много времени в МИСИ.

В конце сороковых годов вопрос о том, можно ли сотрудничать с другими русскими эмигрантами, среди прочих с бывшими власовцами, вызвал конфликтную ситуацию в среде меньшевистских эмигрантов. Сапир и несколько его единомышленников считали, что сотрудничество невозможно, так как нет общих целей. Поэтому они перешли в оппозицию. Но разрыв продолжался недолго. С конца пятидесятых годов все единодушно работали над «Меньшевистским проектом», целью которого было зафиксировать историю меньшевистского движения.



Борис Сапир

Конфликт с Николаевским, начавшийся в конце пятидесятих годов, особой политической основы не имел. Причину, в основном, надо искать в нелегком характере Николаевского, который был недоволен новым директором МИСИ Рютером. Последний отказался напечатать статью Николаевского о фальсификации истории в Советском Союзе. Кроме того, у Николаевского были подозрения, что Рютер хотел заполучить контроль над собранием архивов, которое Николаевский забрал с собой в Америку. Сапир оставался лояльным по отношению к МИСИ. Это вызвало недовольство Николаевского и Сапиром. В конце 1959 года в письме Анне Адама фан Схелтема Николаевский представил его как человека, ищущего денежной выгоды, а о его знаниях он писал, что они «весьма посредственны». Эти обвинения трудно воспринять всерьез. Характерно, что Сапир не оплатил Николаевскому той же монетой и позже он всегда отзывался о нем с похвалой. Ссора между Николаевским и Рютером имела для МИСИ печальные последствия, так как богатые архивы, оставшиеся после смерти Николаевского в 1966 году, амстердамскому институту не достались.

После выхода на пенсию в 1967 году Сапир с семьей вернулся в Голландию (семья Ланде, жившая с ними по соседству в Нью-Йорке, вернулась туда на год раньше). Сапиры поселились в доме родителей Берти в Бларикуме (ее мать скончалась там в 1979 году в возрасте 101 года). Борис поступил вновь на службу в МИСИ и занялся редакцией «Русской серии по социальной истории»: ряд публикаций источников по истории русского социалистического движения. В этой серии он закончил двухтомник о русском социалистическом журнале «Вперед!» (1873 — 1877 гг.), двухтомник, содержащий переписку редактора этого журнала Петра Лаврова, один том с перепиской меньшевистского лидера Федора Дана, а также небольшой том воспоминаний его супруги Лидии Дан. И все это с обширным вводным текстом и примечаниями.

Несмотря на то, что договор с 80-летним Сапиром окончился в 1982 году, он продолжал несколько раз в неделю из Бларикума приезжать в институт, в котором у него все еще была своя рабочая комната. В начале 1985 года Амстердамский университет присвоил ему звание почетного доктора. В конце 1986 года у него был приступ стенокардии, и он был вынужден прекратить свои поездки в амстердамский институт. Из-за слабого здоровья ему не удалось закончить последний проект —

историю меньшевистского журнала «Социалистический вестник» с детальным указателем всех выпусков.

Всю свою жизнь Сапир очень внимательно следил за развитием событий в Советском Союзе. Он очень резко критиковал тоталитарный режим, который, по его мнению, существовал уже со времен Ленина. События развивались таким образом, что только под конец жизни ему в какой-то степени удалось восстановить разрыв со страной его молодости, разрыв, который длился несколько десятилетий. Он нашел кое-кого, кто был связан с его старыми товарищами по меньшевистской партии и с его друзьями в России, которые почти все погибли во время тотального советского террора.

Хотя Сапир никогда не чувствовал, что ему необходимо основательно пересмотреть свое мировоззрение, в последние годы жизни он в какой-то мере отошел от марксизма, но не от социал-демократического движения. В начале 1985 года в одном из своих редких интервью, которое он дал во время присуждения ему звания почетного доктора, в ответ на вопрос, считает ли он себя марксистом, Сапир ответил, что он сам этого не знает, так как режимами, которые называли себя марксистскими, было совершено так много преступлений. Он также больше не разделял марксистского учения о закономерностях истории: историей все же правит случай. Но он считал, что социалистическое движение имело одно огромное достоинство: оно подняло миллионы людей со дна и превратило их в граждан.

11 декабря 1989 года в больнице в Хилверсуме скончался Борис Сапир, один из самых последних меньшевиков. Он всегда боялся коммунистической экспансии, но в самом конце жизни ему все же было суждено увидеть начало развала коммунистической империи. К сожалению, он умер за месяц до основания Социал-Демократической Ассоциации в Советском Союзе.

Пятьдесят лет спустя...

В Мюльберге состоялась конференция, посвященная пятидесятилетию освобождения Советской Армией лагеря военнопленных Шталаг-IV и создания там советскими оккупационными властями специального лагеря № 1. Конференция была проведена 30 марта — 1 апреля 1995 года инициативной группой Мюльберга совместно с Союзом лиц, преследовавшихся при сталинизме (секция Берлин). Одними из главных организаторов этой встречи были бургомистр города Мюльберга Анне-Лора Буш, участник наших конференций «Спротивление в ГУЛАГе» Гюнтер Польстер и известный правозащитник из бывшей ГДР Хартмут Рюрданс.

С лета 1940 года через Шталаг-IV прошли несколько сотен тысяч военнопленных, в том числе американцы, бельгийцы, англичане, датчане, французы, греки, голландцы, поляки, сербы, словаки и советские военнопленные, последних было большинство.

В середине октября 45-го года в этом опустевшем лагере военнопленных был создан советский лагерь гулаговского образца, действовавший по сентябрь 1948 года. Предполагалось, что в лагере будут содержаться активные деятели нацистской партии и других преступных организаций. За три года через спецлаг № 1 прошли почти 22 000 заключенных, из них всего 200 были преданы советскому суду. Наша коллега Светлана Бартельс, просматривая документы, относящиеся к лагерю № 1, обнаружила рапорт коменданта лагеря, в котором он уведомлял вышестоящее начальство, что во вверенном ему лагере содержатся немцы, в массе своей не являющиеся активными деятелями нацистского режима.

На эту встречу в Мюльберг — маленький старинный город на Эльбе — приехали люди со всех концов Германии и из многих европейских стран. Узники Шталага-IV и спецлага № 1, потомки погибших в Мюльбергском лагере — сначала нацистском, потом советском, депутаты бундестага и земельных парламентов, военные атташе западных стран, сотрудники российского консульства. Были приглашены и мы, представители общества «Воз-



Делегация «Возвращения» возлагает цветы на братскую могилу советских военнопленных и военнопленных союзных армий

вращение»: Светлана Бартельс, Альберт Фрейман и Семен Виленский.

Это была первая встреча в Германии, когда дань памяти отдавали одновременно жертвам двух тоталитарных систем. Она была созвучна нашим встречам в Москве на конференциях «Сопротивление в ГУЛАГе». Мы воочию убедились, как далеко ушли немцы от своего тоталитарного прошлого. С нами были люди, разделяющие ответственность за содеянное их страной в годы фашизма. Среди них много молодых.

...На третий день конференции в огромном, построенном за одну ночь ангаре рядом с кладбищем советских военнопленных и военнопленных союзных армий состоялось экуменическое богослужение.

И так проникновенно, так чисто и слитно звучали голоса девчонок и мальчишек мюльбергского церковного хора...

С. Виленский

Ахим Килиан

К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ СПЕЦЛАГЕРЕЙ¹

В пяти километрах северо-восточнее Мюльберга на Эльбе, на плоской приэльбской равнине, возвышается древнее укрепление. Рядом с ним — лес, неравномерно заросший деревьями, сквозь который проходит аллея тополей. В отличие от параллельно пролегающих дорог — Козиленцкая дорога или Старая Гроссхайнер Штрассе — эта прямая, как стрела, аллея называется не Нойбурксдорфская дорога, а Лагерштрассе. Ибо полвека назад она была центральной улицей лагеря военнопленных, который — с его темными деревянными бараками, будто поднятыми на ходулях сторожевыми вышками, высокими заборами с колючей проволокой, фонарными столбами и позднее появившимися козырьками на окнах — производил отталкивающее впечатление и напоминал о печальной участи заключенных в нем людей. Несмотря на посаженный впоследствии лес и приказ «забыть навсегда», память о лагере «Мюльберг» не исчезла ни у местных жителей, ни у заключенных и их близких. Хотя лагерь был расположен на территории вблизи Нойбурксдорфа, название свое он получил по городу Мюльбергу. Во время 2-й мировой войны в этом лагере содержались военнопленные, затем он был превращен советским аппаратом безопасности НКВД-МВД в изолированный от внешнего мира «специальный лагерь № 1». С тех пор лагерь «Мюльберг» стал всемирно известен: даже американцы и австралийцы посещают свой бывший лагерь военнопленных «IVB», и почти ежедневно приезжают в Мюльберг бывшие заключенные «спецлагеря № 1» и родственники умерших там. С 1990 там проводятся мемориальные встречи в память умерших в обоих лагерях, о чем напоминают памятник на кладбище в Нойбурксдорфе и мемориал вблизи укрепления «Альте Шанце», заложенный после десятилетий забвения на месте захоронений по инициативе пастора Маттиаса Таатца.

¹ На территории советской оккупационной зоны в Восточной Германии.—
Прим. переводчика.

В начале войны, в 1939 году, саперы из города Риза начали подготовку территории примерно в 30 гектаров для закладки лагеря военнопленных. Благодаря своему положению вдали от транзитного сообщения, но вблизи станции Нойбурксдорф, и скудной песчаной почве эта местность соответствовала условиям, предписанным руководством вермахта в инструкции № 38 для закладки к эксплуатации немецких лагерей для военнопленных. К лету 1940 года польские и французские военнопленные построили этот (предназначенный для унтер-офицеров и солдат) лагерь под названием «М.-Шталаг-IV Б».

После регистрации военнопленные переводились в одну из многочисленных рабочих команд в «военном округе IV» и тем самым в принадлежащий региону основной лагерь (например, IV Д Торгау). Сотни тысяч военнопленных прошли, таким образом, через лагерь «Мюльберг», не задерживаясь в нем надолго. Они поступали сюда почти со всех военных фронтов Европы и Северной Африки и происходили из всех частей света. После поляков, бельгийцев, французов, греков, сербов и представителей других балканских народов поступало с годами все увеличивавшееся число англичан из многих стран Британского содружества, так же как и голландцы, которые были в 1943 году схвачены с нарушением международного права; «военно-интернированные» итальянцы, которые не хотели больше воевать после капитуляции Италии, а в 1944 — 45 гг. добавились поляки, датчане и словаки, восставшие против нацистской Германии, а также американцы и французы со второго фронта.

В Шталаге-IV, в основном, содержались отказывавшиеся от работы унтер-офицеры, летчики британских королевских ВВС («Из-за большой опасности совершения побега») и нетрудоспособные военнопленные вплоть до их репатриации. Временами количество содержащихся в лагере значительно колебалось, и к концу войны лагерь «Мюльберг» с его приблизительно 20 000 обитателями был переполнен.

Условия жизни в лагере были различны и временами изменялись. Они становились невыносимыми с удлинением срока содержания и с увеличением дефицита в снабжении. Письма и посылки поддерживали настроение военнопленных, в то время как грубое, солдафонское поведение охраны плохо отражалось на них. Неправильное и однообразное питание вызывало болезни недоедания, вплоть до туберкулеза. До 23. 4. 45 в Шталаге-IV Б и в его лазарете умерли 650 военнопленных из «западных» стран. Они были захоронены на кладбище в Нойбурксдорфе, после

войны останки многих из них были эксгумированы и перевезены на родину.

Начиная с лета 1941 года в Мюльберг стали поступать военнопленные красноармейцы. Многие из их товарищей, попавшие в плен, умерли с голода по пути в Германию или были уничтожены как «политически нежелательные». Сталин всех их считал изменниками родины, и СССР не присоединился к Женевской конвенции. Большинство советских военнопленных попали в Шталаг-304 (позже IV X) в Цайтхайне, который в 1943 году организационно вошел в Шталаг-IV Б. Эпидемии тифа в 1941/42 годах и 1944/45 гг. унесли много жизней. Более здоровые советские военнопленные частично переводились в рабочие команды с суровым режимом. В целом советским военнопленным приходилось значительно тяжелее, чем военнопленным из других стран. Многие немцы обращались с ними, как с «людьми низшей расы», и собственные надсмотрщики относились к ним жестоко. Число умерших до 23. 4. 1945 в «русских лагерях» Шталага-IV Б советских военнопленных неизвестно. В регистрационной книге кладбища в Нойбурксдорфе называется неполное число — 2350 погребенных, а для лагеря в Цайтхайне имеются только неподтвержденные данные, которые в публикациях ГДР до восьмидесятых годов все время изменялись в сторону увеличения. Мертвые не заслужили таких фальсификаций.

23. 4. 1945 г. Красная Армия освободила Шталаг-IV Б в Мюльберге, лагерь в Цайтхайне был освобожден накануне. Для многих советских военнопленных тем самым начался путь в сталинский ГУЛАГ, так же как как для многих «восточных рабочих», которых собрали в Мюльберге. В Торгау русские и американцы обменивали возвращавшихся «западных» военных из лагеря IV Б на освобожденных на Западе советских граждан, для которых лагерь «Мюльберг» стал одним из этапов на пути в неизвестное будущее. Для жителей населенных пунктов в окрестностях Мюльберга и Цайтхайна и для прибывших сюда беженцев это лето 1945 года было ужасным временем. Виновные же «гитлеровцы» заблаговременно скрылись.

В середине сентября 1945 года «специальный лагерь № 1» был переведен из Швибуса в Мюльберг и находился здесь в ведении НКВД (с 1946 года МВД) в течение трех лет. Запущенный лагерь «Мюльберг» срочно привели в порядок и снабдили усиленными заградительными средствами, вплоть до козырьков над окнами. Уже в конце 1945 года его «специальный

контингент» насчитывал почти 10 000 мужчин, женщин и подростков. Всего через лагерь прошли почти 22 000 «арестантов», все они были задержаны без приказа на арест и без суда содержались здесь в полной изоляции или доставлялись сюда из других переполненных, а позже также ликвидированных лагерей.

По собственному признанию советских органов, были арестованы многие, «кто, не будучи виновным в определенном преступлении, казался опасным для целей союзников». Даже архивные документы НКВД/МВД свидетельствуют о том, что это касалось основной массы «мюльбергцев», среди которых функционеры «выше городского уровня» и «активисты нацистской армии» составляли меньшинство, а огромное большинство составляли «мало избалованные» и «попутчики», так же как и «относящиеся к другим категориям»; офицеры (в отставке), ополченцы фольксштурма, подозреваемые в принадлежности к организации «вервольф», фабриканты, помещики и т. д. Бездоказательных доносов было достаточно, индивидуальная виновность или невиновность не играли никакой роли. С 1945 по 1948 годы перед советским трибуналом предстали около 200 заключенных. Они переводились из лагеря «Мюльберг», в котором никогда не было осужденных.

Пребывание в лагере не предполагало ни перевоспитания, ни привлечения к активному сотрудничеству в восстановлении Германии. Более того, «спецконтингент» был предоставлен сам себе при строжайшем гуглаговском режиме, около 90% обитателей лагеря были обречены на безделье. В сочетании с голодом и холодом, однообразным питанием и самыми нищенскими жилищными условиями, с отсутствием гигиены и медикаментов, а также полной изоляцией это приводило вскорости к ужасающим физическим и психическим последствиям. Соответственно, смертность в лагере была высокой, так что каждый третий «мюльбергец» не выживал: в «спецлагере № 1» до сентября 1948 года умерли 6765 заключенных, в основном от дистрофии и туберкулеза. Умерших погребали анонимно севернее лагеря; ни немецкие власти, ни родственники не получали сообщения о смерти. В 1946/47 году более 3000 относительно работоспособных мужчин и юношей, как и некоторое число «специалистов», были депортированы в СССР для выполнения тяжелых работ. Часть их вознаграждения поступала в счет «репараций». Сотни людей умерли там. Выжившие возвращались обратно с 1949-го по 1955 год.

Около 400 — 500 «квалифицированных рабочих» были привлечены к работе в берлинских рабочих командах советской военной администрации в Германии. Четверо заключенных бежали оттуда.

В лагере «Мюльберг» оставались пожилые и нетрудоспособные, а также женщины, которых с самого начала содержали в строго изолированном женском лагере, это был «лагерь в лагере». 7705 женщин, мужчин и молодых людей были освобождены до ликвидации «лагеря № 1» осенью 1948 года; сначала они освобождались как «военнопленные» (!), летом 1948 года как «интернированные». 3611 заключенных были в сентябре 1948 года переведены в «спецлагерь № 2» в Бухенвальде. Среди них были также сотрудники немецкого управления лагеря, которые, вероятно, слишком много знали, заключенные, принадлежавшие к похоронной команде, а также иностранцы из мюльбергского спецконтингента.

Вплоть до сообщений об освобождении летом 1948 года и ликвидации оставшихся в ГДР лагерей в начале 1950 года спецлагеря и тюрьмы НКВД/МВД СССР в советской зоне ГДР всегда были запретной темой. Советские власти обязывали освобожденных хранить строгое молчание и угрожали наказанием в случае нарушения.

По этому поводу Маттиас Таатц сказал в 1990 году: «Это означает не что иное, как продолжение духовной изоляции, вплоть до 1990 года».

Герман Вебер¹ подчеркивает, что «эти лагеря были организованы не для нацистских преступников». Для Вебера они являются «симптомом двойственного характера советских оккупационных властей», которые были одновременно антифашистскими и сталинскими. И Карл Вильгельм Фрике сказал еще в 1979 году, что советский образ действий далеко превысил «требования денафикации по сути и по времени».

Перевод с немецкого Светланы Бартельс

¹ Германский историк. — Прим. переводчика.

Гюнтер Польштер

ДАЛЕКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ В СИБИРЬ

Тема, на которой я хочу сконцентрироваться, называется: «Далекое путешествие в Сибирь». Об этом есть два видеofilьма.

В 1947 году путешествие было принудительным, в марте 1993-го я сам желал его. Последнее путешествие стало возможным только благодаря поддержке инициативной группы «Лагерь «Мюльберг» и особенно благодаря «Союзу объединений жертв коммунистической тирании» под председательством господина Будэ. Это пример того, каким образом союз может поддерживать пострадавших от репрессий и оказывать им действительную помощь.

Путешествия в Сибирь имеют свою предысторию. Объективную и субъективную. Объективная, например, касается истории 11 особых лагерей советского КГБ в бывшей оккупационной зоне в Германии. Но рассказ об этих лагерях, о заключенных в них людях и о моем пути в особый лагерь № 1 «Мюльберг-на-Эльбе» выходит за рамки моей темы.

Поездки в Сибирь наложили отпечаток на мой жизненный опыт. На основе этого опыта я прихожу к выводу, что нельзя допустить, чтобы в Германии снова установилось националистическое или коммунистическое господство. Объединение Германии освободило меня — так же как и других людей, разделивших мою судьбу — от страха. Я прожил большую часть моей жизни в условиях этих тоталитарных систем — добровольно или вынуждаемый обстоятельствами.

Мой рассказ о поездках в Сибирь содержит также высказывания о современной политической и экономической ситуации в России и в Западной Сибири. Я сделал это в первую очередь потому, что мы, немцы, должны знать обстановку в этой стране и, кроме того, оказывать помощь. И, между прочим, по той причине, чтобы не пришлось через 5 — 10 лет спорить о том, что нужно было бы сделать иначе.

Основываясь на моем опыте, я могу объяснить послевоенную депортацию немцев в Западную Сибирь необходимостью

осваивать природные богатства этого края, прежде всего уголь. Так, газета «Берлинер Цайтунг» пишет в своем номере от 20 — 21. 11. 1993 г. следующее: «Горняки Кузбасского угольного бассейна в Сибири грозят российскому правительству забастовкой в преддверии парламентских выборов в декабре... Кузбасс является важнейшей угледобывающей областью России».

И наконец, о моих путешествиях в Кузнецкий бассейн и их причинах. Кто поедет без жесточайшей необходимости через столько лет еще раз в Сибирь и что гонит его туда? Словами это трудно объяснить. В моем случае это были жажда знаний, определенное любопытство и просто страстное желание вернуться еще раз туда, где я был вынужден провести несколько лет моей молодости, но откуда мне повезло все-таки вернуться на родину. После 1950 года в тесном кругу «вернувшихся домой» говорили о том, удастся ли когда-либо вообще поехать в эту далекую страну. И вот в 1993 году это стало реальной возможностью.

Идею о поездке в 1993 году поддержала инициативная группа «Лагерь «Мюльберг». Причиной было то, что в последние три года многое стало известно о заключенных и погибших в лагере «Мюльберг». Но судьба депортированных в Советский Союз была окутана молчанием. Это особенно касается так называемого «этапа в меховых шапках», который был отправлен 7.02.1947 г. из Мюльберг/Нойбурксдорфа в Западную Сибирь.

Целью поездки в 1993 году было прежде всего посещение бывших лагерей, мест работы и захоронений. До 1992 года Кузнецкий бассейн был для немцев абсолютно запретной зоной вследствие своего экономического и военного значения.

По возвращении можно с определенностью утверждать: поездка в одиночку была бы невозможна, если бы она не была подготовлена соответствующими людьми в Западной Сибири, с которыми мы вступили в контакт. Бюрократия в России чудовищная. Это начинается с якобы безобидного получения въездной визы и покупки билета на самолет. Большие препятствия создает всепроникающая мафия, которой я в одиночку или в маленькой группе не мог противостоять. Поэтому я воспользовался возможностью присоединиться к съемочной группе из семи человек. Под руководством госпожи Фрейи Клир снимался фильм о судьбе трех девушек, депортированных перед концом войны, в 1945 году, из Восточного Брандербурга. Премьера фильма состоялась 8. 10. 1993 г. в Берлине, в «Урании». Имеется еще

видеофильм о захоронении немцев в Кузбассе, снятый и переданный нам русскими. Преимущество такой групповой поездки состояло во взаимной поддержке и помощи. Я глубоко благодарен всей съемочной группе.

Одна из спутниц, Ева-Мария Штеге, написала книгу «Скоро домой» о годах, проведенных в Западной Сибири, причем в 1949 году мы были в одном и том же месте — Прокопьевске. Эти слова «скоро домой» сопровождали нас все время нашего заключения. Они могли означать дни, месяцы, годы или даже десятилетия. Часто они будили надежду, но могли привести и к психическому разрушению. Некоторые русские, с которыми мы вместе работали, и даже охраняющие нас солдаты произносили эти слова с сочувствием к нам. Когда я увидел остатки бывших лагерей, во мне всколыхнулись воспоминания, в частности о депортированных женщинах и девушках. Их путь в эту бескрайнюю страну был еще более трагичным, чем путь мужчин. Женские существа, непохожие на женщин, с бритыми головами, под гнетом голода, холода и непосильной физической работы. И затем — психические травмы, которые явились следствием изнасилований в первое время после арестов и дают о себе знать до сих пор. Перед концом войны около 430 женщин прошли по этапу этот далекий путь в Сибирь или на Крайний Север России. Кто пережил эти годы, вернулся запуганным и зачастую сломленным. Трагичность событий состоит еще и в том, что соглашение о депортации этих невинных людей было достигнуто в 1945 году в Ялте во время банкета глав правительств союзных держав. Сталин рассматривал это как «карт-бланш».

Количество немцев, арестованных НКВД/МВД в бывшей советской оккупационной зоне, интернированных в лагерях или осужденных, составляет, по русским данным, 122 677 человек.

Из этого количества были отправлены в бывший СССР:

как специальный контингент	5037
осужденные	1661
«оперативный сектор МГБ» и осужденные советским военным трибуналом	6072
переведенные на положение военнопленных	6680

Эти данные я смог получить в Новокузнецке в так называемой книге № 43 бывшего советского Министерства внутренних дел. По поводу этих цифр следует добавить, что, по немецким исследованиям, число арестованных больше.

На депортированных в качестве «специального контингента», к которым относится также «этап в меховых шапках» из Мюльберга, был издан особый приказ от 26.12.1946 г.

Этим приказом предусматривалась депортация в общей сложности 27 500 немцев из так называемых специальных лагерей в начале 1947 года для использования их на работах в бывшем Советском Союзе. Но это число не было достигнуто. Это можно объяснить исключительно плохим состоянием здоровья заключенных вследствие недоедания. Поэтому этап из Мюльберга был составлен в основном из лиц, находившихся в лагере в «привилегированном» положении (кухонный персонал, ремесленники), и молодежи, на которой постоянный голод не сказался еще так сильно. На основе полученных мною ранее сведений можно считать, что приблизительно в то же время были отправлены этапы из следующих специальных лагерей: № 2 — Бухенвальд, № 4 — Бауцен, № 7 — Заксенхаузен, № 9 — Нойбрандбург (Фюнфайхен), а также осужденные советским военным трибуналом из пересыльной тюрьмы № 10 — Торгау.

Осужденные из Торгау были присоединены к этапу из Мюльберга. Необходимо провести расследование относительно этапов из специальных лагерей НКВД/МВД, в частности: число депортированных, время нахождения в пути по железной дороге и место нахождения в Западной Сибири. Можно предположить, что в московских архивах имеются документы с соответствующими подробностями. Доказательством может служить то, что относительно сборных лагерей и маршрутов следования 430 женщин и девушек были найдены подробные записи, вплоть до места назначения, что было включено в фильм «Угнанные на край света».

Из специального лагеря № 1 «Мюльберг-на-Эльбе», еще до «этапа в меховых шапках» были отправлены в СССР два транспорта с интернированными. Первый — в июне 1946 года — на Северный Кавказ и второй — в августе 1946 года — в западное Подмосковье. Это были в основном бывшие офицеры и солдаты гитлеровской армии и войск СС. Большинство этих интернированных были первоначально военнопленными у американцев и англичан. После их освобождения из плена они были аре-

стованы советской администрацией при переходе «границы между зонами» и посажены в специальные лагеря. В Советском Союзе они были квалифицированы как «военнопленные».

Так называемый «этап в меховых шапках» был отправлен 7.02.1947 г. из лагеря «Мюльберг» в направлении вокзала Нойбурксдорф. Это были мужчины разных возрастов, которые прошли поверхностное обследование советскими медицинскими комиссиями и были отнесены к 1-й и 2-й рабочим категориям. То есть, как правило, заключенные, которые чисто внешне могли быть признаны здоровыми. Одежда состояла из бывшего обмундирования гитлеровской армии, в том числе и меховых шапок. Отсюда и принятое среди депортированных обычное обозначение этого этапа. Большинство испытывали страх перед депортацией, а надежда на скорое возвращение домой была мала. Некоторые потеряли свои более или менее теплые места и тем самым — лучшее, чем у других, снабжение. Было неясно, смогут ли они получить и дальше подобные «привилегии». Другие, в основном молодежь, надеялись, что при работе в Советском Союзе питание будет лучше. Но никто не знал, куда они едут. Оптимисты говорили о Кавказе и о Черном море, а пессимисты — которые оказались правы — о Сибири. Некоторые надеялись, что удастся сбежать по пути. Но эта крошечная искра надежды исчезла во время 7-километрового марша из лагеря «Мюльберг» к станции отправления Нойбурксдорф.

Очень строгая охрана, через каждые 10 м вооруженные конвойные с собаками, непрерывные крики «шнель» и «давай». Февраль 1947 года был в средней Германии очень холодным. Только немногие после длительного заключения в лагере, еще и нагруженные своими последними пожитками, смогли относительно легко перенести тяготы этого похода и добраться до вагонов.

Это были товарные вагоны для всех заключенных, в которых были сделаны деревянные нары на 32 человека. В середине стояла железная печка. Свет проходил через единственное маленькое окошко с решеткой. Распределение по отдельным вагонам происходило после бесконечных проверок-пересчитываний в соответствии с русским алфавитом. Поезд казался бесконечно длинным. Кроме вагонов с заключенными были еще пассажирские вагоны — для офицеров и конвойных команд, вагоны для угля, вагон-кухня, а также вагоны с трофеями, собранными в бывшей советской оккупационной зоне советскими

офицерами. Наконец поезд тронулся. В течение 33 дней мы ехали в этом составе. Питались в основном сухим хлебом, иногда давали так называемую кашу или суп.

Мы почти всегда испытывали голод. Во время пути появлялось все больше больных. Иногда поезд ехал один-два дня, а затем столько же стоял в каком-нибудь Богом забытом тупике.

На остановках вдоль поезда ходил фельдшер и раздавал из коричневого бумажного пакета одинаковые таблетки. «Кто болен?» И заключенные выкрикивали из вагонов свои болезни. И тогда фельдшер — согласно своему разумению — выдавал одну или несколько белых таблеток. В вагонах очень быстро начинали верховодить физически более крепкие. Они также организовывали обмен различными вещами между заключенными и конвоем. Чтобы раздобыть табак, некоторым несчастным приходилось жертвовать последним золотым зубом. Так как никаких инструментов не было, зубы выбивали при помощи ботинка или засунутой в рот ложки.

Побег был невыносим. Советские конвойные все время, несмотря на мороз и ледяной ветер, стояли на маленьких платформах вагонов. Во время остановок полы вагонов простукивались молотками. Обитатели вагонов должны были думать только о выживании.

Через три недели кончился уголь для железных печурок. Холод сделался почти невыносимым. Тогда мы стали разбивать нары и топить ими печку. Места для сна становились все уже. По маленьким станциям, названия которых мы смогли расшифровать, и по тому, что мы ехали через Урал — огромный гранитный камень отмечает здесь границу между Европой и Азией, — мы поняли, что путь ведет в Сибирь. И через 33 дня, 12 марта 1947 года, нас выгрузили на товарной станции Анжеро-Судженск, в Кемеровской области. Сколько наших товарищей по несчастью умерли в пути, осталось неизвестным. Остальные попали в лагерь, где до этого были японские военнопленные и немцы Поволжья.

Основываясь на не совсем еще проверенных данных списка умерших в лагере, можно утверждать, что около 800 мужчин из этого «этапа меховых шапок» выжили и вернулись на родину. В 1948 году — некоторые тяжело больные, основная масса вернулась в апреле 1950-го. Около 200 человек вернулись только в 1952 году. И некоторые — в 1954-м и 1955-м. Из числа умерших в заключении в Западной Сибири и принадлежавших

к этому «транспорту в меховых шапках» 122 человека покоятся на так называемой «Японской горе», расположенной к востоку от города Анжеро-Судженска. Они умерли в 1947—48 годах. Эти списки мне удалось привезти с собой. Название «Японская гора» происходит оттого, что в этом месте хоронили также японских военнопленных.

В марте 1993 года путешествие в Сибирь самолетом длилось всего два дня. По пути мы переночевали в Москве. Затем прибыли в аэропорт Новокузнецка — во времена нашего заключения это был Сталинск. Нас встретила преподаватель вуза госпожа Долганова со своими друзьями и студентами. Она предложила нам в качестве местопребывания на последующие несколько дней санаторий горняков — вместо предполагавшейся ранее гостиницы.

Для нас началась напряженная неделя с 16-часовым рабочим днем. Съёмочная группа сконцентрировала свое внимание на Новокузнецке, Прокопьевске и их окрестностях, а я отправился в 450-километровый путь на машине в сторону Анжеро-Судженска.

Активную помощь во время поездки оказал мне бывший русский пилот вертолета. Он достал в архиве города Кемерово картографические обзоры и данные о 5000 немецких мужчин и женщин, умерших в Кузбассе с 1945-го по 1950 год.

В результате пребывания в Сибири в марте 1993 года можно в основном отметить следующее:

1. Мы были во многих местах, где находились в заключении немецкие мужчины и женщины. Но бывшие лагеря и здания почти полностью снесены или разрушились сами от времени. В некоторых местах мы находили остатки строений или могли обозначить местонахождение лагеря с помощью еще оставшихся русских свидетелей. Когда мы там сидели, вся Кемеровская область была покрыта сетью штрафных лагерей. Эти штрафные лагеря, в которых наряду с политическими заключенными находились и осужденные уголовники, во времена Горбачева были в основном ликвидированы. Проживавшее в этой области в послевоенные годы «свободное население» состояло в основном из депортированных, которым было запрещено покидать место работы и проживания. Среди них были бывшие военнослужащие Красной Армии, которые, будучи «освобождены» из немецкого плена, сейчас же депортировались в Сибирь. Основная масса депортированных состояла из семей,

проживавших в западных и южных пограничных районах бывшего Советского Союза.

Как в лагерях, так и в городах Западной Сибири была в то время значительная преступность.

Некоторые лагеря еще существуют до сих пор. Заключенные в основном осуждены за уголовные преступления. Они работают на шахтах или стройках. На работу и обратно их перевозят в так называемых «черных воронах». Это закрытые грузовые машины с маленьким зарешеченным окном.

Преступность в городах Западной Сибири высока и сейчас, и, судя по высказываниям местного населения, продолжает расти. Она перешла в «новое качество», которое можно рассматривать как организованную мафию. По моим наблюдениям во время подготовки и проведения путешествия в марте 1993 года, КГБ все еще вездесущ, хотя, может быть, и под другой личиной.

2. Те предприятия, где должны были работать арестованные мужчины и женщины — ради чего они были привезены в Сибирь, — в большинстве все еще существуют. Угольные шахты, в которых мы, например, в Анжеро-Судженске работали, еще функционируют, и их даже стало больше.

В Новокузнецке мы получили возможность осмотреть одну шахту, спуститься под землю. За это время почти ничего не изменилось в условиях труда. Русские женщины выполняют под землей тяжелую физическую работу, например, отсортировывают вручную пустую породу от угля. Мы воспользовались возможностью посетить наши бывшие рабочие места: кирпичный завод, жилые дома, которые были построены в основном немецкими военнопленными в Новокузнецке, и гаражи на территории шахт. Мы были в колхозе, работа в котором для постоянно страдающих от недоедания заключенных означала возможность получать в течение нескольких недель немного больше еды.

3. Во время пребывания в Западной Сибири в марте 1993 года мы посетили большинство мест захоронений немцев. Там были похоронены немцы, умершие в неволе с 1949-го по 1950 годы, при этом речь идет как о бывших военнопленных, так и об интернированных и осужденных. Захоронения мужчин и женщин находились в одном и том же месте. Мы сфотографировали эти кладбища. Госпожа Долганова и ее студенты обеспечивают некоторый уход и наведение порядка в местах захоронений.

В июне — это, пожалуй, самое прекрасное время в Западной Сибири — госпожа Долганова сняла видеофильм о самых больших захоронениях. 8.10.1993 г. фильм был передан представителю Национальной федерации по уходу за немецкими военными кладбищами. В фильме снята также «Японская гора» в Анжеро-Судженске и есть интервью с одним свидетелем событий того времени — российским немцем.

Когда занимаешься историей, необходимо, по-моему, всегда помнить о мертвых. Они были там похоронены далеко не в соответствии с теми обычаями, которые приняты в Германии. Их привозили на грузовике, в обнаженном виде, зачастую после вскрытия в больнице, к подножию «Японской горы». Затем, привязав к веревке, их волокли по высокой траве или по глубокому снегу вверх по склону. Так как конвойные всегда подгоняли, а землю было копать очень трудно, то могилы всегда были не глубже 30 — 40 см. Сжимается сердце, когда стоишь на этом месте.

Мы привезли списки более чем 5000 умерших там. Таким образом, появилась возможность информировать родственников, которые не могли до сих пор получить никакой официальной информации о судьбе умерших.

Цель моего путешествия в 1993 году была продиктована личными мотивами. Но во время пребывания там я получил представление о жизненном уровне населения и об экономической и политической ситуации в этом регионе России. И я считаю своим долгом — как один из немногих, кто познакомился с положением вещей на месте — высказать свои соображения по этому поводу. Это поможет расширить наши представления о современном положении в России на примере Кузнецкого бассейна и будет способствовать лучшему пониманию. Это также заставит подумать, какую помощь и поддержку может оказать Германия.

Западно-Сибирский регион включает в себя Алтайский край, Кемеровскую, Новосибирскую, Томскую, Тюменскую и некоторые другие области. По сравнению с другими территориями России Западная Сибирь имеет относительно небольшую плотность населения. Но, что касается запасов нефти, природного газа и угля, ее можно назвать русским Кувейтом.

Западная Сибирь является одним из самых значительных центров России по подготовке высококвалифицированных научных кадров. Особенно это касается городов Новокузнецк и

Кемерово. В Кузбассе имеются огромные запасы железных и полиметаллических руд. На юге области еще при Сталине возник один из самых значительных оборонных комплексов бывшего Советского Союза и теперешней России. Это было основной причиной, почему область до 1992 года была закрытой. Теперь возникают проблемы переструктурирования экономики.

Имеются первые результаты сотрудничества с западными фирмами. Американцы участвуют в добыче газа. В апреле 1993 года было организовано русско-американское совместное предприятие «Геологопромышленное общество Кузнецк» с 50% капитала каждое. Запасы метана составляют в Кузбассе около 13 млн. м³.

Из германских фирм в Кузбассе активно работает фирма «Виртген». После того как эта фирма уже модернизировала дороги в Москве, она будет заниматься модернизацией сети дорог в Кемерове. Российские власти выделили на это около 1,5 млрд. рублей.

Процесс приватизации протекает медленно. Некоторые фирмы предлагают акции. В Анжеро-Судженске это делают бетонный завод и фабрика по изготовлению гардинного полотна.

Во многих разговорах с простыми людьми обнаруживались их политические настроения. «Старики» еще жили в сталинское время. В те времена, когда мы здесь были в неволе, не принято было говорить об этом, а если и говорили, то шепотом. Страх перед репрессиями был широко распространен среди всех слоев населения. И каждый, кто осмеливался сказать что-либо против диктаторского режима, мог оказаться в лагере в восточной части Сибири. В 1993 году люди высказываются свободно. Они едины в том, что не хотят возвращения к сталинским временам. Эра Горбачева почти забыта и уступила место будничным проблемам. От Ельцина большинство населения ожидало более быстрого улучшения жизни. Но этого не произошло. А большинство продолжают надеяться. Тем более что альтернативы нет.

Ощущается дефицит всевозможных лекарств. Поэтому добровольная помощь медикаментами весьма желательна. Если хочешь в Кузнецке чего-нибудь добиться, нужно — даже в официальных учреждениях — иметь при себе пакетик с маленькими подарками.

И здесь я хочу вернуться к исходной точке моего доклада, а именно к важности добычи угля в то время, когда мы были депортированы в Кузнецк, и подчеркнуть экономическое и политическое значение угледобычи в настоящее время. В 1992 году, перед референдумом, Ельцин прилетел в Кемерово, причем еще три самолета были загружены картонными коробками с деньгами. Эти коробки привезли к воротам шахт и стали раздавать деньги шахтерам прямо с грузовика. Потому что уголь и шахтеры жизненно необходимы для экономики России.

Когда мы в 1947 году прибыли в Сибирь, мы относились к непосредственному окружению довольно равнодушно. Потому что речь шла о том, как выжить. Позднее мы проявляли интерес к городам, в то время весьма небольшим и состоявшим почти сплошь из типично русских деревянных домов. В Кемерове и Новокузнецке в конце 40-х годов начали с помощью заключенных строительство высотных домов из кирпича и бетона.

Теперь, в 1993 году, города значительно обновились благодаря росту населения. Но тем не менее преобладают по-прежнему деревянные дома. Некоторые уже совсем покосились. Но, поскольку уголь дешев, люди хорошо переносят холодную зиму. Между домами русских стоят дома немцев Поволжья. Их легко узнать по солидной постройке и бело-голубым ставням.

В беседах русские не скрывают трагедии многих судеб, которая прежде всего вызвана 2-й мировой войной. Не видно ненависти и нет обвинений в адрес нас, немцев. Многие даже просят прощения за то, что произошло с депортированными немцами. Но в памяти у русского народа сохранились воспоминания об ужасах войны и ее последствиях, так же как о сталинском времени. Одна старая женщина рассказала историю своей жизни: в 1943 году она была вывезена из блокадного Ленинграда в Сибирь. В 1945-м муж вернулся после войны инвалидом. Он умер в 1972 году. Женщина получает такую пенсию, что выжить она может только благодаря поддержке сына. И такие судьбы не редкость.

Я лично принимаю близко к сердцу судьбу немцев Поволжья. Они были, как известно, принудительно депортированы летом 1941 года в Сибирь и на север России. Мы познакомились с ними во время нашего пребывания в неволе. Они не могли получить работы и жили в примитивнейших условиях, некоторые даже в землянках. До середины 60-х они

считались людьми третьего сорта, их часто обзывали фашистами, хотя они никогда ими не были и быть не хотели. Теперь они в Кузнецком бассейне интегрировались с русскими на работе и в местах проживания. Многие немцы хотят уехать в Германию, особенно если у них там есть родственники. Русские же хотят, чтобы они остались, потому что они хорошие работники. Во время нашего плена нам говорили: «Вы никогда не вернетесь в Германию, а мы никогда не увидим Волги». Но с течением времени кое-что изменилось. Ситуация отчасти трагическая, но она также зависит от образа мысли и поведения большей части русских. Гонимые надеждой и страхом, многие русские сами готовы покинуть свою родину. Европейская конференция по народонаселению констатировала, что в Западной Европе продолжает существовать фактор миграции с юга. Однако начинает действовать новый фактор миграции, а именно — из стран бывшего восточного блока. Самым мощным потенциалом в этом отношении обладает Россия. По самым осторожным оценкам, до 2000 года захотят выехать из России от 2 до 5 миллионов русских, причем только по мотивам занятости.

Времена меняются, но люди остаются людьми. Существует план установления небольших мемориальных памятников в бывшем лагере и на двух кладбищах в Кузбассе. Долганова и ее студенты будут осуществлять уход за могилами.

Перевод с немецкого Светланы Бартельс

5

Нина Монич
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ
1941 — 1952

КОНСТАНТИН СИМОНОВ — НИНЕ МОНИЧ

Уважаемая Нина Дмитриевна!

Я начал читать Ваши записки давно, а потом обстоятельства моей работы оторвали меня от этого, и я только на днях дочитал их, вернее, перечитал с начала и дочел до конца.

Ваши записки произвели на меня большое впечатление своею искренностью, прямою, своей, как мне кажется, объективностью в оценке и худых и хороших людей. Мне показалось, что Вы человек, не склонный к преувеличениям ни в ту, ни в другую сторону и стремящийся быть справедливым ко времени, к обстоятельствам, к людям, хотя и пережили в жизни очень много тяжелого.

Не буду кривить душой, не знаю задним числом, как тогда, в начале войны, я бы отнесся к Вашему поступку, к которому Вы и сами относитесь со смешанным чувством ощущения и вины и невинности. Но когда я дочитал до сорок пятого года и до той атмосферы ожидания, что будет по-другому, что после такой победы, после всего сделанного людям, совершившим какие-то не злостные ошибки или проявившим какую-то слабость, будет это забыто, будет это списано с них, — когда я дочитал до этого места, сердце мое дрогнуло, и я подумал: вот как оно и должно было действительно быть! И этого ждали не только Вы, и думали об этом не только Вы, но мне казалось, что после войны многое будет совсем, совсем по-другому — лучше, добрее, чем было до войны.

С тем же чувством я читал и страницы Ваших записок, где говорится о тягостных переменах в худшую сторону, которые

начались в сорок девятом году. Знаю это по судьбе многих хороших людей.

Читал Ваши записки с большим интересом и вниманием, они хороший, серьезный, искренний человеческий документ. Они написаны человеком живым и деятельным, продолжавшим думать не только о себе, но и о других людях, и о своем участии в жизни общества и тогда, когда, казалось бы, можно было уйти целиком в себя, в свои беды, несчастья. Видимо, эти свойства Вашей души и Вашего характера и помогли Вам пройти через выпавшие на Вашу жизненную долю трудные испытания.

Меня, когда я читал Ваши записки, волновало и то, что на Вашей дороге в разных положениях, в разное время, в разных местах встретилось так много хороших людей, добрых, верных людей. Наверно, и даже конечно, это тоже помогало жить. Но не только в этом дело. Дело в том, что эти хорошие люди — необыкновенно важная часть нашего общества, и они проявляли свои лучшие человеческие черты в самые трудные наши времена. И когда об этом, иногда вспоминая прошлое, пытаются забывать или не хотят помнить, это неверно. И, наоборот, очень верно, что Вы помните этих людей, самых разных, и отдаете им должное.

Я сознаю, что пишу Вам через такой промежуток времени, когда Вы уж, наверное, и не ждете от меня письма, но все-таки, раз прочел, хочу написать, чтобы Вы знали мои ощущения от прочитанного.

Еще раз спасибо Вам за доверие. Рукопись Ваших записок оставляю у себя. Если Вы захотите, чтобы я их вернул Вам, — напишите, я верну. Если нет, пусть будет у меня.

Желаю Вам здоровья и всего самого доброго.

Уважающий Вас

Константин Симонов

9 августа 1971

Часть I ЗА ЖЕЛЕЗНОЙ РЕШЕТКОЙ

От тюрьмы да от сумы не зарекайся.

Русская пословица

В субботу 21 июня 1941 года я, как обычно, поехала к детям на дачу. В то лето мы жили в маленькой деревушке Сальково, километрах в трех от Звенигорода. Деревушка была совсем маленькая, а домик наш был крайний, к опушке леса. В нем жили дети — Ника, 11 лет, и Аля, 7 лет, и дедушка с бабушкой. Мы с мужем до наступления отпуска приезжали по субботам на воскресенье.

Я приехала поздно, совсем в темноте, и сразу легла спать на террасе. А очень рано утром дети пробрались ко мне, разбудили, и мы втроем, полуодетые, побежали в лес за ландышами.

Ландыши были в полном цвету. Их было много. Белые, душистые, мокрые от росы — что это были за чудные ландыши! Солнце заливало лес светом, пели птицы. Мы, все трое, дуррачились, брызгались росой, смеялись. Наконец руки уже не могли охватить букетов из белоснежных душистых цветов, и мы пошли по лесной дороге. Наш домик был виден издали. У плетня стоял дедушка. Мы подумали, что он вышел нас встречать. Он издали махал нам и что-то кричал. Сначала мы ничего не могли слышать. А он все кричал одно и то же слово и махал рукой. «Война! Война!» — слышали мы наконец. Когда мы подбежали близко и все поняли, ландыши посыпались у нас из рук, но никто их не подбирал.

Война

Война!!! Кровь остановилась в жилах при одном звуке этого слова. Но потом сердце забилося чаще, словно вся жизнь страны получила лихорадочно быстрый ритм и уже невозможно было жить, как мы жили еще совсем недавно.

Все понеслось, все закружилось в водовороте больших и малых дел. И мы, невольные соучастники страшных военных событий, с первого момента были втянуты в водоворот.

Что было с нами в этот первый день войны 22 июня 1941 года?

Не успели мы понять всего, о чем нам сказала радио, не успели переговорить друг с другом, как нужно было уже что-то делать, как-то откликнуться на страшную весть.

Вскоре приехал из Москвы муж — за мною. Нас обоих вызывали в Москву на работу. Невозможно сесть ни на один поезд. Кажется, все сразу хотят ехать в Москву. На длинной платформе все люди, ожидающие поезда, разговаривают друг с другом, как будто все — одна семья, все родные, все болеют от страшной обиды, нанесенной нам фашистами, преступно нарушившими нашу границу. Наконец едем. По дороге на всех станциях — толпы народа. Уже провожают на фронт. Молодых летчиков засыпают букетами сирени. Настроение приподнятое. Все как-то необычно, но еще не страшно.

Что сказать о том, что было дальше? Мне кажется, что все, кто жив, помнят, как мелькали события первых дней войны. У жизни появились новые законы. Все мысли устремлены *туда*, где творится что-то необычайное. *Туда* — на фронт.

Поезда по Белорусской дороге идут теперь особенные. Попасть в Звенигород почти невозможно. Словно там уже — фронт. 10 июля 1941 года в 4 часа утра муж получил повестку — на призывной пункт и в 10 часов уехал. Я осталась одна в пустеющей Москве.

Все уезжали куда-то. Но моя Академия еще не трогалась с места. Что же делать? Мне нужно было скорее перевезти в Москву стариков и детей. Помог начальник мужа — дал мне грузовик. Примчались в нашу тихую деревушку. В течение получаса, как дрова, погрузили все имущество, посадили детей и стариков и выехали в затихшую Москву.

Мы приехали накануне первого воздушного налета на Москву — 22 июля. Первый воздушный налет на Москву надолго запомнился как кошмар — ночь светлая, как день, воздушные тревоги все чаще и чаще. Зловещий вой сирен. Все прячутся, все бегут в бомбоубежища... Но мои старики не двигаются с места. Они хотят умереть просто у себя дома. Эвакуироваться они тоже отказались. Была мысль уехать одной с детьми. Куда — неизвестно. Но жалко было оставить стариков.

Война катилась, как гигантский снежный ком, все увеличивающийся в размерах, катилась со стороны Белоруссии.

В то время мы все еще мыслили очень старомодно: если война надвигается с запада, то, значит, на севере, на юге, на востоке совершенно безопасно! У меня родилась мысль — увести стариков и детей в Тарусу Тульской области, к моей самой близкой приятельнице, вдове профессора Снегирева, к Александре Петровне.

В последних числах июля мы двинулись в Тарусу. Помню, что ехали пароходом по Оке. Из Москвы ехали не мы одни, было много других москвичей. Таруса встретила нас приветливо, нам показалось, что это удивительно тихий, зеленый уголок. Будто не было никакой войны. Будто ничего в мире не изменилось. Люди жили обычной жизнью. Копошились в садах и огородах, ходили на колодец за водой, за покупками на базар. Здесь не нужны были карточки, по которым я каждый день получала в буфете Академии кусочек хлеба и ложку сахара к чаю. Был базар. Там всего было вдоволь. Продавались сливочное деревенское масло, сметана, яйца, зелень, мясо.

Я устроила своих в небольшом домике на улице Шмидта и сравнительно успокоенная уехала обратно в Москву.

Почти пустая московская квартира. Я целыми днями на работе. А вечером только придешь домой и начинаешь работу над последней главой кандидатской диссертации, как непременно раздастся сигнал воздушной тревоги. Жильцы убегают в убежище. А я беру матрац и ложусь спать на полу коридора, закрыв все двери. Когда тревога кончается и соседи возвращаются домой, я просыпаюсь и опять сажусь за диссертацию, если только тревога не начинается вновь.

В Академии в пустынных аудиториях почти не видно было слушателей. Преподаватели кафедры немецкого языка усиленно работали над особыми заданиями. Спешно составляли пособия в помощь фронту — опросники пленных и прочие брошюры. Много времени проводили в местной типографии, правя гранки почти неграмотных по иному языку наборщиков. Один раз в конце августа я ездила в Тарусу навестить своих. Все у них было хорошо, продовольствия вдоволь. Тихо, спокойно. Вставала мысль: не перезимовать ли им в Тарусе?

Наступил сентябрь. В Москву стали проникать странные слухи — об отступлении наших войск от многих населенных пунктов, о чем не говорили по радио, не писали в газетах. Даже мой старик отец написал, что через Тарусу проходили войска,

отступившие под Козельском. Сама я с волнением узнала о том, что горит Калуга... Все это наполняло сердце смутной тревогой, щемящей болью, страхом за своих. Хотелось быть вместе с ними хотя бы в опустевшей, неприветливой Москве.

Решила поскорее съездить к ним и договориться о возвращении в Москву. Но меня не отпустили с работы. Заведующая кафедрой не считала возможным обойтись без моей помощи. Ведь я не знала, сколько дней мне бы потребовалось на поездку и хлопоты по перевозке семьи. Сперва я надеялась получить на работе грузовую машину и за один день все устроить. Но, когда я умоляла начальника Академии дать разрешение на машину, чтобы перевезти семью, ответ был: «Отвечаю головой за каждую военную машину, дальше пятидесяти километров от Москвы отпустить не могу». А до Тарусы было около 130 километров. Все мои просьбы, напоминания о том, что и мой отец, и я сама работали в Академии со дня ее основания, ни к чему не привели. Поздно вечером я поехала на квартиру к одному шоферу. Обещала ему 5 тысяч, которые только что выиграла по облигации. Шофер засмеялся и сказал, что слишком *поздно*. Недели две назад он бы еще поехал, но теперь не поедет к Серпухову и за 100 тысяч! Он меня совершенно ошеломил. Неужели положение настолько опасно? Неужели я просидела здесь, в типографии Академии за правкой гранок, и пропустила дорогое время для поездки за семьей? Как узнать правду?

Я кинулась наутро к заместителю начальника Академии генерал-лейтенанту Красильникову. Он хорошо владел иностранными языками, интересовался преподаванием и часто бывал у нас на кафедре. Он казался мне добрым и честным человеком. Я с полной откровенностью рассказала ему о всех своих опасениях и просила совета. Он стал очень серьезен, задумался. «Да, товарищ Монич. Может случиться, что вы не вернетесь из Тарусы обратно в Москву. Пожалуй, уже слишком поздно».

15 октября 1941 года я выехала в Тарусу. Самым обыкновенным поездом со станции Каланчевская на Комсомольской площади в 6 часов утра. Поезд шел до Серпухова. Я не знала тогда, что это был почти последний поезд, шедший прямо до Серпухова. Потом поезда ходили только до Подольска.

Доехали до Серпухова без всяких приключений. На станции все казалось тоже совершенно обычным. Но когда я пришла на пристань около станции Ока и спросила, скоро ли пойдет

пароход, на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Никакие пароходы по Оке давно уже не ходили. Оставался один выход: идти до Тарусы пешком, около 35 км, по шоссе. Дорога была мне совершенно незнакома. Я вернулась в Серпухов, расспросила жителей о дороге и вышла за город.

Что же я увидела?! Зрелище печальное и неожиданное, невероятное для меня! Ведь до последней минуты мне все казалось, что страшная война где-то там, за далеким горизонтом! А она оказалась здесь, вокруг...

По бокам шоссе, замаскированные свежесрубленными ветками, стояли пушки, около них прятались наши военные... Но еще страшнее был живой поток людей, рогатого скота, повозок, катившийся по шоссе мне навстречу... Колхозники гнали скот и сами беспорядочными толпами, с детьми и скарбом валили по шоссе...

Запомнилась мне понурая корова, на шее которой болтались мешки с вещами, а на спине сидели деревенские ребятишки с кошкой.

Но это было еще не все. Страшнее всего был вид наших отступающих войск. Солдаты шли по шоссе по колено в засохшей грязи, все забрызганные, серые, понурые, молчаливые...

Прокатились эти две лавины — и на шоссе образовалась страшная пустота, как безвоздушное пространство. Только редкие люди шли вперед *навстречу*...

Нас собралось на шоссе девять женщин, все бежали примерно в одном направлении. Все — за детьми! Дороги никто не знал. Но шоссе прямое, сбиться было некуда, хотя и некого спросить о дороге. Вскоре нас обогнала военная грузовая машина, маленький железный самосвал, ехавший, по-видимому, в сторону фронта. Мы замахали шоферу, прося подвезти нас немного. Он посадил нас наверх, сразу взял деньги и повез... Ехали молча. Ехали долго.

Вдруг все услышали отдаленный железный гул. Звук был совсем непривычен для слуха. Это был гул орудий.

Почему же мы так близко подъехали к линии фронта? Неужели около Тарусы шли уже бои? Нет. Шофер, хоть и был русским, оказался подлецом. Он взял с нас деньги, но повез туда, куда *ему* нужно было ехать, а не туда, куда *мы* его просили. Он нас привез под Малый Ярославец! С проклятиями попрыгали мы с машины и в отчаянии побежали в обратном направлении! Сколько лишних километров предстояло нам пробежать! А время было так дорого! Случайные

встречные не посоветовали идти по шоссе, потому что нас могли обстрелять вражеские самолеты. Мы сошли с шоссе и бежали, буквально бежали проселками, тропками, совсем без дороги по осенним незнакомым лесам.

Нас, кажется, осталось семь женщин, две где-то свернули в другую сторону. Деревушки стояли почти пустые, словно вымершие. Один встречный старик сказал, что немцы — в восьми километрах. В крошечной деревушке среди глухого леса нам сказали, что немцы — в двух километрах.

Мы бежали по осеннему лесу, листья шуршали под ногами. Из-за каждого дерева, казалось, выглядывали немцы.

Помню страшную переправу через речку Протву. Мост был разобран. По свинцовой воде плавали доски и бревна. Бежали и прыгали по этим бревнам, плававшим в ледяной воде. Никто не поскользнулся, никто не упал. Кажется, только в минуту полного отчаяния можно было пробежать по такому «мосту»!

Когда мы уже перебежали и остановились на берегу, вдруг над нашими головами низко и как-то бесшумно пролетел самолет с черными крестами, спокойно, как хищная птица, не боящаяся охотников. И мы опять бежали по лесам, бежали до темноты. Совсем в сумерках мы подошли к какой-то небольшой деревушке. Ни одного дымка из труб, ни одного огонька. Но люди там еще оставались. Какой-то старик пустил нас в холодную избу. Мы сели в темноте на пол. Пытались есть хлеб из собственных карманов. Но никто не мог от усталости проглотить ни кусочка. Старик запалил лучину, вынес тарелку с кусками засахаренного меда и поставил на стол со словами: «Нате, ешьте. Не то все равно немец сожрет». Я взяла кусочек меда и хотела проглотить, запивая водой. Но не смогла. Горло было, как зашнурованное.

Рано утром, когда чуть забрезжил поздний рассвет, повалил первый снег. Повалил такими мягкими громадными хлопьями, что сразу закрыл всю землю. До Тарусы оставалось километров десять. Я бежала вдвоем с одной из попутчиц. Перед нами расстилалось громадное белое поле, полого спускавшееся к лесу.

Таруса показалась с совсем неожиданной стороны. Когда я подбежала к мосту через речку Таруску, этот старый чугунный мост готовились взорвать. В городе заметно было смятение, но я мало вглядывалась во встречных и ни о чем не спрашивала; я торопилась домой.

Как сон помню теперь, как я вбежала во двор нашего домика. Оказалось, что мама уже три ночи не спала и все ходила по фруктовому саду в ожидании меня. Мы крепко обнялись, и мама сказала: «Ну, теперь умрем вместе!»

Но немцы в этот день еще не пришли. Не пришли они и на следующий день. Прошло еще несколько дней страшного ожидания. Я не теряла надежды увести своих из Тарусы. Но кругом было «безвоздушное пространство». Никто никуда не ездил и не ходил за черту города. Ехать лошадьми в Серпухов местные жители не решались ни за какие деньги. Ждали немцев с минуты на минуту.

Страшное это было ожидание! Словно мы были дикими зверями, неожиданно попавшимися в ловушку. Вот-вот придет зверолов за своей добычей, и тогда всему конец! А как выбраться из ловушки? Этой ловушкой для нас оказалась Таруса. Кругом, по слухам, уже были немцы, но, в скольких километрах от нас, никто точно не знал. Слухи ходили самые противоречивые. По этим слухам, мы уже были в «кольце», отрезаны и от Калуги, которая была в руках немцев, и от Тулы, и от Серпухова.

Может быть, я смогла бы еще уйти одна, пешком, опять пробираясь по тропкам, по лесам. Куда? Не знаю. Но дети, старики со мной не дошли бы. Как я могла *бросить* их, когда пришла помочь, чем только смогу? И я осталась.

Отец мой, человек неглупый, образованный, искренне считал, что, может быть, немцы совсем не придут в Тарусу... Ведь это только по названию город, на самом деле это незначительное местечко, где нет никакой промышленности... Одни обывательские домишки. Может быть, немцы просто обойдут Тарусу?.. Но они не обошли ее...

В двадцатых числах октября в ясный солнечный день с той горы, с которой я недавно спустилась, как горох посыпались серо-зеленые мотоциклисты. Быстро и бесшумно оцепили они городок со стороны, противоположной Оке.

И сразу вся Таруса закишела немцами. Они входили в дома, устраивались на постой. Я спряталась с детьми в темной части комнаты за печкой. Для объяснения с немцами выходил отец. Он был сильно глуховат и плохо говорил по-немецки, но кое-как объяснялся с захватчиками. К счастью, отряды немцев не останавливались у нас на ночлег на длительное время. Только один раз у нас ночевал небольшой отряд вместе с офицером, и рано утром все ушли. Всю ночь офицер ворочался

на голых досках и сыпал в темноте отборными ругательствами по адресу постелей. Постели — по его словам — всегда отражают культурный уровень населения. Если жители спят, как скоты, то и сами подобны скотам. Это обвинение не могло к нам полностью относиться. Мы были приезжими, спали на старых постелях, полученных от хозяев, ничего лишнего у нас не было, не хватало самого необходимого.

В первые недели нашего плена мне мало приходилось видеть немцев. Я совсем не выходила днем на улицу, даже в сад. Днем по улицам никто не ходил. Жители спрятались, кто куда мог. Непонятно было, как живут люди. Не видно было ни огня, ни дыма из труб. Крадучись, пробирались в сумерках к соседям, стараясь услышать от них новости, что-то достать. По слухам, немцы все время двигались куда-то, прибывали небольшими отрядами в разное время. Некоторые отряды только ночевали ночь и уходили дальше. Все носило какой-то случайный, преходящий характер. Может быть, немцы скоро совсем уйдут из Тарусы?

На другом берегу Оки, километрах в пяти от Тарусы, по слухам, стояли *русские*. По мере того как немцы подходили, русские били по ним с того берега, не щадя ни мирных жителей, ни домишек Тарусы. Сколько раз, когда я задами улиц, по чужим садам и огородам пробиралась к домику Александры Петровны, чтобы проведать ее, чем-то помочь, совсем близко падали тяжелые снаряды или раздавался зловещий вой мин. Тяжелые снаряды с того берега падали и в наш огород, и на нашу улицу. Немало окрестных домов было разрушено. Но наш домик уцелел.

Как мы жили это время? Стало очень холодно. Хочешь, не хочешь — приходилось пробираться на опушку за хворостом и поздно вечером топить печку. Ведь началась зима. Снега настоящего еще не было. Но морозы сразу грянули градусов в 20.

Хочешь, не хочешь — приходилось в сумерках ходить за водой. Наша улица была далеко от центра, ближе к лесу. Вся наша сторона — так называемый «Порт-Артур» — была на высокой горе. Колодцы были на каждой улице, но воды в них было мало и вода была не годна для питья. За питьевой водой приходилось ходить километра за полтора вниз под гору, где били сильные ключи. Каждый раз, идя за водой, мысленно прощалась со своими, не зная, приду ли домой.

Безопаснее всего было ходить рано утром и совсем поздно вечером, когда стихала стрельба.

Как-то утром, когда я начала уже спускаться с горы с ведром в руках, вдруг прямо над моей головой, совсем низко, сшиблись два самолета — немецкий и русский. Один строчил в другого из пулемета, на дорогу сыпались пули, как град. Я растерялась от неожиданности и стояла под ними совсем беззащитная, не пытаюсь убежать. Но так силен в человеке инстинкт самосохранения, что я, сама не отдавая себе отчета, вдруг села посреди дороги и надела себе на голову пустое ведро! Но самолеты уже упорхнули, как две гигантские стрелы, и только когда я подошла к колодцу, налетели опять и подняли стрельбу. Тогда уж не я одна, но все женщины, пришедшие к колодцу, легли ничком на землю, прижимаясь к срубам.

Местные жители как-то существовали собственными запасами, в основном питаюсь урожаем огородов. Но нам, приезжим, вскоре пришлось плохо, очень плохо. Запасов у нас не было, огорода тоже. Мы питались прежде тем, что покупали на базаре. Но с приходом немцев никаких базаров не стало, деньги потеряли цену. Купить что-либо было совершенно невозможно. Помню, что мы каким-то чудом уговорили какого-то крестьянина променять мешок ржи на старый дедушкин пиджак. Ночью он принес нам эту рожь. Мы мололи ее, тоже по ночам, на кофейной мельнице и пекли пресные лепешки. Но больше ничего не было. Александра Петровна делилась с нами, чем могла, но и ее запасы подходили к концу.

В начале ноября наступило какое-то затишье. Немцев совсем почти не было видно. Жители стали смелее выходить из домов, заходить друг к другу, делиться горем и надеждами. Мы с детьми чаще стали ходить в лес за хворостом. Как-то под вечер мы вдруг увидели русский самолет, он медленно летел, словно кружась над городом. И вдруг, как снег, полетели и закружились какие-то белые бумажки и понеслись далеко, к Оке! Потом мальчишки разыскали несколько таких «бумажек». Это были русские советские листовки. Помню, как мы обрадовались этому самолету! Дети протянули к нему руки, точно прося захватить нас с собой! Самолет покружился немного, словно купаясь в лучах заходящего солнца, и улетел. А мы — остались.

И с каждым днем становилось все хуже и хуже. Морозы все крепчали. Ледяная стужа сковывала землю. Голая земля трещала от мороза.

Немцы стали опять прибывать, все большими и большими отрядами. На улице, за окном часто слышалась немецкая речь. Часто стучали сапогами в дверь, кричали, чего-то требовали. Я по-прежнему пряталась в темной комнате и старалась не подавать вида, что понимаю по-немецки. Выходил отец, что-то пытался объяснить немцам, доказывал им, что мы — приезжие, что у нас самих нет ни хлеба, ни картофеля, ни теплых вещей. Кто-то из соседей сказал нам, что в местном совхозе на берегу Таруски в поле остался весь урожай овощей — и картошка осталась в земле, и капуста стоит на грядках. Правда, все давно замерзло, но снега еще нет, достать можно. Начались мои хождения на поля этого совхоза.

Шла на утренней заре, почти в темноте, пробираясь окольными путями, мимо складов на берегу реки. Облегченно вздыхала, когда наконец доходила до поля. Там было сравнительно тихо. В этих походах я обычно бывала не одна. Находились и другие, такие же голодные, которые вместе со мной долбили замерзшую в камень землю, стараясь достать картофель. Капуста стояла на грядках. Нужно было только срубить ее. Была еще очень хорошая брюква, даже от мороза не потерявшая вкус. Добыча складывалась в мешки в кустах, только в вечерних сумерках мы решались пускаться в обратный путь.

На совхозном поле слышна была обычно только отдаленная стрельба. Но однажды над нашими головами что-то загудело, раздались звуки выстрелов, из нашего самолета, подбитого немцами, черным столбом вырос дым, а самолет рухнул на поле неподалеку от нас. Мы все застыли, онемели. Было так грустно от чувства своей полной беспомощности, так больно за нашего погибшего летчика. Мы спрятались в кустах и украдкой следили, как подбежавшие немцы копошились около обломков.

Во время этих страшных вылазок на совхозное поле я познакомилась с людьми, которые показались мне еще несчастнее, чем мы сами. Это были жены актеров калужского театра. Они бежали из Калуги вместе с детьми и стариками в момент вступления немцев. Мужья их были на трудфронте, далеко от Калуги. Женщины ушли с детьми на руках, почти без вещей, шли в сторону Серпухова, надеясь спастись от врага. Но немцы нагнали их неподалеку от Тарусы и повели с собой в город.

Теперь эти женщины жили в пустом холодном доме. Дети заболели. Есть нечего. Единственным спасением им казалось — вернуться обратно в Калугу, где остались какие-то вещи и были знакомые. Но это было невозможно. Немцы как огня боялись русских партизан, всякий проход и проезд жителей по дорогам был строжайше запрещен. Только в особых случаях выдавались пропуска. О получении такого пропуска и мечтали бедные женщины.

Но и тут не все было так просто. Пропуск можно было получить у немецкого коменданта. А даст ли он пропуск? Только из разговоров с этими женщинами я и узнала, что в Тарусе есть немецкий комендант, наблюдающий за порядком в городе. Мы сами жили в такой отдаленной части Тарусы и так мало выходили из дома, что нам не пришлось еще слышать об этом.

При дальнейших расспросах оказалось, что этот комендант временный. Он — командир немецкого полка, с неделю назад разместившегося в Тарусе. Этот комендант не ввел пока никаких особых порядков. Не слышно было ни о расстрелах, ни о жестоких расправах с жителями. По слухам, он вскоре собирался покинуть Тарусу. Но, пока он еще здесь, к нему можно обращаться с просьбами, например, с просьбой о пропуске. Беда только в том, что при коменданте находится русская переводчица, пользующаяся очень дурной славой. Она — бывшая учительница немецкого языка в тарусской школе.

Пришла ли она на работу к коменданту добровольно или по принуждению — неизвестно. Но про ее «работу» ходят странные слухи. Будто бы она сводит счеты со всеми, кто неугоден ей, и, когда какие-то жители приходят с просьбой о выдаче пропуска в лес — за дровами или на мельницу, — она «переводит» коменданту такие вещи, что просителя постигает большая неприятность, если не сказать хуже. Ее боялись как огня, стали даже избегать заходить в комендатуру с просьбами и жалобами.

Обо всем этом мне рассказали на совхозном поле бедные женщины, мечтавшие о пропуске для возвращения в Калугу. Я не помню, как они узнали, что я свободно говорю по-немецки. По-видимому, мне пришлось в их присутствии как-то объясняться с немецким часовым, намеревавшимся отобрать у нас наш груз мороженых овощей при возвращении с поля. Знаю только, что они просили меня пойти с ними к коменданту в

роли переводчицы, пойти не в комендатуру, а на квартиру в вечернее время, когда переводчицы около него не будет.

Помню вечер, когда мы собрались идти к коменданту. Родители мои знали, куда я собираюсь, но не придали этому особого значения и не отговаривали меня. Я надела мамину старую шубу, замоталась платком, и мы пошли. Вечер был холодный и ясный. Настоящая зима, но еще без снега. Уже смеркалось, когда мы подошли к дому, где жил комендант. Часовой остановил нас и спросил о причине нашего прихода. Вызвал потом помощника, а сам пошел наверх, доложить полковнику.

Когда нас ввели в комнату, полковник ужинал с другими офицерами. Я в кратких словах передала на немецком языке просьбу моих знакомых о пропуске для возвращения в Калугу. Комендант ответил, что он все проверит и известит просителей о своем решении.

Через два дня пропуск был получен, и мои знакомые ушли в Калугу.

А за мной комендант прислал солдат, которые должны были привести к нему «женщину, которая говорит по-немецки». Солдаты привели меня в комендатуру в вечернее время, в отсутствие *той* переводчицы.

Полковник Вальтер сообщил мне, что на днях покидает город, а на смену ему приезжает другой комендант, находящийся сейчас в Калуге. Этот новый комендант будет иметь «более широкие полномочия» и должен будет установить «твердый режим жизни» граждан города. Новому коменданту нужна хорошая, добросовестная переводчица, и он считает, что я подойду для этой работы. Отказываться он мне *не советует*. Стоят уже большие холода, надвигается долгая суровая зима; он думает, что я «дорожу жизнью своих малолетних детей и стариков родителей» и не захочу, чтобы их выгнали на улицу, когда многих жителей города вскоре будут выселять из Тарусы при укреплении линии фронта. Он *советует мне подумать*.

На этом разговор был окончен. Через несколько дней приехал новый комендант Тарусы — старший лейтенант Вальтер фон Поттхаст. 22 ноября за мной опять пришли солдаты и привели меня в пустую комендатуру. Вскоре я стояла перед очень высоким, очень тонким и бледным молодым человеком в военной форме. Волосы у него были рыжеватые, того оттенка спелой ржи, который часто встречается у немцев... Пенсне на цепочке... Необычайно тонкие бледные руки с длинными паль-

цами... На среднем пальце блестит золотое обручальное кольцо... Пальцы в быстром нервном движении, будто лейтенант счищает пылинки с обшлага мундира, какую-то невидимую для других грязь. В движении пальцев чувствуется что-то крайне брезгливое, но в то же время кажется, что из кончиков пальцев непрерывно бегут какие-то нервные токи...

Вот что я увидела, молча стоя перед комендантом. Он тоже молчал и словно старался рассмотреть не только меня, но и мою душу. Наконец он сказал, что слышал обо мне от полковника Вальтера и хотел бы использовать мои знания немецкого языка для объяснений с *местным населением*, которое будет приходить в комендатуру. Ни для каких иных целей он моими услугами пользоваться не собирается, у него есть еще и военный переводчик. Я получу пропуск и должна буду сама приходить рано утром в комендатуру и находиться там до наступления темноты.

Солдаты отвели меня обратно, так как пропуска у меня еще не было. Я шла по тихим улицам Тарусы среди бела дня в сопровождении двух солдат, ловила взгляды случайных прохожих, даже встретила кого-то из соседей, с удивлением и страхом глядевших на меня. Я шла и думала о том, что со мной случилось. На душе у меня было тяжело, очень тяжело. Я чувствовала себя мухой, попавшей в липкую паутину. Теперь ей уж не уйти от паука, спасения нет! Жалость к старикам и детям привела меня в Тарусу, удержала здесь, эта же жалость не позволит мне и теперь уклониться от пути, на который я вступила невольно, но сойти с которого теперь уже невозможно! Честнее мне было бы уйти туда, к тем партизанам, которых я не знала, но которые, несомненно, прятались где-то в лесах, к тем партизанам, которых так боялись немцы. Но руки мои связаны. Не страхом за себя, а жалостью к беспомощным старикам и детям. Даже теперь, когда мы еще жили под теплой кровлей и кое-как перебивались с едой, отец, закутанный в старые платки, поживаясь, садится в кресло к окну и, когда никто не видит, запускает руку в шкаф, где когда-то лежало продовольствие и, может быть, еще завалилась корочка хлеба! Что же будет, если детей и стариков выгонят на улицу, а меня совсем угонят из этих мест, как немцы иногда угоняют жителей? Что мне делать, чтобы помочь беспомощным существам, но при этом не потерять совесть, не стать предателем?

Вот что думалось мне в тот злосчастный день и во все последующие дни работы в комендатуре.

Ранним утром, в белых зимних сумерках, пробиралась я по занесенным снегом улицам на работу. Комендатура помещалась в большом двухэтажном доме, на другом конце города. Дом был пустой и гулкой, как сарай. Приемная комната находилась наверху. Она была почти совершенно пустая. Только у окна стоял небольшой стол, за которым я сидела. Люди приходили не часто, обычно с самыми простыми просьбами — дать пропуск на мельницу, в лес за дровами. Но бывали и жалобы на солдат, зарезавших последнюю курицу или угнавших теленка.

Комендант не понимал по-русски. Он слушал слова просителя, слушал мой перевод и испытующе вглядывался в наши лица, стараясь каким-то чутьем проверить истину наших слов. Решал дела быстро, неизменно призывая солдат к порядку. Однако держать их «в порядке» было уже довольно трудно! Холода наступили страшные, а армия была в *летней форме*. Как ни натягивали пилотки на уши, как ни подтягивали шинели, часто бывали случаи обмороживания, и не одного только лица, конечно.

Солдаты непрерывно грабили население. Отнимали все, что могли: продукты питания, кур, гусей, теплые вещи, даже дамское белье и детские игрушки. Большинство вещей использовали сами, нацепляя на себя дамские меховые воротники и шали, прожирая все добытое съестное; но многие из вещей посылали в посылках домой — игрушки, дамские вещи, даже продукты.

Офицеры смотрели на все сквозь пальцы, стараясь подержать хоть внешнюю дисциплину. Но и это все труднее становилось делать. Ведь даже продовольствие немцам подвозили редко. Скучный паек подкреплялся непрерывными «полнениями» из запасов местных жителей.

До моей работы в комендатуре я мало что видела и слышала, так как больше пряталась в темном углу за печкой и редко ходила к соседям. Но даже тогда мы не могли не видеть некоторых фактов. Как-то еще в самом начале нашего плена, когда дороги были залиты грязью и еще не ударил первый мороз, к нам в дом ворвался молодой немецкий солдат. Ударом сапога он чуть не вышиб дверь и начал осыпать ругательствами мою мать, возившуюся у печки. Мать с удивлением смотрела на солдата, не понимая ни слова. Солдат

требовал, чтобы она немедленно отчистила его шинель, до воротника забрызганную грязью. Полы шинели были совершенно мокры. Он кинул шинель на стул, пригрозил, что расправится по-своему, если через полчаса шинель не будет вычищена, и так же шумно захлопнул за собой дверь.

Мне было очень жаль мать. Я вылезла из-за печки и принялась за чистку. За этим занятием меня и застал молодой солдат. Я что-то сказала ему по-немецки и отдала шинель. Он удивленно взглянул на меня, поблагодарил и ушел. Через несколько дней он пришел опять, принес на этот раз рваную гимнастерку и белье. Белье нужно было выстирать, а гимнастерку починить. Все было черно, как земля, и полно вшей. На этот раз солдат не ругался, но глядел довольно мрачно и цедил слова сквозь зубы. Он уже не обращался к матери, а прошел в комнату и отыскал меня.

На следующий день он появился поздно вечером, вошел в кухню, где сидела вся наша семья, и бросил на стол большой кусок сырого мяса, который принес за пазухой. «Бомбой убило хорошую лошадь, все солдаты налетели на нее, как воронье. Вы, наверное, голодны,— сказал молодой солдат.— Не брезгуйте, зажарьте. Мясо свежее». Я поблагодарила и спросила, как его зовут. «Меня? Курт Гудериан»,— был ответ. Позднее я узнала, что он племянник немецкого генерала танковых войск Гудериана. Курту было всего 18 лет. Он учился во Франкфурте-на-Майне в Торговой школе, не кончил, ушел на фронт. Дома остались мать и сестры.

Как-то, неделю спустя, Курт пришел рано утром, до рассвета. Он принес за пазухой большую белую курицу. Курица была живая и захлопала крыльями. Я стояла на пороге дома, Курт — на входной лестнице, несколькими ступенями ниже. «Зачем вы принесли эту курицу?» — спросила я испуганно. «Зажарьте ее,— сказал Курт.— Только скорей, чтобы никто не видел!» Увидев мое испуганное лицо, он болезненно сморщился, потом с отчаянным выражением лица свернул курице шею. Кровь брызнула на ступеньки. Потом мне пришлось долго отмывать эти пятна!

Курт стал иногда приходиться по вечерам просто так. Посидеть с нами. Очень смешно было смотреть, как он устраивался за один стол с маленькой Алей и с серьезным выражением лица писал ей на листе бумаги немецкие буквы и целые слова, а Аля писала ему русские. Он особенно дружил с Алей, хотя и не мог с ней разговаривать. Разговаривать, конечно, он мог

только со мной и иногда вполголоса рассказывал мне о товарищах, о том, что сегодня удалось достать на обед, как холодно было в поле. Как-то раз он признался мне, что я напоминаю ему мать. Приходил он довольно часто, но не всегда говорил со мной. Иногда меня еще не бывало дома, и он сидел и дожидался моего возвращения из комендатуры.

Несколько раз наедине он рассказывал мне очень странные вещи, о которых обычно не говорят. Рассказывал, как холодно и страшно лежать на передовой, замаскированному снегом. А потом на тебя падают убитые; лежать под ними безопасно, но жутко. А лежать приходилось долгими часами. Рассказал, как ему в первый раз пришлось убить человека, заколоть штыком, как штык глубоко вошел во что-то мягкое. Об этом никому нельзя говорить из своих. Но воевать страшно и жестоко.

Такова была наша странная дружба, так не по-обычному начавшаяся. Курту было 18, мне 35. Мы, по сути, были врагами. Я чувствовала, что он воспитан совсем не в «социалистическом» духе, что он заносчив и груб. Но в его мальчишеской душе где-то пряталась тоска по матери. А я чем-то напоминала ему мать. И в краткие минуты наших встреч он был со мной откровенен, и искорка душевного тепла придавала ему человечность, согревала сердце, спрятанное под зеленой немецкой шинелью.

Попав на работу в комендатуру, я увидела немало молодых солдат, слушала иногда за стеной дежурной комнаты в тишине пустой комендатуры их нескончаемые разговоры, шутки, смех — в те часы, когда комендант уезжал куда-нибудь и в доме было тихо. Но сама я во время дежурств в комендатуре не разговаривала с солдатами, и они остерегались говорить со мной. Я была «чужая», не внушающая доверия и в то же время — лицо официальное, близко стоящее к коменданту, поэтому они остерегались распускать в моем присутствии языки.

Я приходила в комендатуру рано утром, уходила домой в сумерки. Посетителей приходило немного. Я часто сидела одна и смотрела в окно на занесенную снегом улицу. Деревянные стены дома трещали от мороза. Сапоги солдат гулко стучали по полу первого этажа. Комендант часто уезжал куда-то. Даже когда он бывал дома, он не всегда выходил в приемную. Нередко я слышала, как он разговаривал по телефону с генералом, который откуда-то вызывал его. Фамилии генерала я не знала. «Hier spricht Potthast!» — кричал комендант в трубку.

Услышав голос генерала, он весь вытягивался, словно готов был отдать ему честь. Делался ярко-малиновым и непрерывно кричал в трубку: «Jawoll, mein General! Jawoll, mein General!» — как будто воочию видел генерала и хотел выразить ему все почтение, которое он ощущал перед ним. Культ «фюрера» внедрил преклонение перед всеми вышестоящими чинами. Когда офицеры бывали среди равных, разговор их был совершенно другим, весьма вольным. Я не часто видела немецких офицеров, но иногда они приезжали из окрестных деревень на какие-то совещания. Меня комендант тогда немедленно отпускал домой, но, пока они съезжались, я видела отдельные лица и слышала обрывки разговора. Они, по-видимому, считали меня человеком низшей расы, какой-то мебелью в доме коменданта и не стеснялись в выражениях. Все сравнительно молодые, некоторые как будто культурные, но большинство — невыносимые позыры, кичившиеся своей военной выправкой и считавшие себя «венцом творения». Помню одного маленького офицера с громадным лисьим воротником, видимо, оторванным от женской шубы, и с маленькой таксой на длинной цепочке. Недоставало только тросточки и цилиндра!

Офицеры сыпали довольно крепкие ругательства по адресу дикой страны, бездорожья, морозов и особенно склоняли на все лады «die russische Schweine», презреннее которых для них, кажется, ничего не могло быть.

Солдаты по виду были лучше, хотя близко с ними я не познакомилась. Все они были очень молоды, в среднем от 20 до 25, не старше, хорошо физически развиты, красивы в своей массе. Варьировалось два типа — золотистые блондины и жгучие брюнетки. Конечно, и солдаты тоже относились к русскому населению презрительно, считали свою культуру значительно ценнее, свысока глядели на плохо одетых, запуганных жителей, на маленькие домики, занесенные снегом. Хвалились, что у них на родине даже в коровниках проведена теплая вода и есть электричество. А здесь — одна баня на весь город, нет ни воды, ни света. Армия погибает от вшей.

Когда-то, в первые дни вступления немцев в Тарусу, я не могла отделаться от чувства, что это немцы «не настоящие», не живые; мне казалось, что они сошли со страниц военных журналов, на которые я в свое время насмотрелась до тошноты, я знала все детали немецкого снаряжения. Мне казалось невероятным, что среди такого чисто русского пейзажа, среди

белоснежных берез Тарусы могли спокойно разгуливать за-
клятые враги!

Теперь эти нереальные фигуры облеклись в плоть и кровь, ожили, заговорили каждый на своем наречии, то саксонском, то баварском, то «Plattdeutsch» (нижнегерманском). Но все-таки они и теперь казались странными. В разгар зимних холодов они утратили свою стройную выправку, строгость военной одежды и не стеснялись напяливать все украденные у населения теплые вещи! Казалось, что перед тобой не завоеватели, не немцы, а французы 1812 года, бегущие из-под Москвы.

Но из-за спины этих фантастических фигур выглядывали другие, еще более странные и чудовищные лица. Когда я сидела «за печкой», я не подозревала об их существовании, я не видела, что начинает твориться в городе. Но теперь, во время работы в комендатуре, у меня на многое открылись глаза. В первые дни прихода немцев все жители Тарусы казались одинаково напуганными, одинаково ненавидящими немцев. Все прятались, старались только не попасться на глаза! Но вскоре некоторые из жителей как будто «по необходимости» начали как-то договариваться с немцами, вступать с ними в какие-то взаимоотношения. Некоторые быстро входили в доверие. На каждой улице из местных жителей был назначен «полицай», который составлял список жителей своей улицы и следил за их поведением. (Эти «полицаи» потом составляли также списки на получение хлеба из местной пекарни, когда она заработала.) Местные интеллигенты хотя и сильно боялись немцев, но старались заполучить к себе в дом немцев «почище» — то есть офицеров, и проявить перед ними свою культуру.

В Тарусе в то время жили скульптор Крандиевская с детьми, артистка Н. Л. Смирнова, С. В. Герье и другие. У всех жили на квартире офицеры. Одна Александра Петровна Снегирева долго мерзла в своей летней мансарде в полном одиночестве, пока сама не перешла на квартиру к соседям.

Однако симпатии к «культурным» немецким офицерам и добрые с ними отношения были еще не самым страшным «грехом» тарусских жителей. Страшнее всего было пробуждение русской махровой черносотенщины. Как в сырости и в плесени заводятся мокрицы, сороконожки, пауки, так и в Тарусе вдруг появились странные существа, которые таились где-то до этого времени или носили прежде совершенно менявшую их личину. В городе появился русский «городской голова», из каких-то ранее репрессированных. Был он уже немолод, грузен и крив

на один глаз. Чрезвычайно набожен и раболепен перед немцами. В его «городском управлении» сидела своя переводчица для сношения с немцами — та самая учительница, которая прежде работала у коменданта Вальтера. Я видела этого «городского голову», когда он сам приходил к коменданту или комендант посылал меня в «городское управление». Но я достаточно слышала о широких планах этого «государственного мужа», которых ему не удалось, однако, осуществить в Тарусе. Он предполагал возродить все давно похороненные порядки царского режима. Так как ему самому, видимо, недоставало технических знаний и культуры, он сумел приблизить к себе одного москвича, прибывшего в Тарусу перед вступлением немцев с женой и дочерью. Этот москвич — инженер Смирнов, которого я встречала у общих знакомых еще в первые дни своего прихода в Тарусу, — был, на первый взгляд, существом в каком-то отношении «бесхребетным». Казалось, что он так напуган войной, что готов на что угодно, только бы спасти свою шкуру. Он еще больше растерялся, когда жену и дочь его постигло страшное несчастье. Они жили у родных в домике, стоявшем на самой опушке леса. Снаряды туда обычно не долетали. Но однажды жена и маленькая дочь этого инженера сидели в комнате у глухой задней стены дома. Снаряд попал в эту стену, расщепил ее, и воздушной волной женщину и девочку сбросило со скамейки на пол; осколки пробили им спины. У девочки обнажилось одно легкое, у матери пробило грудь на вылет, и в эту рану набились щепки и мусор. В груди у нее что-то непрерывно хлопотало и вылетали частицы отмерших тканей.

Я не раз навещала ее, даже приводила потом к ней проезжего немецкого хирурга. Он сказал, что в первый раз в жизни видит, чтобы люди с такой раной могли прожить хотя бы один час. А женщина пережила немцев, после их ухода была доставлена машиной в Москву и вылечилась, так же как и девочка.

Так вот, этот инженер Смирнов после несчастья с женой и дочерью возненавидел русских «с того берега Оки», от снаряда которых пострадала его семья, и начал устанавливать все более тесные связи и с немцами, и с их верными приспешниками, «более католическими, чем римский папа», — с городским головой и его кликой. Смирнов составлял какие-то чертежи и сметы по перестройке зданий и сооружению каких-то укреплений в Тарусе. Он постоянно ходил вместе с городским

головой по городу, они что-то замеряли и осматривали. Конечно, их деятельность, видимо, этим не ограничивалась; еще важнее для них было искоренение всего советского и внедрение антисоветского. Более подробно я сейчас об этом рассказать не могу, мне не хватает фактического материала. Вид их наполнял меня такой ненавистью, словно предо мной воскресало темное царское прошлое, знакомое мне только по рассказам. *Эти* не погнушались бы ничем, только бы упрочить свое «темное царство»! По сравнению с ними многие немцы могли бы показаться «людьми». Например, комендант Вальтер фон Поттхаст за краткий период пребывания своего в Тарусе произвел на меня впечатление человека, по необходимости одетого в военный мундир, но не изменившего своим идеалам человечности, культуры...

Правда, и он был офицером армии захватчиков, нагло вторгшихся в чужую страну, но не потерял какого-то уважения к людям и обычаям этой страны. Он запомнился мне как человек очень гуманный, тонкий, честный. Как-то раз, когда я еще работала не больше недели, комендант под вечер позвал меня в соседнюю комнату. Было сумрачно, за окном валил снег. Он подозвал меня к окну и, оглядываясь, не идет ли кто, негромко сказал: «Вот, отнесите это детям!» — и сунул мне в руку какой-то сверточек. Я развернула этот сверточек только дома. Там был его офицерский паек — шоколад, какое-то масло, сахарин и что-то еще. Зачем он дал мне это? Чтобы подкупить меня? Сделать своей верной слугой? Не знаю, мне показалось, что просто из человеческой доброты, потому что и у него дома тоже были двое детей.

Как-то раз комендант попросил меня задержаться подольше вечером. В обеденный перерыв я предупредила домашних, что вернусь позже обычного. Когда углы большой комнаты совсем потонули во мраке и только чуть серело незавешенное окно, комендант пригласил меня в дальнюю комнату. Там ярко горели дрова в большой печи, было тепло и светло. На столе дымилось блюдо горячей картошки, лежал творог, большие ломти черного хлеба. За столом сидел Вальтер фон Поттхаст со своими «адъютантами». Пригласили и меня. Я старалась сделать вид, что совсем не голодна, но картошка и соленый творог казались мне необыкновенно вкусными. Когда ужин окончился, мы остались вдвоем с комендантом. «Знаете, я хочу просить вас о большой услуге, — начал Вальтер фон Поттхаст. — Научите меня немного русскому языку. Ведь я не знаю

ни слова по-русски». Просьба была довольно понятна и облечена в очень мягкую форму. Но я была сильно расстроена. Это было еще новой ниточкой паутины, оплетающей меня. Конечно, Вальтеру очень пригодилось бы знание русского языка. Но нелегко *мне* было учить его, вкладывать ему в руки оружие, которое он смог бы обратить против русских!

Уроки наши начались. Ученик был очень способным. По образованию он юрист. Родом из Страсбурга. Там у него остались жена и дети. Было ему 33 года. Он немало знал, немало видел и своей культурой превосходил других офицеров. После уроков мы иногда разговаривали. О чем? Ни о чем особенно. О том, что было до войны, что хотелось вспомнить. Негг Walter, как я его называла, иногда говорил и об окружающем, о стране и о людях. Он говорил, что ему очень неприятно, что он так и не смог еще увидеть настоящей России и настоящих русских. Все бежит, все прячется, все горит. Остаются одни скоты! Большинство людей и выглядят не так, как в Германии, все на вид старше своего возраста. «Только вы одна не такая, — сказал он как-то. — Вы настоящая».

Эти вечерние занятия в комендатуре окончательно придали мне в глазах жителей Тарусы вид человека, полностью продавшегося немцам! Меня, по-видимому, многие стали опасаться не меньше, чем в свое время ту учительницу, хотя как будто я не причинила никому вреда и переводила не во вред просителю! Зато интеллигентные дамы, тяготевшие к немецким офицерам, охотнее стали приглашать меня к себе! Но ходить по гостям мне теперь было некогда, да и не тянуло меня в ту пору к таким «интеллигентам». Помню все же, как одна москвичка зазвала меня однажды в дом, где квартировал немецкий майор, обещая показать невиданное и чрезвычайно интересное зрелище. К майору собралось много товарищей. Двери и окна комнаты плотно закрыли. Но в стене у хозяев была небольшая щель, и все пришедшие, тихо сидевшие в темноте хозяйской комнаты, поочередно припадали к щели, пытаясь одним глазом заглянуть в слабо освещенную комнату майора. Там горело несколько свечей в странном подсвечнике, напоминавшем рога тура. Перед этим подсвечником стоял майор и громко произносил слова какой-то непонятной клятвы в верности.

Оказалось, что это была весьма обыкновенная у немцев в военное время церемония «*Ferntrauung*» — то есть заочного венчания. Солдат, отправляясь в бой, мог заочно обвенчаться со

своей невестой, находящейся в Германии, которой потом по почте присылали обручальное кольцо. В случае смерти «заочного мужа» такая «жена» могла получать пенсию за убитого.

Вспоминается мне еще одна церемония, принятая в немецкой армии, на которой мне тоже пришлось присутствовать. Как-то вечером, когда я пришла на урок, комендант сказал, что заниматься он сегодня не может, но если я не против, то он проведет меня в один дом, где собрались солдаты для того, чтобы послушать радиопередачу из Германии. Я оделась, и мы быстро пошли по темным улицам. Вошли в какой-то дом, в большую, тускло освещенную комнату. Там было много солдат — кто сидел на скамейках, на стульях, на полу, кто стоял у стен. Солдаты посторонились, уступая место лейтенанту и мне. Мы сели тоже молча в ожидании радиопередачи.

Слушали речь Гитлера. В комнате было так тихо, будто там было несколько человек, а людей набилось до отказа. Под конец стояли стеной. Какое-то напряженное внимание охватывало всех, слушающих голос фюрера. Этот глухой, слабо слышимый голос, казалось, наделен был какой-то гипнотической силой! Содержания речи я не помню. Были какие-то слова о его высокой миссии, о великой цели, к которой он ведет свой народ ценой великих испытаний и жертв.

Тихо собрались, так же тихо расходились. Никто не делал никаких замечаний, казалось, что выходят из церкви после богослужения... Было очень поздно. Комендант сам проводил меня до дома. Вел меня под руку. У ворот дома он остановился, молча поклонился и пошел обратно. Мне показалось, что в ту минуту кто-то выглянул из соседнего дома и снова спрятался.

На следующий вечер, когда пришло время урока, Herr Walter вышел на цыпочках в соседнюю комнату, прошелся кругом, заглянул в заднюю темную комнату. Прислушался к громкому смеху солдат в нижнем этаже. Затем плотно закрыл дверь и шепотом сказал: «Вчера я хотел показать вам нашу жизнь. Сегодня я хочу попросить вас рассказать мне кое о чем. Я давно хотел попросить вас об этом... Я знаю, что я *ничего* не знаю о вашей жизни, ничего не знаю о России. Все, что говорят и пишут у нас, все это ложь. Но где правда? Мы живем, как за железной стеной. Расскажите мне о вашей стране. Расскажите мне о том, как вы живете, как учитесь, как работаете. Как это все было до войны и, может быть, будет опять. Расскажите мне о музеях, о картинах, о музыке, о книгах. Расскажите мне о Ленине».

Я рассказывала долго. Рассказывала, как умела. О том, как стали жить после революции, как работали, как строили, как учились. Как я писала диссертацию о том, чьим именем назван университет в Берлине, — о Вильгельме фон Гумбольдте.

Я рассказывала несколько часов. Было уже очень поздно. Наконец Вальтер вздохнул и с невыразимой тоской сказал: «Боже мой! Когда же кончится этот ужас?! Эта страшная бойня! Неужели же не наступит время, когда я смогу свободно приехать к вам в Москву — как гость! И вы поведете меня всюду и покажете все-все — музеи, лучшие ваши картины, театры, спортивные праздники... Неужели мы не доживем до этого счастливого времени?»

Мне остается не так много рассказать о времени, которое так уже далеко, о тех людях, которые вряд ли остались в живых. Сколько раз я потом вспоминала этот разговор. И мне иногда казалось — вдруг Вальтер фон Поттхаст придет *теперь* в Москву как турист или член какой-нибудь дипломатической миссии... И увидит, что мечты его во многом сбылись. Но я так и не знаю, на какой берег вынесла его волна событий, бушевавших в те страшные годы...

В декабре в Тарусе стало тревожно. Гул орудий за рекой делался все сильнее. В городе опять начались разрушения. Случалось, что кто-то уходил ненадолго из дома, ну, скажем, за водой, а по возвращении не находил ни дома, ни домашних, одни развалины.

Помню случай, который теперь может показаться даже смешным: одна старушка только что вошла в свой ветхий домик с ведром воды в руках. В это время неподалеку упала бомба и взрывной волной домик перевернуло вверх дном. Старушка застряла в дверях головой вниз, ногами кверху и висела так, пока ее не вытащили, еще живую!

В Тарусу прибывали новые воинские части немцев. Старые уходили куда-то. Иногда слышался вдали какой-то особый звук, не похожий на обычный гул орудий. Жители говорили, что у русских появился новый, страшный огонь невиданного прежде орудия, что немцы смертельно боятся этого огня.

Не меньше любого огня немцы боялись холода. Морозы все крепчали. словно сама русская природа встала на защиту родного края. Температура стала опускаться до минус сорока

градусов. Утром иногда трудно было дышать на морозе. Воздух словно обжигал.

Как-то ко мне домой прибежал незнакомый молодой солдат и передал, что с Куртом случилось несчастье. Он отморозил обе ноги. Лежит и стонет, почти без памяти. А транспорта нет, отвезти его в госпиталь не на чем. Я побежала в комендатуру, надеясь выпросить у коменданта лошадь.

— Kurt! Ach, mein Kurt! — невольно повторяла я на бегу. Комендант сначала ничего не мог понять. Потом все-таки послал куда-то дежурного. Вскоре приехал солдат на санях. Поехали за Куртом. Я помогла получше уложить его на сено, закрыть одеялами. Гладила его по щеке, утешала, что все будет хорошо. Сани тронулись. Я махала вслед рукой, хотя Курт и не мог больше меня видеть. Услышать о дальнейшей судьбе его мне не пришлось.

Была уже середина декабря. Несмотря на тревожное настроение, немцы начали поговаривать о Рождестве, о елке, о самом дорогом своем празднике. Но никакой елки в Тарусе у них не получилось.

17 декабря 1941 года совсем в темноте за мной прибежал солдат и велел немедленно бежать в комендатуру. Было часов 6 утра, когда я туда прибежала. В декабре это еще совсем ночь.

В комендатуре хлопали двери, по всему дому слышны были тяжелые поспешные шаги, казалось, несли что-то тяжелое. Я ничего сначала не могла понять. Вальтер встретил меня в коридоре, одетый, как для далекого путешествия, и повел в задние сени, где я прежде никогда не бывала, к внутреннему выходу во двор. У стены стояло два больших мешка с зерном.

— Вот эту рожь я оставил для вас. Перенесите как-нибудь домой. Мы отступаем. Я не предлагаю вам ехать вместе с нами. Я знаю, что вы на это никогда не согласитесь потому, что вы русская. Но знаю также, что лично вам очень плохо будет после нашего ухода. Скажите же им, я прошу вас об этом, скажите, что я *силой* принудил вас... (Sagen Sie ihnen dass ich Sie dazu *gezwungen* habe...) Прощайте.

Через несколько минут никого уже не осталось. Машины отъехали от двора. Я стояла одна в пустой комендатуре. Было 7 часов утра. Еще не рассвело. Я еле могла подвинуть мешки, такие они были тяжелые. С величайшим трудом выволокла я их на пустой двор. Потом за ворота, к оврагу. За двором комендатуры был глубокий овраг, разделявший город на две

части. Наш дом был по ту сторону оврага. Обычно я делала далекий обход, через центр городка. Теперь же я решила спустить мешки в овраг, скатиться самой вслед за ними, закопать мешки в снег и потом как-нибудь в сумерки по частям перенести домой.

Когда я стояла на краю оврага и готовилась скатить первый мешок, передо мной, как из-под земли, выросла фигура той переводчицы, учительницы немецкого языка.

— Разве вы не ушли с немцами? — спросила она меня. — Вы же так любили коменданта, а он жить без вас не мог. Почему же вы остались здесь?

— Я русская, и мое место с русскими, — ответила я.

— Смотрите, вы горько пожалеете, что остались. Вспомните мои слова!

Это прозвучало как страшное пророчество, как карканье зловещей черной вороны, вдруг захлопавшей крыльями и полетевшей туда, где есть свежая падаль.

Немцы бежали из Тарусы. За каких-нибудь полчаса рано утром 17 декабря 1941 года их всех как ветром сдуло! Они кидались к машинам, бросали туда вещи и в страшной спешке уезжали. Нигде не осталось никого. Словно никогда никого и не было.

Два дня длилось полное затишье. А затем так же тихо, крадучись, одетые в белые полушубки, в белых валенках, румяные, здоровые, в город вступили наши сибирские войска.

Железные двери захлопнулись

Итак, в Тарусу пришли русские! Как же их встретили жители Тарусы? Молчанием и страхом. Не потому, что жалели об уходе немцев... Нет! На это были способны только такие выродки, как сын скульптора Крандиевской Андрей, который вместе со своим дружкой, таким же зеленым мальчишкой, как он сам, ушел вслед за немцами¹... Нет, большинство жителей, конечно, радовались, что пришли *свои*, что опять звучит

¹ Андрей Фрейндлих также был в Тарусе во время немецкой оккупации и ушел с немцами при их отступлении. Но потом вернулся. Стал известным скульптором (создал памятник Циолковскому на ВДНХ). Из беседы с Н.Д. в 90-е гг. (Здесь и далее примечания А. И. Еремеевой.)

русская речь, что все, может быть, будет опять, как было. Но в то же время большинство переживали: как поведут себя *свои*, русские, не начнут ли они чинить суд и расправу над жителями? Ведь многие в Тарусе жили во времена оккупации по пословице: с волками жить, по-волчьи выть... Только очень немногие, вроде самого городского головы, успели скрыться... Остальные остались на месте. С первого же дня вступления наших войск в Тарусу начал работать особый отдел штаба. Вызывали для объяснений большинство жителей. Со всеми шел разговор о немцах, о тех событиях, что происходили в Тарусе за два месяца их господства. Целые вереницы граждан толпились у дверей особого отдела. Вызывали и меня.

Я шла туда с тяжелым сердцем. Я казалась себе преступницей, изменницей родины. Пускай я *не хотела* работать у немцев, пускай я согласилась только из страха за своих беспомощных детей и стариков, пускай я не принесла никому вреда, никого не выдала, не предала немцам... Но все же я целых три недели *работала* у коменданта переводчицей. Комендант относился ко мне хорошо, а многие жители считали, что я совершенно продалась немцам и стала доверенным лицом, чуть ли не личным секретарем коменданта. Что же мне теперь отвечать *своим, русским*, которые спросят меня обо всем?

Мне было тяжело и стыдно за себя. Я сидела в набитой до отказа приемной перед дверями кабинета начальника особого отдела, не глядя в лицо окружавшим меня гражданам, не прислушиваясь к их разговорам, не замечая времени. Рано утром пришла я сюда, но только поздно вечером, совсем в темноте вернулась домой, не чувствуя под собою ног от радости.

Меня подробно расспросили обо всем, что было со мною и с моими родными, о том, что привело нас, москвичей, в Тарусу, о наших встречах с немцами, о моей работе у коменданта. Но меня не ругали, не говорили, что я преступница. Мне даже разрешили перевезти семью обратно в Москву...

Значит, я могу еще глядеть в лицо русским, еще не все для меня потеряно! Теперь — в Москву, скорей в Москву!

Казалось в ту минуту, что все горе уже миновало, что немцы никогда больше не вернуться, что нам теперь нечего бояться... Я решила идти пешком в Серпухов, чтобы попытаться найти какой-то транспорт.

Прошло несколько дней подготовки к моему «походу». Морозы по-прежнему стояли сорокаградусные, идти было нелегко, но другого выхода не было. Мы только решили по возможности

скрыть от соседей мой уход. Несмотря на некоторое успокоение, внесенное приходом наших войск и разумными действиями командования, совершенно успокаиваться было рано. Темные силы русских предателей все еще продолжали свою подрывную работу. Ходили разные, весьма неприятные слухи о доносах русских на русских; некоторых начинали вызывать в особый отдел вторично и задерживали на более длительное время. Поэтому казалось благоразумным никому не говорить о моих планах. Решили, что я уйду ночью, до рассвета, не от себя, а из дома Александры Петровны. Вечером 27 декабря 1941 года я пошла к ней, чтобы провести там свою последнюю ночь в Тарусе. Уже смеркалось. Снег голубел вечерними тенями. Ника и Аля пошли проводить меня до дома Александры Петровны. Мы шли вверх по улице Шмидта, свернули в переулок, шли вдоль заборов, из-за которых свешивались тяжелые ветви, засыпанные снегом. Совсем стемнело. Только вдаль горел закат. Я поцеловала дочерей у калитки, и они побежали обратно, взявшись за руки. Обе были в одинаковых темно-синих бархатных шубках с серыми воротничками и серыми меховыми шапочками. Только Ника высокая и тоненькая, мне по плечо, а Аля — маленькая и толстенная, ниже плеча Ники. Они быстро бежали по снежной дорожке. Я стояла у калитки, смотрела им вслед, пока они не скрылись в сумерках далекой улицы. Мне казалось, что они остались совсем *одни* во всем мире, среди снега и холода.

Тяжелое предчувствие давило меня. Эта последняя ночь в Тарусе прошла больше в разговорах с Александрой Петровной, чем в сне. Встала я часа в три ночи. Надела синий лыжный костюм дочки Александры Петровны, свои валенки, старое демисезонное пальто и мамин пуховый платок. Сунула в карман маленький сверточек с едой, который мне приготовила Александра Петровна, и пошла.

Сияла полная луна. Было светло и тихо. Снег скрипел так, что, казалось, шаги мои слышны за три улицы! Но все спало. Даже собаки не лаяли. Я быстро вышла к шоссе. Никто не остановил меня, не окликнул. Только луна смотрела в лицо. Мне предстояло пройти около сорока километров. Было так холодно, что захватывало дыхание и казалось, что никакого пальто на мне не надето и я купаюсь в ледяной воде. Только ногам пока еще было тепло, и я шла быстрым ровным шагом.

К рассвету погода испортилась. Началась метель. Я шла только вдоль телеграфных столбов. Ветер бил в лицо, залеплял

глаза. Дорогу заносило. Часам к десяти утра я добралась до какой-то большой деревни у шоссе. Дома там были почти все пустые. Я зашла в большой холодный дом, мне хотелось есть. Я села, вынула печеную картошку и кусок хлеба из своего кармана, но, как ни старалась, ничего не вышло — все замерзло в камень и не оттаивало.

Дальше идти было еще хуже, сильно заносило дорогу. Где-то на полпути от Серпухова меня вдруг остановил наш дозорный отряд. Командир и бойцы в белых полушубках выросли передо мной из метели, как какие-то снежные люди. Остановили меня. Командир долго со мной говорил. Видно, его прямой служебной обязанностью было задерживать всякого, кто шел из оккупированной зоны. Правда, я шла оттуда, где уже были наши, но все равно доверия я внушить не могла! Однако он отпустил меня. Очень долго, с большим серьезным любопытством расспрашивал меня о всех подробностях поведения немцев, о нашей жизни при них, о зверствах и расстрелах. Наконец он тихо сказал: «Жена у меня тоже попала к немцам. Не знаю, жива ли, увижу ли я ее. Может быть, тоже чудом уцелела...» И я пошла дальше.

Только теперь у меня было уже две заботы — хватит ли сил дотащить ноги до Серпухова, не замерзнуть в сугробе и хватит ли счастья дойти до Серпухова не задержанной по дороге?

Уже совсем стемнело. Мне оставалось еще километров восемь, как я могла судить по надписям на столбах вдоль шоссе. Ноги уже не хотели вытаскиваться из наметенных по дороге сугробов. Внезапно за поворотом мелькнул яркий свет — фары какой-то большой машины! Тяжело гудя, она шла по снегу, взметая тучи снежной пыли.

Вдруг машина остановилась. Это была большая военная машина, вроде зеленого фургона. Меня посадили и повезли. Машина военная, люди тоже военные, русские люди. Они привезли меня к центру города и спросили, куда мне нужно. Где я собираюсь ночевать? Я не знала, что ответить. Ведь я никогда не бывала в Серпухове. Тогда мои новые знакомые предложили мне заехать к ним на квартиру. Оказалось, что они командиры каких-то инженерных частей, просто инженеры, одетые в военную форму, очень простые и веселые.

Мы ввалились с мороза в жарко натопленную комнату, там было много народа, было шумно, все садились ужинать.

Посадили и меня. Я себя чувствовала выходцем с того света и молча смотрела на веселые румяные лица.

Когда ужин кончился и незнакомый мне народ разошелся, в комнате остались всего несколько человек из тех, что ехали со мной в машине. Мои новые знакомые закрыли поплотнее дверь и попросили меня рассказать подробно *все* — с самого начала и до самого конца, — кто я, откуда шла, где была за последнее время, что я делала при немцах.

Я рассказала все с полной откровенностью, показала свой паспорт и пропуск Академии, которые все эти месяцы были зарыты у нас в подполе, и никто из оккупантов их не видел и не знал места моей работы. Рассказала, как я пришла в Тарусу ради семьи, как мы жили при немцах, как мне пришлось работать переводчицей, как немцы ушли. Рассказала, что я шла в Серпухов за помощью. Если же здесь ничего не удастся, буду пробираться в Москву.

— В Москву? А вы знаете, что перед Москвой столько «рогаток» понаставлено, что из оккупированной местности прямо в Москву не проскочишь! — сказали мне мои собеседники. — Да и кто вам поможет теперь в Москве? Кажется, и ваша Академия давно уехала...

Мои новые знакомые посовещались тихонько, потом старший из них мне сказал:

— Возможность помочь вам у нас только одна: сегодня ночью в Москву идет наша машина с аппаратурой. Мы провезем вас вместе с собой в Москву.

Так они и сделали. Положили меня на дно фургона, закрыли брезентом, наложили веревок, еще чего-то легкого. Вскоре мы тронулись в путь.

В 12.30 ночи 29 декабря 1941 года мои доброжелатели высадили меня в центре Москвы — у Сретенских ворот — и уехали дальше. Опять мне в лицо светила полная луна и было совершенно тихо. Я стояла в мертвой, застывшей от холода Москве, на улице, залитой лунным светом. Мне совершенно отчетливо казалось, что сплю. Что все сон. И то, что было когда-то, где-то в Тарусе, и то, что я стою здесь, в Москве, в тех же валенках и пальто, что надела прошлой ночью в доме Александры Петровны. Сама Москва казалась мне ночным миражом.

Но куда мне было идти теперь? Я знала, что ночью по улицам ходить нельзя, что меня могут остановить, задержать. Тихо, тихо пошла я по кольцу А. Дошла до Чистых прудов.

Зашла в дом, где жила моя подруга по университету. К счастью, она не эвакуировалась и пустила меня ночевать. Я пробыла у нее два дня. Даже встречала с ней Новый, 1942 год!

Днем ходила в Академию. Там все было мертво и пусто. Я нашла в общежитии только коменданта, совершенно незнакомого мне человека. Он ничем не мог помочь мне. Заходила и к знакомым.

Первого января 1942 года я пришла к себе на квартиру. Во всей квартире остались две соседки и наша домработница Шура. Они тоже встретили меня как человека, пришедшего с того света! Квартира была нетоплена, холодна, пуста. Я посмотрела, что все стоит на месте, словно застыло от холода. Вынула из шкафа свою меховую доху. В ней было тепло!

За несколько дней своего пребывания в Москве я предприняла с помощью одной знакомой преподавательницы попытку, которой не смогла довести до конца, — я ходила в одно учреждение, где набирали переводчиков на фронт. Задержка оказалась в том, что я не умела печатать на машинке. Может быть, что-нибудь и вышло бы, но я не успела сходить туда еще раз!

2 января 1942 года утром, когда я еще была дома, в квартиру позвонили. На лестнице стояли какие-то военные. Они спрашивали Монич Нину Дмитриевну. Когда я ответила, что это я, они попросили меня выйти к ним на минуточку. Я накинула пуховый платок и доху и вышла на лестницу. Они подхватили меня, подняли и положили в кузов открытой грузовой машины, стоявшей во дворе.

«Мы ненадолго задержим вас для дачи показаний», — сказали они на мои недоуменные вопросы. При сорокаградусном морозе на открытой грузовой машине они привезли меня *обратно в Серпухов!* Привезли куда-то в пригород. Высадили около низенького домика, стоявшего где-то на краю поля. Сдали дежурному и уехали. Солдат ввел меня в большую комнату, забитую народом. Люди сидели на скамейках, на полу, некоторые лежали. Там были одни мужчины, в пальто, полушубках, в шапках. Посреди комнаты на табуретке сидел часовой с винтовкой в руках.

Когда стемнело, внесли большую кастрюлю, из которой валил пар, и стали наливать в миски горячую похлебку. Я сидела на скамейке рядом с часовым. Я все еще не понимала, зачем и куда меня привезли. А спрашивать не решалась. Я

только слушала отрывочные разговоры окружающих. Вся ночь прошла в шепотах и шорохах.

В полутьме комнаты где-то тихо переговаривались. Я поняла, что здесь собраны люди из окрестных деревень, освобожденных от немцев.

Рано утром вместе с клубами морозного пара в комнату вошли женщины и внесли в ящиках кирпичи черного хлеба. Хлеб положили ближе к печке, которую недавно затопили. Когда замерзший хлеб немного отпотел, женщины принесли топор и начали рубить буханки пополам, потом еще пополам. Женщины раздали нам по куску хлеба и ушли. Когда на печке закипела в громадном котле вода, пришел дежурный и принес небольшую алюминиевую кружку с пшеном. Он всыпал пшено в котел. Когда похлебка закипела, нам налили в миски этот довольно-таки жидкий «суп»! Поздно вечером такой суп варили еще раз, но хлеба больше не давали.

И вторую ночь я просидела на скамейке рядом с часовым, ни с кем ни о чем не разговаривая.

На другой день меня вызвали к уполномоченному. В кабинете сидел немолодой военный. Разговор был довольно спокойный — о моей работе у немцев. Никаких лишних слов пока сказано не было. Показания мои просто были записаны и скреплены моей подписью. Нужно ли от меня еще что-нибудь, уполномоченный не сказал. А я ничего не спросила. Я была как-то ошеломлена всем происшедшим. Особенно тяжело для меня сознание, что я все же, хотя бы в глазах следственных органов, такая же, как все мужчины, с которыми я просидела в этой комнате. Ведь почти все они работали у немцев полицейскими!

Мне пришлось еще одну ночь просидеть в этом «особом отделе». Сидя у стола рядом с дежурным, я спала. Но вдруг мне показалось, что я не сплю, что дверь открывается и в комнату тихо входит Вальтер фон Поттхаст, с ним еще другие немцы. Он смотрит на меня с большой грустью, улыбается, но ничего не говорит. Потом, все еще глядя мне в лицо, кивает головой и медленно тает в воздухе. И на том месте, где он только что стоял, вместо него стоит русский часовой.

Утром меня вывели во двор. Солдат в белом полушубке и промерзших валенках сказал мне: «Пойдем». И мы пошли. Он впереди — я за ним. Пошли куда-то в белое поле еле протоптанной тропинкой. Шли молча. Шли и шли, и шли. Я ничего не спрашивала, но мне казалось, что он ведет меня

на расстрел. Зачем еще ему было идти со мной в открытое поле?

Но мы описали большой полукруг и опять пришли к домам. Пошли по улице. Завернули куда-то. Вдруг остановились у очень старинного белого здания, наполовину разрушенного, перед массивными коваными воротами. Часовой позвонил. Открылось окошечко. Часовой просунул туда записку. Двери медленно открылись, впустили меня и вдруг захлопнулись с таким тяжелым гулким звоном, что кровь остановилась в жилах.

Но не успела я опомниться, как меня почти втолкнули в какое-то подземелье. Там было полно полуголых женщин с детьми! Вскоре и я сидела тоже полуголая, сняв с себя все, до рубашки. Такая там была жара, как в бане. Я огляделась. Около меня сидели две старушки крестьянки с девочками, потом какие-то женщины, потом совсем молодые девушки. «Куда я попала? — спросила я. — Где мы?» — «Где? В тюрьме! — ответили мне. — В Серпуховской тюрьме. Тюрьму-то на днях немец разбомбил. Смотрите, как стены треснули. Все камеры рухнули, нас уж в подвал запихнули. Вот хорошо будет, если немец опять налетит да еще раз ударит, тогда мы все и разбежимся!»

Да, это было старинное подземелье со сводчатым потолком и стенами непомерной толщины. Население того подвала тоже состояло из жителей окрестных деревень, освобожденных от немцев. У многих женщин были еще деревенские продукты, и они щедро делились ими. Меня угощали деревенскими лепешками, и все мы непрерывно пили кипяток, который день и ночь кипел на раскаленной докрасна печке. Нас никуда не вызывали. Время проходило в нескончаемых разговорах. Казалось, что мы встретились на каком-то вокзале и сидим в ожидании поезда. Вот-вот поезд подойдет и повезет нас всех домой!

Дня два просидела я в этом подземелье, пока меня наконец не вывели под вечер прямо к машине. Это был так называемый «черный ворон», хотя машина не черного, а зеленого цвета. Машина была довольно вместительна, но набита людьми до отказа. В большом отделении, ближе к шоферу, были втиснуты мужчины, их отделение заперто на замок, а на окошечках решетки. Сзади, за железной дверью, сидел часовой и вместе с ним мы, две женщины. Со мной ехала совсем молоденькая девочка, чрезвычайно легко одетая. Я отдала ей шарфик, еще что-то с себя. Девочка была очень худа и бледна, лицо совсем полудетское, миловидное, с большими темными глазами. Я

сразу же узнала, что она любила молодого немца, любит его и теперь и будет любить всегда, хотя их и разлучили; он был так нежен, так ее любил, что ей нигде, никогда не увидеть такого среди наших хулиганов и матерщинников.

Мужчин было человек тридцать. Они буквально сидели один на другом, впихнутые в машину. По их разговорам можно было судить, что все они работали у немцев, многие были русскими полицейскими — полициярами, или старостами.

Когда стемнело, наш «ворон» остановился. Раздалась команда: выходи! Мы стали выходить и цепочкой пошли к какому-то зданию. Это была Подольская тюрьма, как мы узнали позднее. Там мы должны переночевать.

Нас всех ввели в темное узкое помещение с промерзшими стенами. Кто сел, кто лег на пол. Часовой сидел вместе с нами, держа винтовку в руках. Вдруг вспыхнул свет, в нашу камеру вошел командир. Он держал в руках револьвер.

— Пристрелю, как собак, всех, кто посмеет говорить с большим немцем.

Тут только мы заметили в углу топчан, на котором лежал кто-то, закрытый шинелью. Свет опять погас. Только над дверью тускло светила маленькая лампочка. Часовой сидел с винтовкой в руках и, кажется, дремал.

Потянулась бесконечная ночь. Немец метался в бреду. По-видимому, он был тяжело обморожен и теперь весь горел. Он звал отца, мать, плакал, как ребенок, молил кого-нибудь подойти к нему, помочь. Неужели никто его не понимает, никто, стонал он. Потом начинал ругаться, потом опять плакал.

Я тоже плакала, уткнувшись в колени. Мне хотелось подползти к нему, тронуть его за руку. Но он все равно не почувствовал бы... А может? Но я словно оцепенела, меня охватило чувство страшного бессилия. Чем я лучше этого немца? Я тоже была в плену — у своих, среди страшных людей, которых я так презирала в Тарусе, среди пособников немцев... Что же будет со мною теперь? Куда нас повезут? Когда кончится эта страшная ночь?

По московским тюрьмам

Утром 8 января 1942 года нас снова посадили в «черный ворон» и повезли. Окошечки в машине были плотно закрыты. Мы не видели, куда нас везут. Вскоре машина пошла тише

и стала часто заворачивать, словно проезжая по улицам города. Наконец мы въехали во двор, видимо, очень большого дома.

Нас стали по одному выводить из машины. Затем повели вверх по лестнице. Ввели нас, как мы были, одетых, в какую-то большую приемную. Все сели. Страшные, осунувшиеся, с ввалившимися щеками. Мужчины все небритые. Мы молча сидели и ждали, сами не зная чего.

Вошел военный. Подошел к большому письменному столу посередине комнаты и остановился. Мы все встали.

— Приветствую фашистскую делегацию! — начал он тоном величайшей иронии. — Подходите по одному к столу! Называйте фамилию, имя, отчество и должность, какую занимали у немцев. Выкладывайте на стол все личные вещи.

Неохотно, неуверенными шагами мужчины стали подходить к столу. Отвечали тихо, глухим голосом, так что в немногих шагах почти ничего нельзя было расслышать. Выворачивали карманы и клали на стол часы, портсигары, зажигалки.

Настала и моя очередь. После первых вопросов чисто анкетного характера последовал вопрос о моей работе у немцев.

— Работали переводчицей?! Сколько времени?

— Десять дней, — ответила я нарочито резко. Мне хотелось сказать что-то неприятное, но я сдерживалась.

— Ну что же. Получите десять лет, — был ответ. — А теперь снимайте часы, очки. Они вам больше никогда уж не понадобятся. — И он швырнул все в ящик стола.

Вскоре нас увели из приемной. Выходили все вместе, но потом я очутилась одна и меня подняли на лифте. куда-то вверх. Часовой ввел меня в комнату, где было около десяти женщин. Щелкнул замок.

Я находилась в здании НКВД на Большой Лубянке.

После нескольких дней пребывания на Б.Лубянке меня посадили ночью в «черный ворон» и опять повезли куда-то.

Первое место, куда тебя ведут, когда ты попадаешь в тюрьму, это баня (топленая или нетопленая — не имеет значения!).

Баня — это опознавательный знак, при помощи которого мы часто узнавали, в какую нас привезли тюрьму, если поочередно приходилось попадать в одни и те же тюрьмы.

Но на этот раз я была еще совершенно несведуща и даже с трудом поняла, куда я попала и что мне нужно делать! Мужчины в грязных белых халатах взяли мое белье и платье

для прожарки, а меня впустили в темное мокрое помещение, со стен которого текла вода. Зачем-то нужно было мыться. Потом опять идти куда-то. Когда меня вели после бани по темным длинным коридорам, меня очень поразило, что непрерывно приходилось прятаться в какие-то фанерные шкафы. Дверцы шкафа захлопывались. Я стояла в темноте и слушала чьи-то шаги. Сначала приближающиеся, потом удаляющиеся. (Позже я узнала, что эти шкафы назывались в тюрьмах боксами и в них приходилось прятаться для того, чтобы один заключенный по пути своего следования не видел другого заключенного.)

Видимо, еще *до бани*, теперь я уже ясно этого не помню, у меня взяли в тюремную «камеру хранения» мою меховую доху, пояс с резинками, заколки, брошку и выдали мне квитанцию.

При поступлении в тюрьму каждый заключенный подвергался довольно любопытной операции: у него отбирали и отрезали все, что, по представлению надзирателей, могло послужить для лишения себя жизни. У женщин отбирали пояса с резинками, выдергивали резинки из трусов, отрезали все пуговицы. У мужчин отбирали кожаные пояса и тоже отрезали пуговицы. (Особенно жалкий вид имели мужчины, ведь у них сразу сваливались брюки! К счастью, я была в лыжных брюках со шивным поясом и сумела как-то заменить ленточкой отрезанные пуговицы.)

После долгих переходов по слабо освещенным глухим коридорам мы подошли к дверям камеры. Камера была очень мрачная и большая. По стенам шли двойные нары. На них спали люди. Было так темно, что я ничего не могла рассмотреть. Свет от электрической лампы падал только на большой стол посередине комнаты, на пол, в сторону двери и слабо отражался на стенках гигантской параша, стоявшей у самых дверей. Я легла на нижние нары с левой стороны и вскоре заснула.

Утром я не могла сразу понять, где я. Что меня окружает?

Стены — серые, каменные. Общее впечатление от камеры тоже серое, тусклое; углы камеры даже днем были погружены в тень. Единственное окно закрыто снаружи щитом, только наверху виден кусочек неба. Эта камера совсем непохожа на камеру на Лубянке: та была маленькая, светлая, похожая на обычную комнату в два окна; в ней стояло около шести железных кроватей, застланных серыми байковыми одеялами. Но камера, где я теперь очутилась, совсем другая — она была

очень велика, сумрачна, и казалось даже днем, что здесь совсем немного народа. Верхние нары тонули во мраке высокого потолка, нижние были под тенью верхних.

Я долго вглядывалась в полумрак раннего утра. Потом опять закрыла глаза. И тогда я услышала мерный гул, перекатывавшийся по камере. Этот шум немного напоминал отдаленный шум моря. Я не сразу поняла, что это гул голосов обитательниц камеры. Всего было примерно 120 женщин, что я узнала, конечно, позднее. Я долго лежала без мыслей, без сил, едва понимая, где я и что со мной. Я видела, что кругом копошатся люди, что женщин много. Одни сидели на нарах, некоторые лежали. И все непрерывно разговаривали.

Я опять закрывала глаза, и опять мне казалось, что я лежу на песке у моря и слушаю гул прибоя. Я не хотела ни есть, ни пить, ни разговаривать с кем-либо.

Казалось, время для меня остановилось, сознание угасало.

Наконец я очнулась от другого — более резкого и короткого — шума. Шла переключка. Все должны были сидеть на своих местах и отвечать, когда выкрикали их фамилию.

Я была в Таганской тюрьме, как сказала мне соседка.

На следующее утро, тоже после переключки и раздачи хлеба, вдруг кто-то налетел на меня, сжал, и все лицо мое стало мокрым от чьих-то теплых слез.

— Нина, Нина! Неужели это ты?!

Это была средняя сестра моего мужа — Анна Михайловна Тарасова. Она услышала мою фамилию во время переключки и подошла ко мне.

Первые дни моего пребывания в этой камере (а всего я там пробыла около двух месяцев) были заполнены встречей с Аней. Она перешла ко мне, мы сидели рядом, спали рядом, ели рядом.

Ее горе стало моим горем, мое горе — ее горем. Она невольно заслонила от меня всех остальных обитательниц камеры.

История ее была проста и печальна. Последние годы перед войной она жила в Колюбакино, около станции Тучково Белорусской ж. д., и работала на игольном заводе. Муж ее был арестован года три-четыре назад. Она осталась с двумя уже большими девочками и поступила на завод. Началась война. Завод выполнял срочные задания для фронта. Вместо простых иголок теперь делали крючки для парашютов, выполняли другие военные заказы. Немец был уже близко. Но завод все продолжал работать, и рабочих не отпускали. Аня отправила

сперва старшую дочь к родным в Муром. В последнюю минуту, уже пешком, отправила в Москву вторую. Осталась одна на работе. Завод остановился, когда немцы почти что были уже у ворот. Директор завода успел уехать. Все рабочие остались. Так как все знали, что Аня — хорошая портниха, ей и ее соседке Лизе Осиповой немцы приносили на починку тулупы и прочие теплые вещи, которыми они пытались защититься от холода.

Когда немцев отогнали, всех русских, сотрудничавших с врагом, забрали.

И вот и сама Аня, и соседка Лиза очутились со мной вместе в Таганке. Несколько дней мы пробыли вместе. Нас не разлучили потому, что фамилии наши были разные и надзиратели не догадались о нашем родстве, иначе бы нас сразу развели по разным камерам.

Но вскоре Аню все же увели от нас и переправили во Владимир, где она на долгое время задержалась, о чем рассказала много времени спустя.

Встреча с Аней дала мне очень много. Она ободрила меня, я почувствовала, что не я одна в таком положении. Я стала понемногу приглядываться к обитательницам камеры. Нашла даже отдаленных знакомых! Например, двоюродную сестру одной из преподавательниц английского языка Академии, даже знакомую парикмахершу с улицы Баумана. Становилось как-то не так страшно, как будто была среди своих!

Правда, я ни с кем не вела долгих разговоров. Я не сторонилась соседок, считала их такими же жертвами войны, какой была сама. Но я не любила рассказывать о себе.

Всякое напоминание об оккупации причиняло острую боль. Я только прислушивалась к разговорам и старалась понять: *за что?* За что попали сюда эти женщины? Кто они? Состав «преступников» камеры как будто делился на два рода несчастных: на московских болтунов и немецких пособников. Было много простых колхозниц, которые во время оккупации чистили немцам картошку и стирали белье. Были москвички, застигнутые войной в каких-то подмосковных деревнях, где жили летом с детьми. Были москвички, никогда не покидавшие Москвы, но болтнувшие что-то или не сообщившие вовремя о чужой болтовне, ими слышанной.

Все неожиданно попали под замок в темное, мрачное помещение, все сидели на одних и тех же темных нарах, ели один и тот же хлеб, хлебали те же щи из мороженой капусты.

День наш начинался рано, совсем в темноте. Ведь в 6 часов утра зимой еще совсем темно. Темно было и в камере, которая освещалась одной небольшой тусклой лампочкой под потолком.

Когда раздавалось: «Подъем!», казалось, что надзиратели ошиблись, что еще совсем ночь! Но нет! Вскоре камера открывалась, и по длинному коридору целой процессией двигались в уборную. Впереди дежурные торжественно несли парашу!

После раздачи паек хлеба приносили кипяток. Мечтой всех было получить горбушку. Горбушка казалась гораздо плотнее и сытнее мякиша. Черный хлеб был как замазка, и кусочек мякиша выглядел совсем маленьким. Сами заключенные устанавливали очередь на горбушку. Хлеб подавался из коридора через окошечко, женщины сами клали пайки рядами на стол, дежурные раздавали.

Дежурные назначались на каждый день в порядке очереди. Они должны были помогать персоналу тюрьмы раздавать пищу и поддерживать в камере чистоту.

Итак, горбушки раскладывались на столе в отдельный ряд и раздавались отдельно — по неписаному правилу камеры! На ком останавливалась очередь на горбушку, отмечалось всей камерой. Велико было горе, если этого человека уводили из камеры прежде, чем до него доходила очередь на горбушку!

О! Редкий заключенный находил в себе мужество сохранить пайку (400 г) до обеда! Большинство съедали хлеб сразу, чаще — просто так, даже без кипятка. В лучшем случае — оставляли к обеду корочку!

Я иногда оставляла такую корочку черного хлеба, чтобы хлебать ею суп, так как ложек не всегда хватало. (Только летом, кажется, я выменяла у какой-то старушки на хлеб деревянную ложку, которая служила мне потом довольно долго.) Обед бывал в 1—2 часа дня и неизменно состоял из миски кипятка, в котором плавали листики мороженой капусты. Большим удовольствием всегда было, если в миску прыгала вареная кочерыжка!

Вечером, часов в 6—7, раздавали ужин — одну деревянную ложку какой-то жидковатой каши (например, овсяной или пшенной). Можно было также получать кипяток. Пили с удовольствием даже совсем пустой дымящийся кипяток, обжигаясь краями алюминиевой кружки. Казалось, что с каждым огненным глотком в ослабшее тело вливается какая-то новая сила.

Большим развлечением была «прогулка» в уборную (прогулок во двор зимой не было) два раза в день — утром и вечером. Вся камера выходила в сопровождении конвоя. В уборной можно помыться из-под крана. Правда, у меня не было ни полотенца, ни платка — ничего. Ведь мое странствование по тюрьмам началось с того, что серпуховские энкаведешники попросили меня «выйти на минуточку!» Как я сидела в ледяной комнате нашей квартиры — все в том же синем лыжном костюме и в валенках, в которых пришла из Тарусы, — так и вышла к ним, накинув меховую доху и пуховый платок. В этом снаряжении я и отправилась в далекий путь!

Теперь, очутившись на длительное время в тюрьме, я вынуждена была вытираться после умывания своим пуховым платком. Это заметила одна женщина, сидевшая в камере очень далеко от меня — на противоположных нарах. Я никогда ни словом не обменялась с этой женщиной. Она была, кажется, первой представительницей женского пола, наводившей на меня ужас!

Звали ее «тетя Женя». Она работала прежде кондукторшей московских трамваев. Маленькая, сухонькая, с космами жидких волос, она, казалось, вся была пропитана желчью. Язык ее работал с необычайной быстротой, не останавливаясь ни на минуту! Ее пронзительный голос с визгливыми нотками покрывал гул всех голосов. С губ ее слетали самые отборные ругательства. Я всегда старалась встать от нее подальше!

И вдруг эта тетя Женя, на этот раз совершенно молча, разорвала пополам свое длинное новое полотенце и половину отдала мне! Это был мой первый «урок» за начинающиеся долгие годы!

Сколько раз существа, на вид потерявшие образ человеческий, одичавшие, жалкие или до похабства грубые, оказывались чуткими и нежными, а люди, на вид более культурные, совершенно теряли благородство и человеческую честь.

Как проходили дни в камере? Однообразно, мучительно, бесконечно, но все-таки незаметно и быстро. Много дней я почти не выходила на середину камеры, к столу. Вся моя жизнь проходила на тех двух досках нижних нар, которые я занимала. Я сидела в оцепенении и слушала гул голосов. Мне постоянно вспоминался старинный глупый анекдот о том, что дьявол изобрел адскую говорильную машинку и вставил ее в рот женщины!

С раннего утра до поздней ночи все обитательницы камеры разговаривали, не умолкая ни на минуту... Редкие из них, вроде меня и нескольких старушек, предпочитали молчать! Мне больше всего хотелось спать — и видеть сны. Кажется, за всю свою жизнь я не видела столько необыкновенных снов, таких ярких и красочных, как за первые месяцы и годы разлуки с семьей. Чем слабее я становилась, чем сильнее было мое отчаяние, тем лихорадочнее работал мозг и лучезарнее становились сны!

Однажды в нашей камере произошло событие, почти напоминавшее сон! Среди нас была одна молодая и еще красивая женщина. Она обычно сидела молча у противоположной от меня стороны камеры на нижних нарах. Я была (на долгие годы!) без очков и видела ее не очень ясно. Но мне доставляло удовольствие на нее смотреть. Такое у нее было чистое прекрасное лицо, задумчивое и грустное. Звали ее, кажется, Машей. Я никогда с ней не разговаривала, но соседки шепотом сообщили мне ее историю. Она была женой командира и жила с ним при его части где-то на окраине Белоруссии. Когда немцы напали на нас, Маша бежала и пешком пошла в Москву. Она пережила бесконечные трудности и опасности, много раз была на волосок от смерти, но все шла и шла и все-таки к зиме добралась до подступов к Москве.

Ее заподозрили в шпионаже и взяли под стражу. Она была беременна и считала, что скоро должна родить. Но была очень высока и стройна, а от бесконечной ходьбы и голодовки настолько исхудала, что врачи признавали у нее небольшую беременность и не торопились помещать ее в тюремную больницу.

И вдруг как-то ночью я проснулась от суеты и беготни. Многие женщины из нашей камеры собрались у нижних нарах в другом конце камеры. Оказалось, что Маша родила девочку. Хотя это были первые ее роды, но родила она тихо и легко, так что только самые ближайшие соседки заметили что-то неладное. Постепенно весть о событии пронеслась по всей камере, и все, у кого было что-то белое, стали приносить тряпки к Машиным нарам. Наконец дежурные вызвали врача. Ребенка завернули и вместе с матерью увезли в больницу.

Эта картина осталась в моей памяти как что-то библейское, простое и чистое, заставившее нас хоть на короткое время забыть о своих горестях, о своей боли, о темной камере, о нашем тяжелом будущем, еще неясном для нас, но мрачном,

как надвигавшаяся грозовая туча. Это будущее давало себя знать каждую ночь.

Ночь — всегда самое беспокойное время в тюрьме. С места на место переводят или перевозят всегда ночью. На *следствие* вызывают тоже большей частью ночью. Только прозвучит отбой и камера погружается в сон, как только и жди приводов, уводов и вызовов. Сколько раз за долгую ночь щелкнет тяжелый замок камеры!

Если просто называют по *фамилии*, то, значит, к следователю. Если прибавят: «Собирайтесь с вещами!» — значит, поведут или повезут куда-то.

Долгие дни меня никуда не вызывали. Мне иногда даже казалось, что меня просто *подержат, подержат* и выпустят! Наконец однажды ночью и меня вызвали к следователю. Привели в небольшую комнату на верхних этажах тюрьмы. Мой следователь оказался совсем еще молодым человеком в военно-морской форме. Он задавал бесконечные вопросы и записывал мои ответы. И все. Вопросы часто повторялись по многу раз. Но никаких эксцессов с его стороны не наблюдалось. Он не ругал меня и не бил. Он просто протоколировал мои показания и скрепил затем протокол моей подписью. В течение месяца все было кончено. Я радовалась, что следствие продолжалось недолго, что никто не швырял в меня чернильницами, не махал перед носом кулаками. Я не знала тогда, что это было только *началом!*

Вызовы к следователю прекратились, но ничего не изменилось. Я все продолжала сидеть в той же камере. Никто не говорил, долго ли я здесь просижу и что со мной будет дальше. Некоторых женщин куда-то уводили, на их место помещали новых, но я все сидела на тех же нарах. Уже шел к концу март 1942 года.

Оцепенение начало сменяться глухой тоской, которая грызла, как червь. Мне уже становилось невыносимо молча сидеть на моих двух досках. Я стала подниматься и подходить к большому столу, на который после обеда дежурные клали книги, выдававшиеся на какое-то время камере. Читать разрешалось только около стола. Я прочла в этой камере две книги. Первой из них был «Дон Кихот», а второй — «Жизнь Галилео Галилея», из серии «Жизнь замечательных людей». Особенно вторая книга произвела на меня сильное впечатление, и как будто с того времени у меня появилась жажда знать

подлинную жизнь людей, а не переживания вымышленных героев.

Иногда заключенные играли в шашки и шахматы. Я никогда в жизни не играла в шахматы. Меня взялась учить одна пожилая женщина с прекрасным умным лицом и пронзительными глазами. После нескольких дней такой игры в шахматы мы настолько подружились, что я перешла на место рядом с моей новой приятельницей.

Звали ее Александрой Владимировной Муромцевой. Ей уже сильно за шестьдесят. Волосы ее были снежной белизны, но лицо с румянцем, правильные черты хранили следы былой красоты. Она — одна из достойных представительниц очень старой интеллигенции. В ранней юности воспитывалась вместе с младшими дочерьми Льва Толстого.

Первым языком, которому она научилась, был английский. Затем французский. Русскому языку в раннем детстве она училась у прислуги, пока не пришло время овладеть им как истинно русскому человеку. Яркая красота и незаурядный ум сделали ее потом одинаково желанной и в великосветских салонах, и в высшем обществе Парижа и Лондона, куда не раз ездила в дореволюционные годы. Она лично знала многих даровитых и интересных людей своего времени. Вышла замуж по большой любви; рано потеряв мужа, перенесла свою любовь на красавца сына.

Крушение прежнего буржуазного рая она пережила достойнее, чем многие ее современники, и сумела пройти через годы революции и последующие годы труда с поднятой головой. Свои незаурядные способности и знание иностранных языков сумела отдать на помощь русским людям — стала выдающимся преподавателем. Не один советский дипломат, ученый, певец, спортсмен обязаны ей знанием иностранного языка.

Обо всем этом она рассказывала мне, сидя на нижних нарах. А я, в свою очередь, рассказывала ей о своих немудреных жизненных встречах и работе. Мы никогда не говорили в такие часы по-русски. Один день говорили по-английски, другой по-французски, потом опять по-английски и так далее. Мы совершенно забывали об окружающем и уносились в мир воспоминаний.

Но вдруг Александре Владимировне стало очень плохо, одна нога почти совершенно перестала ей повиноваться. Когда мы выходили из камеры, я ее поддерживала, почти несла

больную ногу. Она привязалась ко мне, как больной ребенок к матери. Больше всего ее пугала мысль, что нас скоро разлучат!

Так оно и вышло. Однажды ночью меня вызвали «с вещами» и повезли в «черном вороне» куда-то не очень далеко. Сидя одна в темной машине, я только и думала: что будет с Александрой Владимировной? Мне казалось, что она осталась совсем беспомощной и дни ее сочтены... Тяжелее всего для меня была мысль, что я не только не могу помочь ей, но даже *никогда не узнаю*, что с ней.

Меня куда-то привезли и повели, конечно, в баню! Эта баня была очень небольшой, ее скорее можно было назвать душевой, так как, кроме душа, там ничего не было. Помещение полутемное, холодное и пустое. Душ тоже был холодным.

Но я *узнала* эту баню! И мне стало очень не по себе. Ведь я опять была на Лубянке!

Песни одиночки

Чтобы волю любить — надо воли лишиться.

Чтобы солнце любить — надо в землю

зарыться.

Глубоко под землей зреют мысли в тиши.

А апрельские дни над землей хороши!

Малая Лубянка, апрель 1942 г.

Когда я вышла из душевой и подумала, что меня поведут по лестнице на верхние этажи, оказалось, что путь наш в другую сторону. Мы долго шли по каким-то темным переходам, спустились потом по узкой лестнице и наконец очутились в длинном темном коридоре. Здесь было ужасно много маленьких дверей и слева, и справа. Одна такая дверь открылась, и меня ввели в маленькую узкую камеру.

В этой камере стояла слева узкая железная койка, направо от нее, в головах, маленькая тумбочка. В ногах койки большая параша. Щелкнул замок, и я осталась одна.

Было почти темно. Лампочка горела снаружи, в коридоре, над дверью камеры; вверху двери было небольшое окошечко, в него и проникал в камеру слабый свет.

Так вот куда я попала... *Одиночка*... Я — в одиночке. Мне показалось, что меня заживо закопали в землю. Так здесь было темно, сыро и тихо. Время потянулось бесконечно.

Идет ли в мире дождь, сияет в небе солнце,
Здесь это все равно. Здесь вечный полусвет,
И лампочка в двери в квадратное оконце
Все льет и льет свой слабый тусклый свет.

Сижу, зарывшись в мех, скрепив на сердце руки,
И слушаю — шептанье часовых,
И звяканье ключей, и беготню, и стуки...
Я замерла, как крот, но я — живей живых!

За дверью ходил часовой. Мерно, как удары маятника, раздавались шаги под гулкими сводами. Он ходил взад-вперед, взад-вперед по коридору. И каждый раз, как он проходил мимо моей двери, он открывал волчок и заглядывал в камеру. Скоро я узнала, что целый день — с 6 утра, когда раздавался *подъем*, и до 10 часов вечера, когда давали *отбой*, нужно было сидеть или стоять *лицом* к волчку, сложив руки на груди. Спать было нельзя. Нужно было все время *смотреть на дверь*. Таковы были законы этого странного жилища.

Я не помню, как прошли первые дни. Мне все казалось, что я из яркого дня попала на дно колодца и не могу оттуда выбраться. И никто не хочет мне помочь.

Площадь Лубянская рядом.
Город родной — надо мной.
Ах, почему же мне надо
Весну сидеть под землей!

Где вы, друзья, отзовитесь!
Мимо проходите вы.
Тише, не так торопитесь,
Не повернув головы.

Ветер мой зов не доносит,
Или вы все далеки?
Сон лишь один мне приносит
Жар вашей милой руки...

Постепенно до моего сознания стало доходить, что этот странный мир, меня теперь окружающий, не пуст. Я услышала, что рядом тоже есть люди! Услышать что-либо было трудно. Но все же в редкие минуты, когда шаги часового замирали в другом конце коридора, слышались тихие шепоты.

Конечно, те, кто подобно мне сидел по одиночкам, не переговаривались между собой, даже не перестукивались. Но кое-где, видно, сидели по двое. Время было военное, заключенных много, не хватало места рассаживать всех по одиночкам

по одному. Я услышала два голоса, тихо перешептывавшихся. Один голос был старческий, другой молодой, оба мужские.

— Вот послезавтра и Светлое Христово Воскресенье! — прошептал старческий голос.

— А чем разговляться будем? — спросил молодой.

— Чем? Я вот корку хлеба в сапог спрятал. Вот и разговеемся, — отвечал старик.

Этот шепот меня ужасно разволновал. «Как? Неужели сегодня страстная пятница? — думала я. — Неужели послезавтра — мой самый любимый весенний праздник, Светлое Христово Воскресенье? А как я отмечу этот праздник?»

Я решила сделать все возможное, чтобы встретить праздник самым торжественным образом. После подъема, часов в 7 утра, в двери камеры открывалось окошечко и появлялся чайник с кипятком. Можно было наливать кипятком в алюминиевую кружку, стоящую на тумбочке. Потом, часов в 10 утра, раздавали сахар-песок по 10 г (какими-то миниатюрными наперстками). Потом, после полудня, появлялась пайка, только теперь уже нельзя было встать в очередь за горбушками и приходилось брать, что дадут! Наконец, около 2 часов дня приносили миску супа, такого же, как в Таганке. А вечером, часов в 5—6, опять неизменная ложка жидкой каши.

Я решила в страстную пятницу съесть только полпайки, а остальное спрятать. В страстную субботу тоже отложить полпайки. Сахар два дня совсем не трогать! А в страстную субботу вечером отложить до утра всю кашу. Но как сохранить все это?

Дело в том, что в мою камеру часто приходила *гостья*. Этой единственной «гостьей» была совсем ручная мышь. Я каждый день кормила ее крошками, даже оставляла корочку. Но эти два дня мышь тоже должна была попоститься. С трудом влезла я на спинку кровати и поставила алюминиевую кружку с кашей и кусочками хлеба под потолок на выступ стены.

Так я встретила Светлое Христово Воскресенье 5 апреля 1942 года в подземелье на Малой Лубянке.

Несколько дней прошло довольно тихо. Каждое утро после подъема моя крошечная камера открывалась, и часовой сопровождал меня в уборную. Я несла свою громадную пустую парашу, пригодную не для одного десятка человек. В уборной я обтиралась до пояса холодной водой, быстро проделывала

несколько упражнений и шествовала обратно. Иногда мне удавалось и в камере продолжить свою физзарядку.

Было еще одно развлечение: каждого одиночного заключенного выводили ежедневно на прогулку. Так как всех заключенных выводили поодиночке, а одиночек было очень много, то это «гулянье» продолжалось с утра до вечера, о чем можно судить по топоту ног в коридоре и хлопанью наружных дверей.

В конце нашего коридора была небольшая лесенка, ведущая в маленький внутренний дворик. Дворик этот был зажат в колодце высоких серых зданий. Только совсем наверху, в узком просвете крыш, можно было видеть кусочек голубого весеннего неба, такого голубого, как никогда на свете! Но *смотреть* на него было *запрещено*. Заключенный должен держать руки за спиной и, опустив голову, смотреть только себе под ноги. Поднимать голову нельзя. Нужно молча ходить по кругу, по кругу; сначала в одну сторону, потом в другую.

В углу двора была небольшая вышка под грибом. На ней стоял часовой. А двое других выводили заключенного из камеры и стояли у входа в подвал с винтовками наперевес. Можно было не на шутку поверить, что ты настоящий преступник!

Был довольно холодный и слякотный апрель. Иногда хлопьями падал снег. Иногда таяло и на дворике стояли громадные лужи, по которым мне приходилось храбро шагать в валенках (без галош). Но иногда небо было голубое и ярко светило солнце! Прогулка продолжалась минут десять. Но как тяжело было опять погружаться в мрак подземелья.

НА ПРОГУЛКЕ

Солнце в сияющем небе
В узком колодце двора.
Тени на тающем снеге
Те же, что были вчера.
Путь мой размерен и краток.
Вкруг часовые стоят.
Взгляд поднимаю украдкой,
Если они не глядят.
В миг этот краткий стараюсь
Неба вобрать синеву,
Вскоре ведь вновь погружаюсь
В холод, и сырость, и тьму!

Во время этих прогулок я старалась вспомнить «Балладу Редингской тюрьмы» Оскара Уайльда. Кажется, из всех про-

изведений мировой литературы в те дни эта баллада была мне самой близкой.

Первые дни в одиночке тянулись, как смутный полусон. День и ночь отличались мало. Только днем нужно было *сидеть*, обернувшись лицом к волчку, а ночью можно было *лежать*, укрывшись дохой. Лампочка в двери горела тусклым слабым светом, камера была всегда в полумраке. Кругом были слышны шорохи и шепоты и вечный шум шагов часового, и днем, и ночью шагавшего рядом — за тонкой фанерной перегородкой, служившей наружной стеной камеры. Как видно, эта стенка была построена недавно, когда потребовалось большое количество одиночек!

МОЕМУ ЧАСОВОМУ

Дверь. А в двери — глазок.
Вдруг в нем появляется глаз.
Глянул один разок,
И снова свет погас.

Голос мой слаб и невнятен,
Не дойдет до тебя вовек.
Но без слов разговор понятен:
Ведь и ты, как и я, — человек!

Как ни печальны были первые дни в одиночке, скоро они сменились еще худшим временем! Как-то вечером, когда я только что легла после отбоя на койку и хотела заснуть, ключ в замке повернулся, дверь открылась и меня повели «без вещей» — наверх.

После длительного подъема меня ввели в кабинет старшего следователя Конова. Следователь был немолод, краснолиц и тучен. К счастью, я уже не могу теперь ясно представить себе его лица. Я была без очков. Перед глазами плыл туман, я не старалась вглядываться. Достаточно было, что я слышала и должна была отвечать.

В этот вечер начался наш страшный поединок, длившийся около месяца. Каждый вечер, как только все затихало после отбоя, часовой вел меня к следователю. Всю ночь следователь держал меня в своем кабинете. Иногда спрашивал, иногда издевался, иногда занимался другим делом. А я всю ночь сидела на стуле.

Под утро часовой уводил меня обратно. Но, как только щелкал замок в двери камеры и я валилась на койку с надеждой

заснуть — заснуть хоть на минуту! — как раздавался *подъем*, и спать было уже нельзя! А вечером, сразу после отбоя, меня вели к следователю, утром же, когда приводили обратно, раздавался *подъем* — и так без конца! Дни и ночи действительно сливались теперь в совершенно бесконечную страшную цепь... Это была пытка лишением сна, когда человек может дойти до галлюцинаций. Зачем это было нужно?

Очень просто. Старший следователь Конов делал обычное для того времени «умозаключение», казавшееся безупречно логичным: если я осталась *жива* и не была *расстреляна* немцами, значит, немцы дали мне *задание*. Какое задание?

Это следователь хотел узнать любой ценой. Разговоры наши были совершенно однообразны.

— Почему вы пришли к немцам? Что вы делали у немцев? Какое *задание* вы получили от немцев?

Он повторял эти вопросы почти каждую ночь, варьируя их на тысячу ладов. Видно было, что он повторяет одно и то же, надеясь сбить меня, получить разные ответы, уличающие меня. В этих бесконечных однообразных разговорах я давно уже «потеряла стыд». Перед этим грубым деспотичным человеком мне совершенно «не стыдно» было сознаться, что служила у немцев. Я никогда бы не могла признаться ему в своих мучениях, угрызениях совести, любви к родине. Я не говорила ничего лишнего, но отвечала резко и кратко. Слушая его голос, изредка вглядываясь в его красное лицо, освещенное светом настольной лампочки, я невольно вспоминала *другое* лицо, *другой* голос, такой же отвратительный, который я услышала здесь же, в этих стенах *семь лет* тому назад.

В то время я была совершенно беспечной, не искушенной ни в чем молодой женщиной. Все еще у меня было молодо — я была молодым педагогом, молодой матерью двоих детей... Было это в 1935 году. За три года до этого, когда я уже работала в различных технических вузах, моя бывшая преподавательница по германистике во 2-м Московском университете, Елизавета Александровна Мейер, привлекла меня к преподаванию в только что созданный Институт иностранных языков. Не оставляя основной работы в Академии, я как ассистент Мейер вела практику по курсу фонетики немецкого языка. Это мне было интересно, я собиралась приступить к своей первой научной работе — сравнительной фонетике немецкого и русского языков.

После прихода к власти фашизма в Германии положение в Институте иностранных языков сильно изменилось, появилось много иностранцев сомнительной политической ориентации.

С 1934 года начались «исчезновения» некоторых русских преподавателей, попавших на удочку к таким «иностранцам». Исчезла и Е. А. Мейер. Ее отец, епископ немецкой церкви, был обвинен в связи с фашистами. Родители, брат и сама Мейер были арестованы¹. За ними потянули всех, кто сколько-нибудь был близок этой семье. Меня, всеми признанную ученицу Е. А. Мейер, ждала, по-видимому, та же участь. Я чувствовала, что что-то должно со мной случиться, но боялась говорить о своих опасениях дома. Как-то днем меня вызвал директор Института иностранных языков и передал распоряжение — явиться вечером на Лубянку, подъезд №..., комната №... О вызове я никому не должна была говорить.

Когда я пришла вечером на Лубянку, меня проводили в кабинет молодого следователя который повел себя довольно глупо. Сначала он расспросил меня подробно о моей совместной работе с Мейер, потом начал «играть» на моих патриотических чувствах, доказывая необходимость борьбы со шпионами. И вдруг закончил свои тирады возгласами: «А вы всегда так плохо одеты? Что за туфли у вас на ногах! Молодая женщина с вашей наружностью должна бы одеваться получше! Нужно уметь устраивать свою жизнь!» После этой довольно пошлой подготовки он предложил мне работать добровольным агентом НКВД.

Это было так неожиданно, что я растерялась. Тогда следователь начал взывать к моим патриотическим чувствам и прочел мне лекцию о любви к родине. Я молчала. Он принял молчание за знак согласия и приказал мне явиться к нему на следующий день в номер одной из гостиниц в центре города.

Когда я пришла к нему в номер, он, соскочив с помятой постели, заспанный и полуодетый, совершенно фамильярно начал беседу со мной. Сообщил мне шифр и способ записи до-

¹ Отец Е. А. Мейер был епископом в немецкой церкви (кирхе) в Старосадском переулке (напротив Армянского переулка) в Москве. Через него в 1933 году шла помощь голодавшим немцам Поволжья. Его обвинили в шпионаже, и всю семью сослали. Из беседы с Н. Д. в 90-е годы. Годом ареста и ссылки семьи Е. А. Мейер Н. Д. назвала 1933-й, но, видимо, ошибочно.

несений о моем окружении — как на работе, так и в семье; сведения эти я должна была приносить лично ему, в этот же номер гостиницы.

Но он просчитался. Он недостаточно запугал меня и неправильно поставил передо мной задачу. Если бы он — со всей серьезностью! — предложил мне «работу» среди приезжих и неприезжих «иностранцев», я бы, пожалуй, согласилась. Я всегда чувствовала себя до глубины *русской*, и все вылазки иностранного шпионажа были мне ненавистны. Но быть шпионом даже в кругу родной семьи, как он этого требовал, я не могла. Просто *не могла*. Мой мозг лопался. Я не могла решить для себя вопроса: *должна* я или *не должна* доносить обо всех и обо всем без разбора? Как же теперь жить? Как дышать?

Жаркое лето. Я была в отпуске. Целые дни лежа в маленьком садике на даче в Ильинке, почти не разговаривая ни с кем, я все думала, все пыталась *решить* эту задачу.

Наконец решилась. Я поехала к следователю и заявила ему, что *отказываюсь*. Лицо его исказилось такой животной злобой, что я подумала, он пристрелит меня! Но он сдержался, только заскрипел зубами и проскрежетал, что со мной *сумеют* поговорить в *другом*, более высоком месте.

На следующий день я опять была на Лубянке и сидела в *очереди* у дверей какой-то приемной, куда меня привел дежурный. До этого, с утра, я ездила к одному психиатру, и он дал мне справку о том, что я психически невменяема (как это звучит по латыни, теперь не помню)¹. С этой справкой в кармане я и сидела теперь у двери приемной. В руках у меня была толстая книга, которую я купила в книжном киоске на Лубянской площади, — «Как сделаться планеристом».

Я просидела у дверей приемной весь день, до позднего вечера, жуя какие-то пряники и читая спасительную книгу. Вызывали расстроенных девочек, со слезами входивших в приемную и пулей оттуда вылетающих; каких-то растрепанных юнцов; пожилых интеллигентов с красными лицами; вызывали всех, кто был на очереди *после* меня, а я все сидела и читала книгу.

Видимо, это долгое ожидание было психическим приемом воздействия на «младенцев». Но книга меня спасла. Я сидела совершенно бодро и бодро вошла в двери кабинета.

¹ Как рассказала Н. Д. в беседе после 1992 года, знакомого психиатра ей порекомендовала подруга. Фамилия его была Квитко.

Там я увидела человека, совершенно не похожего на следователя, с которым я до сих пор имела дело. Глаза этого человека, казалось, видели тебя насквозь, и он все понимал без слов. Попади я к нему с самого начала, я бы, пожалуй, взялась за любую работу. Но теперь, когда я уже узнала «оборотную сторону медали» — работу рядовых следователей, — отступать была уже не в силах. Я протянула ему справку и сказала, что совершенно сознаю всю важность и необходимость подобной работы, но физически не в силах этого сделать. Я чувствую, что скоро сойду с ума.

После довольно долгого разговора человек с явным сожалением *отпустил* меня. И больше меня не вызывали. Так кончился этот первый поединок в моей жизни.

С тех пор прошло семь лет. И вот я опять с глазу на глаз со следователем. Только теперь на мне клеймо — преступница, *изменница* родины. Теперь следователь может *издеваться* надо мной, называть меня фашистской б...ю, может ударить меня по лицу, дать пинка ногой. Ночь тиха. Стены толсты. Конвоир, стоящий у дверей на выход в коридор, не сморгнет, не придет мне на помощь. Даже если я начну кричать, биться головой о стенку, ничто мне не поможет. Пускай я люблю родину, люблю русских, я ничем не докажу теперь этого. Я продажная тварь, продавшаяся немцам.

Но какое они дали мне *задание*? Кого я выдала? Какую вела шпионскую работу? Я не знаю. Я ничего такого не сделала. Но я *ничем* теперь не могу доказать своей невинности.

Старший следователь Конов ночь за ночью пытал меня всеми возможными моральными способами. Ночь за ночью я кричала ему в лицо: нет, нет, нет! Я *не получала задания*! Нет. Но все бесполезно. И на этот раз не было никого, кто бы мог помочь мне. Не было «добротного психиатра», никого. Я *сама* должна спасти себя.

Я чувствовала, что голова моя может не выдержать страшного напряжения, что я опять близка к тому, чтобы сойти с ума! Если бы еще можно было заснуть, заснуть хоть на час, хоть на полчаса! Ах, как хотелось спать. Мне казалось, что иногда я *сплю с открытыми* глазами! Спасение мое было только в том, чтобы ни на минуту не выпускать себя из рук, ни минуты не думать о том, что могло бы ослабить волю, не мучиться страшными мыслями о детях, о стариках, об их неизвестной судьбе. Нужно надеть на себя шоры, как на пугливого коня, и ни на минуту не давать свободы собственным

мыслям. Я решила каждый день проводить сама с собой занятия по всем дисциплинам, какие когда-либо изучала. С утра, после подъема, с головой хоть сколько-нибудь свежей, шли занятия по математике, физике, химии, биологии, анатомии. Потом — по истории всех времен и стран, какие только мне были знакомы, по истории литературы. Наконец, «практические» занятия по всем языкам, когда-либо мною изучавшимся.

Мысль работала чрезвычайно четко. Казалось, что знаешь все, помнишь все, что когда-либо изучала. Стройными рядами в памяти вставали все виды склонений, система спряжений латыни, древнегреческого, санскрита. На смену шли германские языки. История языков, упражнения по сравнительному языкознанию.

Расписание у меня было строгое. Каждое утро оно проверялось и уточнялось. Предмет «снимался с расписания» только тогда, когда материал был полностью исчерпан. У меня, конечно, не было ни карандаша, ни бумаги, и громко разговаривать в камере тоже было нельзя. Иногда я говорила шепотом, иногда просто мысленно читала себе лекции.

Такие напряженные занятия продолжались по 6—8 часов в день. Часам к четверем дня я настолько уставала, что делала небольшую передышку. А потом начинался новый цикл упражнений памяти: я сама мысленно рассказывала себе содержание романов, какие могла вспомнить. Вспоминала театральные постановки, читала стихи.

Под конец дня темы делались совсем необычными, чтобы совсем отвлечь себя от вторгающихся в усталый мозг непрощенных мыслей, я старалась вспомнить: 1) какие туфли или башмаки носила я с первых дней детства до Отечественной войны? 2) Какие платья? 3) Какие шляпы? И тому подобное. Вспоминала биографии своих личных знакомых, также биографии великих людей.

Все подобные занятия я проводила неуклонно, с железной настойчивостью, не давая себе никакой передышки.

Наконец, к концу апреля, я все же дошла из-за бессонницы до такого тяжелого состояния, что, казалось, отчаяние перельется через край и затопит сознание! Тогда я прибегла к последнему средству. Я стала писать стихи

Конечно, я не писала в буквальном смысле, писать мне было совершенно нечем. Я просто придумывала строчку за строчкой с таким упорством, что строчки эти словно отпеча-

тались в мозгу навсегда. Я всю жизнь любила стихи. Но не отличалась страстью сочинять. Я хорошо знала, что я не поэт и не стоит портить бумагу. Только в ранней молодости, в дни первой любви, я писала стихи на бумаге. И вот теперь, в возрасте 35 лет, в своем беспредельном отчаянии, я опять ухватилась за это невинное средство — для забвения и облегчения боли душевной. Строчку за строчкой выдумывала я свои немудреные «песни одиночки», как я назвала их теперь.

Вы уже знаете их все.

Однажды ночью, когда меня привели, как обычно, к старшему следователю Конову и я села на стул в глубине комнаты, следователь спросил у моего конвоира: «Морозову привели?» Не помню, что ответил солдат, но следователь со смехом объяснил мне, что это он так назвал меня, что эта фамилия гораздо больше мне к лицу, чем моя собственная. На мое недоумение он ответил необычайно значительно, с расстановкой: «Есть — картина — знаменитого художника — Репина. Как боярыню Морозову — везут — на казнь. Я вспомнил, глядя на вас, потому что — и вас — ждет такая же участь...» Я прикусила язык, едва удержавшись от замечания, что картину «Боярыня Морозова» написал не Репин, а Суриков. Я боялась, что следователь не простит мне такого исправления.

На мысль о сходстве моем с боярыней Морозовой его, видимо, навел мой внешний вид: меховая шуба, пуховый платок, повязанный по-русски, по самые глаза; худое бледное лицо с ввалившимися щеками и заострившимся носом; и глаза, полные непреклонной решимости, в упор устремленные на него. Я видела иногда себя в зеркале, висевшем в его кабинете, если стул мой ставили к этой стене. Сходство действительно было.

И все же он взял надо мною верх, потому что у меня уже не было сил сопротивляться. В отличие от обычных вызовов в последний раз встреча со старшим следователем Коновым произошла *днем*. Следователь был на этот раз в чрезвычайно будничном, деловом настроении и не тратил лишних слов. Он сухо сказал, что следствие *кончено* и я должна *прочесть* его протокол и расписаться.

Так как я была без очков и совсем не могла разобрать его почерк, он сам прочел мне протокол. Я не все слышала и не все понимала. Голова сильно кружилась. Глаза застилал

туман. Я слушала и засыпала. Мне только казалось, что те отрывки, которые доходили до сознания, были «шедеврами извращения». Факты были приведены настоящие, имена тоже. Но все было так как-то *подтасовано*, что с логической необходимостью получалось, что я, преподаватель немецкого языка Академии имени Ворошилова, ждала немцев, добровольно пришла к врагу, немедленно вошла в доверие и начала активную работу. Я работала преданно, не щадя сил; не ушла с немцами только потому, что получила *задание* по подрывной деятельности на советской территории, к чему и собиралась приступить, незаконно пробравшись в Москву. Получалось, что я завербованный враг всего советского, верная приспешница гитлеровцев, враг народа...

Следователь кончил читать. Молчал, постукивая толстыми пальцами по стеклу письменного стола. Передо мною лежали белые листы, исписанные его мелким прыгающим почерком. Я уставилась на эти листы и молчала, молчала. У меня было желание — схватить эти листы, смять в комок, разорвать, растоптать ногами.

Но чего бы я этим достигла? Плетью обуха не перешибешь... Этому человеку все равно ничего не докажешь... Комедия началась бы опять сначала. Все равно он сумеет перекрутить все *по-своему*, только лишний раз поиздевается надо мной...

Страшная усталость овладела мной. Я взглянула в его красное лицо — и молча подписала.

Продолжение следует

Нина Гаген-Торн

РУКОПИСЬ

На покос погнали всех. Плыл жаркий колымский июль. Весь длинный голубой день пылало солнце, звенели косы и росли груды мокрой болотной травы под круглой сопкой. Но громче кос звенели комариные армии по утрам и ввечеру.

В тот день бригадир Полтора Ивана, опустив накомарник, лежал на сене. Изредка он только поднимал голову, спрашивая: «Работаете, девушки? А ну, давай работай!»

Когда необходимо было замерить участок, он, изнеможенный, вставал и, как саженькой, отмерял его длинными ногами.

Потом снова ложился: он был вольный и мог не работать. Работали 60 женщин зека. Блатные и 58-е, толстые и тонкие, старые и молодые, стояли они звеньями, окашивая кочки.

Было так душно, что многие работали в одних трусах и бюстгалтелях, подставляя ветру облитые потом тела. К ним липли комариные армии.

У дороги сидел инструментальщик Колечка, ожидая, когда принесут править косы. Он сидел, небрежно посвистывая, издали следя, самостоятельно ли ведет себя жена его, Дорка. Она пела лихие песни, зеленея беретом в дальнем звене. Ее розовые, покрытые синими надписями руки выпирали из канареечной майки. Они летали, вертя косу между кочками. Иногда она перекрикивалась с Колечкой, края его веселым матом.

Кончив точить косы, Колечка, черноволосый и стройный, мелкой, дробной своей походочкой, перебирая завернутыми до половины голенищ сапожками, переходил в другое звено.

Он не спускал накомарника, только изредка обмахиваясь пучком лошадиных волос в резной рукоятке: Колечка умел держать шик.

Ходили вспененные, пуховые облака. Казалось, в воздухе открыли кран с горячим паром — дышать было трудно. Женщины, мокрые, задыхающиеся, двигались в слепом раздражении. Они молчали.

Колечка от края дороги злыми глазами разыскивал желтую Доркину майку. Он томился, и ему начинало казаться, что

Дорка заигрывает с вохровцем, что она ожидает приезда водителей машин, чтобы закрутить с ними. Он разуверился в ее самостоятельности и искал случая показать свою власть.

Дорка громко захохотала. Поправляя зеленый берет на башке завитых волосах, направилась к кустам. Колечка вскочил, отбросил точило и дробной своей походочкой пошел за ней.

— Куда? — спросил он негромко и хрипло.

Дорка опять захохотала и крикнула:

— Шабашьте, девки! Идем по ягоды!

Большие зеленые ветки зашелестели. Колечка, по-кошачьи передвигая лопатками, вошел за ней в кусты. Их не стало видно.

Колечка побил Дорку. Она вернулась в звено, отирая слезы и кровь, ругаясь сложными матами:

— Ни за что набросился, паразит несчастный!.. Решительно ни за что... Выдумал, кусок идиота, какого-то водителя, я его сроду не знаю...

Дора ругалась, гордая проявлением Колечкиной ревности.

Колечка подобрал точило и ушел спать к себе в палатку — он считал свой рабочий день оконченным. Уже два месяца, как Колечка кончил срок, но продолжал работать инструментальщиком.

Дорка утверждала, что он живет здесь ради нее. Неизвестно почему, но он действительно оставался на покосе. Сюда к нему приезжали водители, и Колечка уединялся с ними в палатке. Живший с ним бригадир Полтора Ивана скромно удалялся. Иногда водители звали вохровца. Из палатки раздавались звуки гитары, хохот, пахло спиртом. Потом водитель возвращался к своей полуторатонке, и она, гудя, уезжала в кусты. Вохровец, ухмыляясь, шел в избушку, чистую и оструганную, как игрушечная. Полтора Ивана возвращался в палатку и ложился на койку. А Колечка долго сидел у входа, наигрывая на гитаре под хор комариных дивизий. Кто-то прокрадывался мимо кустами.

Вспыхивало и гасло розовое небо. Синели горы. С жировок со свистом пролетали утиные стаи. Туман над покосами двигался, как белые фигуры людей.

Так шли вечера. Они дышали запахами скошенной травы, дымокуров, нежным лесным дурманом и жареных блинов из белой избушки.

В избушке жили четыре стрелка вооруженной охраны. В палатке — вольняшки, инструментальщик и бригадир. В бараке — 60 женщин зека.

Ночами заключенные плотно лежали на нарах, а весь длинный колымский день — звенели косами в высокой болотной траве.

Жарок июль. Один день — как другой. Косцов поднимали в пятом часу утра, по росе. К одиннадцати они возвращались на обед, спали полуденные часы, а потом гребли сено до вечера.

Возвращаясь с работы, они шли к ручью — смыть пот и грязь. Доходить до ручья разрешалось. За него — требовалось особое согласие начальника. Но блатные девушки, будто стирать или мыться, уходили за ручей, в кусты.

Туда призывали их осторожным гудком водители машин, приехавшие в женский лагерь, чтобы найти жену: аристократы водители привозили спирт, буханки белого хлеба, наволочки с сахаром и банки с маслом. Они дарили «женам» туфли и платья. Водители были блистательными мужьями, и девушки ночью на нарах долго шептались и хихикали, рассказывая о встречах с ними.

58-я статья, неторопливые и покорные, как утки, долго умывались. Потом шли ужинать. После ужина укладывались или усаживались по своим постелям.

Если оставалось от работы немного сил, они вышивали на мешковине, распуская для этого старые чулки и трусы. Блатные девушки покупали у них вышивки за масло и сахар.

• • •

Синели прозрачные ночи. Золотом и зноем пылали горячие дни. Уходящее время отмечалось тем, что сначала сопки розовели цветами, потом — все стало синим от голубицы, а позднее сопки покрылись красными платками брусники и кружевом ягод шиповника.

Все мечтали о дожде. Это даст активированный день, можно будет лежать, не выходя из барака.

Больше всех мечтала об этом Вера Владимировна Метельникова. Она была мобилизована на покос вместе со всеми специалистами совхоза и очень тяготилась невозможностью хоть на минуту остаться со своими рукописями.

Специальностью В. В. Метельниковой в лагерях было ассенизаторство. Она попала на эту работу вскоре после этапа и не хотела расстаться с ней.

Чистить уборные в вольном поселке — нелегкое ремесло, но в нем есть свои преимущества: благодарные жители иногда предлагают на кухне тарелку жирных щей или горячего чаю с белым хлебом. Ассенизатор ходил по вольному поселку один, мог зайти куда вздумается, посидеть в тепле. Веру Владимировну привлекали не щи и не чай, у нее не было хахаля, с которым она бы хотела встретиться, но ей нравилась возможность распоряжаться своим временем и отдаваться своим мыслям.

До лагерей В. В. Метельникова занималась историей музыки. Она преподавала в Московской консерватории по классу композиции.

Чистя уборные в совхозе Эльген, она могла без помехи напевать арии из «Хованщины» или траурный марш из «Гибели богов» — она любила Вагнера.

Проходя по поселку с метлой и лопатой, она насвистывала и бормотала, в такт покачивая головой. Встречаясь с кем-нибудь, перекидывала лопату на плече и раскланивалась.

Ее высокая, худая фигура в серых брюках и телогрейке казалась почти мужской. Ветер трепал стриженные полуседые пряди. Она улыбалась вежливо и спокойно. Но иногда она двигалась, никого не замечая. Небольшие умные глаза смотрели куда-то. Рулем вставал длинный нос. Из очищаемых уборных в те дни раздавались не оперные арии, а неясное бормотание, вырывались отдельные музыкальные фразы. Это Вера Владимировна перекладывала на музыку свои стихи.

Потребность в стихе, оставленная в юности, вернулась к ней в одиночной камере тюрьмы. Стало мало музыкальных мелодий — Вера Владимировна все пристальнее вдумывалась во взаимоотношения между словом и музыкой как разными формами выражения внутренних мелодий. Ее занимали вопросы сочетания внутренних и мировых ритмов.

Вглядываясь в великолепные краски сияющего зорями колымского неба, она слышала звучание потрясающей фуги. Мировой оркестр — радугами и облаками — пел гимн величию жизни.

• • •

Между синими сопками кучей серых досок лежал поселок. Сторожевые вышки с часовыми опоясывали лагерь, и колючая проволока оцепляла его. Все это было затерянным, почти незаметным в болотной долине между гор.

Горы окунались в небесную чашу, осиянные ее великолепием.

Выйдя из маленькой дощатой уборной, которую чистила, Вера Владимировна стояла, высокая и прямая, опершись на лопату. Она поднимала вверх, к небу, голову. Ветер раздувал полуседые волосы. Небольшие темные глаза ее, да нет, все долгоносое худое лицо сияло ярче, чем многоцветное колымское небо. Она, казалось управляла происходившим на небе великолепием. Сжимала лопату в руке и властным жестом протягивала вторую руку.

Гремела красками великолепная fuga неба. Сияла и переливалась, отцветая одними и наполняясь другими оттенками.

Вера Владимировна не замечала ничего, кроме неба, и философия ритмов развертывалась ей все звучней и понятнее...

Она окуналась в такую красоту и такую свободу, о существовании которых на свете не подозревал гражданин начальник лагеря.

Потом, оглядываясь вокруг, кивала самой себе со смущенной горделивостью удавшегося творчества.

Она возвращалась в лагерь, неся на плече инструменты для чистки уборных. Но результаты творчества необходимо сохранить. Бумагу отбирали у заключенных, запрещая писать. Вера Владимировна ухитрялась доставать ее, мелко исписывать нотами и прятать листочки. Так закреплялись растущая опера и отдельные краткие записи о философии ритма.

Она носила мешочек с записями на пояске под брюками — личные обыски бывали редко.

На покосе у Веры Владимировны не было времени для записей. Она мечтала о дожде, освобождающем от покоса: растянувшись на тюфяке, она сможет писать под шумящие за баракom струйки дождя.

Но дожди не приходили, стояла жара. Мешочек с рукописями прилипал к телу и пропитывался потом. Вера Владимировна решила снять его и оставить в бараке — вряд ли можно ожидать обыска на маленькой покосной командировке.

Накануне этого, самого жаркого дня вечером загудели на трассе машины. Гудки хорошо доносились в вечеряющем тихом воздухе. Они были услышаны, кем надлежало. Водители подошли к кустам, неся дары: наволочку сахара, масло, колбасу и консервированное варенье.

Ночью утомленная 58-я слышала, как шушукались и смеялись. Бася Лазаревна, соседка Веры Владимировны, расска-

зывала утром, что видела в синем сумраке скользнувшие тени. Они возвратились перед подъемом.

На работе весь день девушки ели белый хлеб, обильно смазанный вареньем, и хохотали. Дорка ела и хохотала вместе с другими, что очень не понравилось Колечке.

Общее веселье не понравилось и дежурному вохровцу: в избушке охраны не появилось в тот день ни хороших папирос, ни спирта, что было уже явной несправедливостью.

Вечером, когда женщины вернулись с работы, настало возмездие — их не пустили в барак. Начальник ВОХРа, молодой, белозубый и крепкий парень, сказал, поправляя кобуру на ремне: «Будет произведен обыск имущества заключенных. Двое будут присутствовать. Ну хоть вы и вы!» Он ткнул пальцем в Басю Лазаревну и Марию Кременчук.

Мария, чернобровая женщина с Полтавщины, отбывавшая срок за то, что не соглашалась на закрытие церкви у себя в селе, незаметно перекрестилась под платком. Бася Лазаревна тревожно взглянула на Веру Владимировну и оправила на себе блузку. Они вошли в барак. Остальные были выстроены линейкой. Три стрелка выносили из барака узлы и чемоданы. Начальник наблюдал, засунув за ремень ладони.

Стоя в строю, блатные девушки громко делали свои замечания, 58-я тихо шушукалась.

У Веры Владимировны захолонуло сердце: рукописи в бараке! Кто бы мог ожидать дневного обыска!.. Они даже не тщательно спрятаны — мешочек в ямке земляного пола, под нарами. Конечно, там темно и тесно, холщовый мешочек незаметен, но все-таки!.. Впервые за три года она допустила беспечность, и вот!..

Она неподвижно стояла в строю, высокая и худая как жердь, незаметно сжимала руки. Пальцы на руках и ногах холодели.

Из двери барака на Веру Владимировну глянуло лицо Баси Лазаревны, от расширенных зрачков золотисто-карие глаза ее были совсем черными. Они сказали ей: «Кончено! Нашли...»

Стрелок вынес и передал начальнику мешочек с рукописями. Вера Владимировна глотнула воздух... Золотые вечерние лучи. Рои толкачиков в них. Веселая зелень лиственниц. Все осталось. Но перед Вериними глазами минутами пленкой все закрывалось, мутнело.

В строю стояли женщины, перед строем грудой лежали манатки. Стрелки швыряли в груды последние чемоданы. Один с торжеством притащил килограмма полтора масла.

— Чье?!

— Это мое, — сказала старушка Фрумкина.

И стрелки захохотали:

— Нашла мужа!

— Это из посылки, у меня есть квитанция.

— Потом разберут!

Другой стрелок вытряхнул узелок. Подняв розовый столбик, по земле покатила коробка пудры.

— Кусок паразита, что ты делаешь?! — закричала из строя черненская девушка с подведенными бровями. — Всю мою пудру рассыпал!

Стрелок засмеялся и подцепил носком коробочку.

— Ничего, Алка, новую достанешь! Мужья привезут!

— Не ты возил, не тебе и рассыпать!

— Замолчать в строю! — крикнул начальник командировки. — Скоро закончите? — спросил он стрелков.

Вера Владимировна отмечала автоматически, как блестели белые зубы молодого начальника — он весело, с удовольствием распорядился людьми. Туготелые, сытые парни охотно пошвыривали и рассматривали бабье барахло. Вынесли еще с килограмм сахара в наволочке.

— Все!

Улов был небогат.

— Расходись!

Владелицы стали собирать свои вещи. Вера Владимировна все так же спокойно, точно заолодев, пошла к своей постели. Взяла молча ложку, направилась из барака — ужинать.

Бася Лазаревна хотела заговорить с ней, посмотрела и перхнула. Тихая Бася уже знала: если человек наколет палец — он сразу вскрикнет, если оторвет ему руку — он несколько минут пробежит, еще не чувствуя боли. Он оглушен. Как в ранах телесных, так и в душевных: чем глубже ранение, тем дольше нет чувства боли — оцепенение. Тогда трогать не надо, пусть отойдет, боль войдет постепенно. Потом уж можно заняться ею.

Вера Владимировна видела: три года напряженнейшей внутренней жизни изъята стрелком. Но еще не поверила в это.

И — ела суп, закусывая ломтем хлеба. Только не было вкуса во рту да была особенная ясность видимого: кусок хлеба, ложка, щели стола — все запоминалось, как нужное. И был странный холод где-то в ногах и в середине живота.

«У лагерников, верно, душа в животе», — усмехнулась про себя. Вдруг почувствовала, что ей необходимо лечь, и вернулась в барак.

Видно, долго она просидела за столом — все уже лежали на нарах, и Бася Лазаревна успела сообщить 58-й свои переживания при обыске. Увидев Веру Владимировну, она испуганно замолчала и стала поправлять на себе одеяло.

Место Баси Лазаревны было рядом с Метельниковой. Еще не остыв от волнений, Бася Лазаревна укрылась розовым домашним одеялом и расправила все складочки на пододеяльнике. Сделав большие глаза, она громко прошептала:

— Ш-ш! Не надо ее беспокоить! Это целое несчастье, подумать только!

Вера Владимировна скинула ботинки, одежду и застыла под одеялом.

Волнение одолело Басю Лазаревну. Не выдержав молчания, она зашептала:

— Вы спите, Вера Владимировна?

— Нет.

— А я не могу успокоиться... У нас в Литве никогда не бывало обыска... Кажется, можно бы уже привыкнуть — ну что такое обыск? Что я могу еще потерять? Я уже потеряла! Мужа, детей и вещи. И будто снова что-то теряешь... Но, может быть, не стоит-таки вам так огорчаться из-за этих бумаг? А?

— Я три года над ними работала, Бася Лазаревна, — механическим голосом сказала Метельникова.

— Ай-ай-ай! Три года! Ну, все равно, вам бы отсюда их не вывезти. Удивительно, что вы так долго сохраняли... Мы все уже потеряли... так я считаю... Я таки потеряла все сразу: мужа, детей и все вещи... И если мы все-таки живы после этих ударов, значит, уж нужно жить!

Вера Владимировна лежала не слушая. Она застыла и не могла бы определить, в каком полусне прошла ночь. Короткие синие часы сменились солнечным светом. Ударил звонок на подъем. Она встала и вышла из барака.

Женщины бегали и суетились. Стрелок со штыком у ружья покрикивал, собирая на работу. Птицы щебетали и пели в кустах.

Вера Владимировна работала в звене с Басей Лазаревной и Ирочкой. Как всегда, она взяла косу, грабли и встала в строй рядом с ними. Как всегда, стрелок повел строй в луга, и бригадир

Полтора Ивана, отшагивая метры, отвел норму. Как всегда, умытое солнце улыбалось в голубом воздухе над сопками и гудели комары.

Вера Владимировна попробовала пошутить с Ирочкой.

Вы сегодня так красивы,
Что вы видели во сне? —

сказала она стихотворную фразу диалога, которому сама обучила Ирочку. Но Ирочка, 20-летняя ленинградская студентка, с голубыми глазами и длинными косами, взглянула на нее испуганно, забыла, что нужно отвечать, поперхнулась и покраснела.

Вера Владимировна и сама поняла, что шутка не вышла — сломался голос.

Чуть нахмурившись, она взяла косу в руки и стала резать траву.

— Я пойду обходить кочки у кустов, — сказала она.

— Хорошо, хорошо, Вера Владимировна, пожалуйста, ничего не имею против, — торопливо ответила Бася Лазаревна. — Мы с Ирочкой пойдем к низку.

Когда Вера Владимировна отошла за кусты, Ирочка всплеснула руками.

— Какая же я, Басенька, глупая! Ну, надо же! Ведь надо было ответить, как будто ничего не случилось! Но у нее такие глаза... И она так осунулась за ночь, что я растерялась.

— А вы думали, не осунется? — отвечала Бася Лазаревна. — Такое несчастье! — Она покачала черной, курчавой, как у барашка, головой и вздохнула. — Когда я лишилась мужа, детей и всех вещей, я три дня и три ночи не могла ни спать, ни есть. Меня привели в камеру, я сидела и раскачивалась, и раскачивалась. На третий день я была как щепка. Ой, я думала, что уже умираю! А она говорит, что эти бумаги — как дети для нее...

— Я представляю себе! — прошептала Ирочка.

— Я — нет. Как это — живые, хорошенькие дети и куски бумаги? Но разве я все на свете понимаю? Каждому человеку — свое горе и своя болячка. Сколько лет она тешилась этим — и вдруг!.. Это болит! Это таки очень болит!.. — подтвердила она, покачивая головой и берясь за косу.

Ирочка еще раз вздохнула и встала рядом.

Вера Владимировна не замечала, что у нее болит: она просто перестала что-либо замечать. В полном бездумье взмахивала и взмахивала косой, обводя кусты. Высокие желтые цветы, осы-

паясь серебристым пухом, ложились к ее ногам. Она не замечала ни цветов, ни своих рук, ни времени...

Очнулась, когда пальцы совсем затекли, а солнце стало сильнее припекать. Был, наверное, десятый час на исходе.

Она воткнула косу черенком в землю и пошла к напарникам.

— Простите, — сказала она, растерянно улыбаясь. — Вы тоже не отдыхали из-за меня? Я как-то не заметила времени. Другие уже давно перекуривали? А вы, кажется, глядя на меня, не садились?

— Ничего, ничего, это очень хорошо — торопливо сказала Ирочка, — нам так понравилось — смотрите, сколько мы сделали до жары!

— Перекурим это дело.

Они не курили все трое, но в лагерях каждый отдых называется перекуром.

Бася села на скошенную траву, доставая хлеб. Она, как всегда, раскрыла аккуратный вышитый мешочек, разделяя ломтики хлеба Вере Владимировне, Ирочке и себе.

И тут впервые Вера Владимировна почувствовала, что грубая боль, как костлявая рука, схватила за сердце. Оцепенение души прошло. Она легла на свежее сено, смотря в голубую бездонность воздушного свода.

Что делать дальше? Что можно сделать, когда заключенным запрещено писать, а у нее были рукописи? Да еще нотные! Идти, говорить, доказывать, что она не может жить без этого? Бесполезно! Никто не поймет, никакой начальничек не станет выслушивать... Это ясно!..

Бася Лазаревна и Ирочка вполголоса, как при больном, переговаривались, жуя хлеб. Но если бы даже они громко кричали, Вере Владимировне это не мешало бы — самые фантастические планы роились у нее в голове.

Что сделать? Подождать, пока стрелки будут пьяны, и выкрасть из избушки? Поручить выкрасть кому-нибудь из блатных девушек, что убирают в избушке? Отдать ей все: пуховое одеяло, шерстяное платье, шубу, все, что сохранилось из дому...

Но начальничек может завтра же отправить рукописи в Эльген... Нельзя ждать... Самой подпойть стрелков?.. Где достать спирт?

В больнице фельдшером работает профессор Перухов. Рассечь себе косою ногу, пойти в больницу, рассказать все и попросить спирту? Оторванный от кафедры, от своей работы, он поймет ее отчаяние. Но согласится ли он пойти на такой боль-

шой риск — дать спирт? Что же, просить в НКВД? Или у самого начальничка? Если бы она была красива или хоть молода! Тогда можно легче чего-нибудь добиться...

Перекур кончился. Она встала вместе со всеми и, быстро вода косой, вспоминала, как пришли к ней в лагере первые мотивы. Сразу с этапа их отправили на лесоповал. В лесу на сияющем и обжигающем морозе валялись они высоченные лиственницы. И тогда зазвучали ей мотивы «Сампо».

«Сампо» — сокровище, счастье финского народа, похищенное злой Лаухи и унесенное далеко на север. Оно, верно, горит где-то здесь, в северных синих горах.

Это сокровище не только финского народа, это общее, человеческое счастье. Где же тот Вейнемейнен, который вернет его от Лаухи?

Мотив Вейнемейнена пришел уже в шуме весенних ручьев и расцветающих трав. Старый, мудрый Вейнемейнен ехал в лодке. Все годы жили в ней эти мотивы, слагались в действие оперы. И опера уже почти созрела. Удивительнее всего, что и слова либретто сложились. И вот — все исчезло... Исчезло волшебное «Сампо». Разве возможно воссоздать это в памяти? Вера Владимировна вслушивалась в себя. Выпало все — она не помнила ни одной мелодии. Пусто. От боли она жмурилась и качала головой. Руки механически двигали косу, и от механичности движения боль отступала и потом снова накатывала волной. Руки холодели, до тошноты заходило сердце, отказывалось биться...

К вечеру она устала от бешеного кружения планов. Прозвонили окончание работ, и строй ушел в лагерь. Она не пошла ужинать. В апатий растянулась на своей постели, не замечая, как укладывается барак, как идет время, переходя незаметно в какое-то другое, полусонное сознание, вне времени...

За окошком пала большая роса, порозовели мокрые стеклышки. Стало слышно, как зачирикали птицы. Она снова закрыла глаза, не засыпая. Через какое-то время ударил *подъем*, зашевелились в бараке. Снова настал день работы.

Было сыро и туманно в тот день. Солнце ушло во мглу. Она подошла к Колечке править косу и молча сидела на кочке.

— Что это ты, Вера Владимировна, какая-то... Ко всему беспристрастная? — спросил Колечка, обтачивая кончик косы.

Вера Владимировна вдруг почувствовала необходимость рассказать ему...

— Колечка, — сказала она, глядя в непонятную глубину воровских Колечкиных глаз, — вы играете на гитаре и любите музыку, кажется, вы даже сами складывали песни?

— Случалось! — усмехаясь, кивнул головой Колечка.

— А думали ли вы, Колечка, что переживает человек, который пишет большую вещь, оперу, например, какого это требует напряжения?

— Не думал, — ответил Колечка, — а занятно, верно?

Колечка, не выпуская папиросы изо рта и прищурившись, разглядывал ее.

— Ты это к чему, Вера Владимировна?

— Хочу узнать, понимаете ли вы, что самое дорогое человеку в жизни — суметь выразить то, что у него на душе, рассказать прекрасное, что он увидел, и отвратительное, чем возмутился?

— Это я, пожалуй, понимаю. — Колечка выплюнул папиросу и повернулся к ней. — У каждого внутри — свой червонный туз, значит. И мечтает он, чтоб эта карта была. Все — и ваших нет! Ну, про что будем говорить дальше? Твой ход!

— Колечка, мой червонный туз, как вы называете, это творчество музыки. Все эти годы на Колыме я писала оперу. На воле я была... Я работала в консерватории... Жила рядом с музыкой всю жизнь. А здесь мне она — нужнее хлеба. Рубим лес, чищу уборные, кошу сено — звенит во мне песня. От песни я — вольная, нет мне границ, и никто надо мною не властен! Понимаете, что они для меня?

— Коли вольная, чего боле? — совсем тихо сказал Колечка.

— Да! — кивнула Вера Владимировна худым своим длинным носом. — И надо мне, Колечка, поймать, записать эти песни, чтобы остались они навсегда, чтобы память не пропала о них. Это у всех, кто пишет, такая потребность. Вот и записывала. А записи, знаете, как сохранять?

— Понятно! — кивнул Колечка.

— Я все эти годы хранила, записывала и на себе носила в мешочке. А при этом обыске — отобрали его в бараке! И теперь у меня — вынута все внутри! — Губы у нее дрогнули... Она посмотрела очень прямо Колечке в глаза. Уставила в него длинный нос и доверчиво, как брату, сказала: — Представляете вы, Колечка, что я пережила в эти дни? Ну где выход? Ведь не достать... Ведь пропал мешочек!.. Не отдаст он его, отправит в НКВД, а там — сгинет. Лучше бы уж я сгнула, а рукописи остались!

— Это почему? — поднял брови Колечка.

Вера Владимировна улыбнулась ему.

— Они — лучшее, на что я была способна. Ну, ты посмотри на меня! Что я такое?

Колечка посмотрел. Перед ним сидела долгая нескладная фигура, сложив в коленях руки, усмехаясь темными небольшими глазами.

— Я-то куда уж, а вот песни — это дети мои. Прекрасные дети или — птицы. Я дала им жизнь, вылетают они и должны были вечно жить. Быть свободой!

Что-то такое светилось в ее маленьких глазах, что Колечка подвинулся и положил ей на колено свою маленькую сильную руку.

— Ну? — сказал он. — Что же теперь?

— Что же теперь? Что мне осталось, Коля? Пустота...

Колечка в волнении облизнул губы.

— Ты не того, Верочка, — сказал он, сжимая ей колено, — ты не того... Еще не вся карта бита... Сыграем без козырей!

— Как это без козырей? — усмехнулась она.

— Пустим крестового валета через налево. Не тушуйся!

Колечка вскочил и залихватски подмигнул ей:

— Я пошел! К другому звену... Всего!

Вера Владимировна покачала головой: для чего она рассказала ему? Но, она сама не знала почему, у нее появилась какая-то надежда. Вдруг совершенно немыслимым образом рукописи вернутся?! Этот лихой блатарик Колечка понял ее. Может быть, вот так же просто все рассказать начальничку и в нем зашевелится человеческое понимание? Пойти и так попросить его? Бесплезное унижение!..

В спокойном, прохладном свете этого дня казалось бредом, что можно вернуть рукописи. И все-таки ей стало легче от Колечкиного волнения. «Но блатарики все экспансивны, — подумала она, — он, конечно, сочувствовал, а сейчас, верно, уже матерится или целуется с Доркой, забыв, о чем говорил пятнадцать минут назад».

Она взмахнула косой, влажная трава легла длинными седыми рядами. Ходила, ходила коса, и ложилась, ложилась трава в пустом, бездумном, беспесенном молчании...

Ударил звонок на обед. Поднялся с сена дремавший вохровец, радостно завизжали девчонки. Со всех сторон потянулись звенья женщин к командировке. Вера Владимировна воткнула косу ручкой в землю и пошла вместе со всеми.

Она легла в бараке, обедать не хотела. Лежала, заложив руки под затылок.

В барак всунулась голова стрелка.

— Метельникова здесь? — спросил он дневальную.

— Здесь! — отвечала Вера Владимировна, поднимая голову.

— К начальнику!

— Иду.

Стрелок скрылся.

Вера Владимировна дрожащими руками натянула ботинки, медленно зашнуровала их и спокойно вышла.

Все опять достигло удивительной яркости. Каждая веточка, каждый гвоздик на двери избушки запечатлевались в ней навсегда.

Она постучалась и вошла.

— Вы меня вызывали, гражданин начальник?

Он сидел за столом, приосанившись. Белозубое молодое лицо он сделал полным веса и значения.

— Ваши рукописи? — спросил, откидываясь на спинку стула и постукивая пальцами по листочкам. От него чуть пахло спиртом и жареным маслом. Он явно представлял себя следователем и с мальчишеским удовольствием играл в это.

— Да, мои.

— Это ноты. Я просмотрел их. Для чего вы их держите?

«Надо не показать волнения», — подумала Вера Владимировна.

— Я музыкант по профессии, — тихо сказала она, — записываю то, что приходит мне в голову...

— Г-м-м... А вы знаете, что заключенным не полагается иметь записи? Вас прислали сюда работать, а не записывать.

— Я делаю это в свободные минуты... Я не могу иначе.

Он скрипнул стулом, садясь поудобнее, и посмотрел на нее наивными круглыми голубыми глазами. Сытый, веселый, в сущности добродушный мальчишка, он не знал — что бы еще сказать?

— Ну, — сказал он, — вредного я в них ничего не установил.

Он помолчал минуточку, придумывая что-нибудь поинтереснее, не придумал. И вдруг закончил:

— Можете получить их обратно! — Он протянул ей листочки.

— Спасибо, гражданин начальник.

Вера Владимировна взяла листочки и вышла из избушки. У нее медленно кружилась голова.

• • •

Колечка стоял у дверей своей палатки. Она подошла к нему, держа мешочек с рукописью.

— Колечка, как вы это сделали?! — спросила она. — Как вы сумели?

— В лагерях не спрашивают — как сумел, — усмехнулся Колечка. — Получили?

— Колечка, понимаете ли вы, что это для меня? Что вы для меня сделали?

— Выиграл без козырей, — конфузливо отшутился он.

Маленькие темные глазки Веры Владимировны стали огромными. Не было ни большого носа, ни худого утомленного лица ее, только сияние расцветших, молодых и прекрасных глаз. Она взяла Колечкину руку.

— Помните, — сказала она, — помните, Колечка, что вы теперь участник в создании оперы. И если мы выйдем отсюда, мой дом — это всегда будет и ваш дом, что я сделала б все, что могу, для вас. И если зазвучит она в Большом театре еще при нашей жизни — вспомните, что это ваша опера, что она звучит благодаря вам и вы имеете на нее право... Понимаете ли вы, как она важна для меня?

— Понимаю, — усмехнулся Колечка. — Надо же когда-нибудь и хорошее что-нибудь сделать... Не все безобразничать!

Виктор Рубанович

РАССКАЗЫ

АЗБЕЛЬ

Странное дело... На память я никогда не жаловался, и вдруг провал. Долго не мог вспомнить я его фамилию, еврейскую, довольно короткую, и было там в начале не то «с», не то «ш», не то «з». Самого-то его помню до последней морщинки на узеньком выпуклом лбу, а вот фамилия?.. Мучительно пытаюсь вспомнить: Шнабель? Сандлер? Нет, не то. «Р» точно не было. А может быть, не «с», не «ш», а «з»? Зайдель? Зайпельт? Не то. Ломаю голову, и все попусту. Нет, хватит, надо отложить, подождать — само всплывет. Стоп! «Л» на конце точно было. И всплыло: Ашбель, нет, что-то чуточку иначе. Асбель, и вот, наконец, — Азбель!! Вот так-то, не на «С», не на «Ш», не на «З» — Азбель.

Был он среди нас самым маленьким, самым тихим и слабосильным. Называли его только по фамилии. Имени и тем более отчества никто из нас не знал и не интересовался узнать.

Почти каждый в лагере инстинктивно пытался с кем-либо объединиться, обычно сбивались по двое, реже по трое, вместе работали, добывали питание, готовили пищу, ели. Называлось это колхоз. В одиночку держались либо немногие сильные и суровые натуры, либо подонки, изгои, общения с которыми избегали.

Азбель отнюдь не был сильным, не был и подонком, однако всегда держался в стороне от всех, редко с кем-либо заговаривал, казался очень робким. Его слегка дребезжавшего тоненького голоса мы в бараке почти не слышали. Я за все время, прожитое рядом с Азбелем, не перекинулся с ним и парой слов. Почти мальчишка, я неосознанно тянулся к людям сильным, решительным, в чем-то старался им подражать.

А тут был слабенький тонкокостный человечек с тонкими сухими руками, чаще безвольно опущенными вниз, а порой нервно перебиравший пальцами. Сухонькое высоколобое лицо, как бы обтянутое тонкой желтоватой кожей, и только на скулах пят-

нами выступал болезненный румянец. И все же он запомнился мне на много, много лет, особенно его глаза — большие, карие, влажные и всегда печальные; такие бывают у маленьких смертельно больных обезьянок.

Однако доходягой, в обычном смысле, неряшливым и опустившимся, этот хилый человечек не был. Старенькая, третьего срока лагерная одежка содержалась опрятной, была аккуратно залатана; тонкая шея как-то трогательно-жалко обернута ядовито-зеленым полушерстяным шарфиком, возможно, единственным, что он сумел сохранить с воли. Этот шарфик Азбель носил в любое время года, в любую погоду, тщательно закрывая им шею и узенькую впалую грудь.

Из-за слабосильности и постоянной отрешенности Азбеля не посылали на работы, где требовалась хотя бы мало-мальская сила и сноровка. Даже дневальным его не решались ставить: где ему было таскать дрова для печи и тяжелые ведра с водой. Определяли его сторожем или на случайные работы, где-то прибрать, подмести, а больше был он без работы на шестистах граммах хлеба плюс скудный приварок. Никаких посылок с воли он не получал.

Было в Азбеле нечто вызывавшее острую жалость, такое чувство испытывают к безнадежно больным детям или зверькам. Жалели его многие, но помочь было нелегко — жили все трудно, почти впроголодь. Пожалуй, только Илья Любарский, молодой, деятельный начальник кирпичного завода, старался как-то поддерживать кроткого печального человечка, пытался вызвать его на разговор и узнать о его прошлом. До какой-то степени это ему удалось. Илья был моим близким другом и кое-что мне рассказывал.

До ареста Азбель жил в небольшом белорусском городке. Был он совершенно одинок, работал в какой-то небольшой конторе; тихое, однообразное существование мелкого служащего, безропотного, законопослушного. Старательно выполнял Азбель свои несложные обязанности, исправно, даже охотно, не как другие сотрудники, ходил на все собрания. Сидел, слушал, аплодировал. На частых тогда демонстрациях носил плакатики с лозунгами или портреты вождя. Это ему нравилось, он чувствовал себя значительным, праздничным, не как в обыденной жизни. Никогда он не роптал, всем был доволен.

Время было сложное, где-то в верхах шла ожесточенная борьба за власть, начинались процессы «вредителей, врагов народа». В газетах печатались статьи о вражеских происках, о злодейских

замыслах, признания в чудовищных злодеяниях. Все им верили. Азбель продолжал корпеть в своей конторе, скромный, незаметный, старательный, подлинно — винтик.

Все более грозовой становилась обстановка. Пошли новые процессы со смертными приговорами, на фасадах райкомов и райисполкомов водружались огромные плакаты: мощная рука в ежовой рукавице сжимала схваченную жалкую фигурку вредителя, заговорщика, врага, и с нее заостренными кверху алыми каплями стекала кровь.

И вот тут какое-то большое, невыносимое, раздирающее душу чувство возмущения, неприятия этой кровавой символики перевернуло темное сознание тихого исполнительного человечка, с истовой гордостью носившего на демонстрациях плакатики и портреты. Корявыми буквами выводит он на картонке слова: «Довольно крови! Помилование!» Слабыми сухонькими ручонками с трудом приколачивает Азбель эту картонку к палке и выходит один на свою последнюю в жизни демонстрацию. Дальше — арест, тюрьма, следствие, приговор Особого совещания — пять лет лагерей.

Однажды в Москве близкий мне человек, тяжелобольной, с трудом передвигающийся с помощью палки, остановился удивленный. Унылый, сильно опьяневший мужик, держась для равновесия за решетку ограды, однообразно твердил: «Явреи — это такие люди!», затем после паузы снова повторял ту же фразу, нажимая на слово «такие». Знакомый мой, будучи сам из таких людей, хоть и нелегко ему было стоять на месте, застыл, заинтересованный, и ждал; хотелось узнать, какие такие эти люди. По тону пьяного трудно было понять, как он сам к ним относится. Долго ждал мой знакомый, но так и не дознался — пьяный твердил одно и то же и ничего больше...

Не знаю точно и я, какие такие люди евреи. Думаю, однако, что, как и все прочие, самые разные. Много среди них людей деловых, хватких, отлично приспособленных к сложностям жизни, но, по удивительному контрасту, рождаются и другие — на редкость неприспособленные, детски наивные, начисто лишенные корысти, из разряда юродивых и мучеников.

Таким и был Азбель. Он не роптал, обычно не жаловался на трудности, ни с кем не ссорился. А приходилось ему, несмотря на исключительную неприхотливость, ох, как нелегко. Болезненный, непрактичный, он не способен был ни схитрить, ни что-либо при случае стащить, как это делали у нас почти

все. Скучный лагерный паек был единственным его достоянием, и постепенно Азбель слабел.

Однажды Азбель, обычно сторонившийся всякого начальства, неожиданно пришел к Илье Любарскому. Илья принял его приветливо: «Что скажете, Азбель?» Тот, смущаясь, стал рассказывать, что в последнее время кто-то ежедневно его, Азбеля, гипнотизирует. «А кто именно?» — спросил Илья. «Не знаю». — «В чем же этот гипноз?» — «Я каждый день очень хочу есть, только о еде и думаю, ночью не сплю, все думаю». Илья улыбнулся. Если бы такое сказал кто другой, можно было бы предположить, что человек просто хитрит. Но Азбеля все хорошо знали, никакой хитрости и в помине не было у этого расстроенного заморыша; страдальчески недоуменно смотрели его большие карие глаза.

Илья быстро нашелся: «Это, Азбель, вам просто кажется. Давайте подумаем вместе, кто может вас гипнотизировать». — «Соседи», — неуверенно выговорил Азбель. «Ну нет, — возразил Илья. — Ведь кто у вас соседи по нарам? Справа — Соколов. Не может он гипнотизировать; глаза у него голубые, а гипнотизируют только с черными. А слева у вас Истомин. Он коми, они о гипнозе понятия не имеют. Нет, это вы, Азбель, просто вообразили. Мы вот что сделаем. Каждый день в обед и ужин к Федору Константиновичу после раздачи подходите, он вам добавку будет давать, я ему скажу. Увидите — никакого гипноза здесь нет, все у вас пройдет».

После этого разговора Илья попросил нашего повара Федора Константиновича Шадричева, бывшего директора кондитерской фабрики в Ярославле, подкармливать беднягу. Вскоре заметно окрепший Азбель на вопрос Ильи ответил, что все хорошо, больше никто его не гипнотизирует.

Однажды Илья, подходя к заводу, попал под проливной дождь. Пришлось прибавить шагу, чтобы поскорей добраться до укрытия. Внезапно он увидел сжавшуюся от холода и сырости, насквозь промокшую жалкую фигурку, беспомощно топтавшуюся на месте. Это был Азбель, поставленный здесь на какую-то работу. Невдалеке стоял заброшенный рубленый амбарчик старика коми Данилы, но чудак почему-то не спешил укрыться в нем. «Азбель, что вы так стоите, бегите к амбару, там дождь переждете». — «Не могу, это частная собственность». — «А мы ее нарушим», — ответил Илья, насильно заталкивая Азбеля в амбар.

Возможно, человек этот был не совсем здоров психически, и, пожалуй, самым существенным отклонением от нормы была его повышенная, прямо-таки болезненная совестливость. Она привела Азбеля в лагерь и определила его судьбу.

Позднее душевное заболевание усилилось. Азбель становился все более отрешенным. На беду, его постоянный защитник Илья был освобожден и покинул Адак. И наступил день, когда медицинская комиссия признала Азбеля и еще несколько человек душевнобольными. Их отнюдь не освободили, а отправили в какой-то психдом за пределы лагеря. С болью думаю о том, что там окончил свои дни этот кроткий, безответный человек, и пришлось ему в психдоме, возможно, даже тяжелее, чем в лагере.

МОЙ ДРУГ САПСАЙ

Господи, какими же наивными мы были тогда, летом тридцать седьмого года! В душной, битком набитой пересыльной камере Бутырской тюрьмы, уже пережившие страшное потрясение после приговоров Особого совещания, все чуть ли не мечтали попасть в лагерь. Там, дескать, будем работать, добиваться отмены приговоров, зарабатывать зачеты... Любой труд казался легче, чем сидение в опостылевших камерах.

Нас не страшил труд, все мы в предыдущей жизни трудились, и неплохо. Но никто из нас и помыслить не мог, что труд этот может быть непосильным, по 12—14 часов в день, на морозе или под дождем, без выходных дней, без постелей, без бани. Труд вечно голодных людей, поедаемых комарами, гнусом, нательными насекомыми, которые порой просто загрызали нас. К тому же вечный страх перед доносами и новым сроком. Что касается зачетов, то нам, политическим, они не полагались — сиди от звонка до звонка.

И еще не последнее в этом круге мучений — постоянное издевательство уголовников, хищных, по-своему хорошо организованных, натравливаемых лагерным начальством. Там, где уголовники оказывались в большинстве, они буквально терроризировали политических, там же, где их было поменьше, пакостили исподтишка, воровали все, что могли.

Никак не мог я тогда предположить, что именно из этой среды у меня появится близкий человек. Если бы мне это по-

пытались предсказать, я саму такую возможность отверг бы с возмущением.

Однако жизнь сложнее и неожиданнее, чем нам порою кажется, — такой человек встретился на моем пути, и был он отнюдь не случайной фигурой в среде преступного мира, но настоящим рецидивистом, смелым и дерзким, вовсе не стыдящимся своих дел.

В отличие от центрального лагпункта на кирпичном заводе не было зоны, а из охраны проживал лишь немолодой стрелок Янгаев, человек спокойный и терпимый. Нас он нисколько не притеснял, справедливо полагая, что никуда мы отсюда не денемся. Работа на заводе была потяжелее, чем в самом Адаке, но спокойная обстановка, а главное, отсутствие зоны делали пребывание здесь более привлекательным.

Однако после освобождения Ильи Любарского новый начальник завода не смог отделаться от уголовников; неожиданно к нам прислали троих, и были это не какие-то рядовые «сынки», а настоящие рецидивисты. Ясно, что прибытие их мы встретили настороженно. Поселили их в нашем верхнем бараке. Держались они вместе, подчеркнуто отделяясь от нас, впрочем, вели себя спокойно, никого не задевали. Работали все трое на лесоповале отдельной группой.

Были они все разные, но по-своему примечательные. Старший по возрасту, Михаил Семенников, по кличке Карзубый, то есть щербатый, был сухощавый, немногословный человек лет под сорок, по типу напоминавший цыгана. Самый младший, Федя, совсем еще молодой парнишка, сильно картавил. Бросалась в глаза его искалеченная левая рука, кисть была отрублена наискось, сохранились лишь два пальца, большой и указательный. Позднее я узнал, что руку порубил он сам в лагере на Соловках.

Заметно выделялся третий из этой компании, которого на поверках выкликали как Сапсая-Сидорова. Коренастый, среднего роста, коротко остриженный, он казался дерзким и энергичным, с начальством держался смело, даже вызывающе. Было ему лет под тридцать. Грубоватые черты лица с крупными чувственными губами и яркие, слегка навывкате карие глаза не делали его физиономию отталкивающей, однако было в его облике нечто агрессивно-напряженное, какая-то каинова печать, по которой искушенные лагерники безошибочно определяют рецидивистов.

В отличие от большинства встреченных мною уголовников, со взглядом бегающим и одновременно наглым, Сапсай всегда

смотрел прямо в глаза, в его облике не было ничего низменного отталкивающего, но печать все же была.

С ним, как и со всей их компанией, я не сталкивался, даже словом не перемолвился. Так прошло недели две или три. Убедившись, что новые обитатели барака стараются нас не задевать и ведут себя мирно, я утратил к ним всякий интерес.

После отбоя почти все укладывались спать. Дневальный умирал свет фонарей «летучая мышь», повешенных в противоположных концах барака. Вскоре в бараке становилось совсем тихо. Слышны были только дыхание спящих, иногда чей-то храп да тихие разговоры немногих присевших у стола. Затем затихали и эти разговоры — надо было отоспаться перед следующим рабочим днем.

Только теперь я доставал припрятанные в изголовье дощечки дранки, или, как ее у нас называли, финстружки, и, вооружившись карандашом, принимался сочинять стихи. До Адака я успел побывать и на стройке Воркутинской железной дороги, и на лесозаготовках в районе Печоры, позднее, заболев туберкулезом легких, лежал в стационаре Ыджит-Кырта. И на трассе дороги, и на лесоповале условия были такими тяжелыми, что на какую-либо умственную деятельность не хватало ни времени, ни сил физических и духовных. От непосильного труда и постоянного недоедания люди рано или поздно доходили до полного отупения.

Теперь у меня появилась возможность как-то осмыслить пережитое за два тяжелых года.

По молодости самой доступной формой казались мне стихи — мне хотелось в них выразить одолевавшие меня мысли и сомнения. Несовершенство своих писаний я болезненно переживал и никому, даже самым близким мне людям, не показывал.

Без конца чиркал я и переделывал — все было не то. Чувствовал я глубоко и серьезно, а на бумаге, вернее на дощечках, выходило примитивно, порой сентиментально. Ничего политического в моих строчках не было, да и знал я, что за любое мало-мальски подозрительное слово неминуемо грозит новый срок. Но прежде всего политика еще до лагеря представлялась мне занятием малоинтересным, уделом людей жестоких, не всегда честных, либо пройдох, либо ограниченных фанатиков.

Все свои стихи я позднее уничтожил и выбросил из головы, уразумев твердо, что не все рифмованное — поэзия. Но тогда, в бараке, я не мог не писать — потребность была властная.

Осторожность в лагере нужна всегда, и по временам я зорко вглядывался в полутьму барака. Уже не в первый раз я замечал, что в эти часы не один я бодрствую. В противоположном углу на верхних нарах что-то делает, возится коренастый урка Сапсай. Тишину нарушали лишь вздохи спящих, да временами во сне начинал что-то бормотать мой сосед коми (по-здешнему «комик») Никита Истомин. Вслушиваясь в его сонный бред, я улыбался: он оживленно говорил на своем родном языке, перемежая речь российским матом, — видно, так сильнее получается.

Строчки мои все не ладятся, ломаю голову, стараясь сделать их более складными, и внезапно чувствую, что чья-то рука осторожно касается моей ступни. Вздвогнув, я посмотрел вниз — у моих нар в одном нижнем белье стоял Сапсай. Он был босиком, поэтому-то я и не расслышал его шагов.

«Сейчас шмон начнется, если что надо, давай, спрячу. У меня искать не станут, статья не та», — прошептал он. Шмоны, то есть обыски, были нередкими, искали, разумеется, свидетельства крамолы.

Передо мной стоял человек, с которым я и парой слов не перемолвился. К этому времени я уже прошел хорошую лагерную выучку, знал, следовательно, что доверяться незнакомому человеку, тем более уголовнику, неразумно и опасно. Но так спокойно, с таким чувством собственного достоинства была предложена мне эта помощь, что безотчетно, без всяких колебаний я сунул ему сложенные в стопку дощечки. Мгновенно они исчезли за поясом его кальсон. Так же неслышно Сапсай прошел в свой конец барака, забрался на нары и затих. Странно, но я не стал долго размышлять о случившемся и почти сразу заснул.

Однако поспать не пришлось. Среди ночи меня разбудил шум — Сапсай оказался хорошо осведомленным. Двое стрелков, пришедших с лагпункта — худоцавый, с рысьим взглядом коми Хозяинов и вздорный, чуть с придурью Степан Холкин, — рылись в нашем скарбе. Тут же был и наш стрелок Янгаев. Как всегда, он был спокоен, усердия не проявлял, но те двое старались изо всех сил. Разумеется, ничего они не нашли, но спать не пришлось почти до утра.

После подъема мой доброжелатель осторожно вернул мне дощечки, прибавив: «Если что, прячь у меня, нипочем не найдут». Так завязалось это знакомство.

Вскоре Сапсай появился как-то вечером в кочегарке при сушильном сарае, где я работал истопником. «Что ты тогда пи-

сал?» — спросил он. «Стихи пробовал писать». — «Я так и думал. Я ведь тоже пишу. Послушай, получается ли?» И он по памяти прочел мне очень недурные стихи. Мне они показались много лучше моих. Конечно, были в них огрехи, доступные и моему неискушенному слуху, но написаны они были вполне грамотно, живым образным языком. Но главное, что в них привлекало, — выпиравшая горячая ненависть к лагерным порядкам и настоящее чувство юмора.

С этого вечера мы стали встречаться почти ежедневно в кочегарке, куда мой новый знакомый приходил сушить промокшие на лесной работе одежду и обувь. Постепенно мы сближались, с Сапсаем мне всегда было интересно. Больше всего привлекали в нем энергия, решительность и яркая, неподдельная самобытность.

Особенно бросалась в глаза его почти безоглядная смелость. Даже самые смелые из нас в обстановке постоянных доносов и страха перед новым сроком держались осторожно, постоянно были под гнетом подстерегающей опасности. Сапсаю, конечно, в этом отношении было легче, как уголовник, он был вне подозрений в политической зловредности. Он это отлично сознавал и никогда не осуждал политических за осторожность.

Постепенно все наши привыкли к Сапсаю, никого он не обижал, и его независимое и твердое поведение было оценено даже самыми подозрительными из нас. Впрочем, дружил он только со мною, по-своему ко мне привязался и был вполне откровенен.

Хотя по отношению ко мне он вел себя как старший и более опытный, заботился и опекал, но никогда не поучал и не старался напрямую оказывать влияние. Никогда и ни в чем ни он, ни я не стремились навязать друг другу свое мнение. С детства я не терпел людей, склонных поучать и направлять. Сапсай, как я сразу же понял, таких тоже не жаловал, поэтому мы с ним легко сошлись. Между такими разными людьми, какими мы были, только такая свобода общения может сохранить дружбу, и она, эта дружба, у нас была.

При первом обстоятельном разговоре Сапсай мне объяснил, что никакой он не Сапсай и вовсе не Алексей, как числился по формуляру, а Николай Николаевич Сидоров. Впрочем, случалось ему проживать и под другими фамилиями. На лагпункте все обращались к нему, употребляя «формулярное» имя — Алексей, настоящее имя, возможно, я один и знал.

Итак, был он Николай Сидоров и вырос в семье вполне добропорядочных коренных москвичей. Отец до революции был строительным подрядчиком, позднее работал прорабом. Мать вела домашнее хозяйство. В семье рос еще один сын, года на полтора младше. «Семья, — рассказывал мне Сапсай, — была обычная, трудовая, и брат у меня тихий. А я вот вырос в семье уродом, оторва был среди огольцов. Все тянуло на необычное, скучно казалось жить, как все кругом живут... Отец все на работе, мать у меня хорошая, добрая, но я ее не больно слушался, все по улицам шмонял, потом со шпаной связался... Так оно и пошло-поехало...»

Он стал профессиональным грабителем, а полем своей деятельности избрал южные приморские курорты. Действовал Сапсай изобретательно — приобрел хороший фотоаппарат, научился прилично фотографировать и каждое лето на весь курортный сезон выезжал на юг. По его словам, на заработок курортного фотографа можно было прожить безбедно, отдыхающие охотно снимались, желая увековечить себя на отдыхе. Однако фотографирование было, как выражался Сапсай, «так, для понта». Шатаясь с аппаратом по черноморскому побережью, он, не вызывая подозрений, высматривал, где можно ограбить курортников или местных жителей, и, сориентировавшись, «шел на дело». Иногда он орудовал и в поездах, но делал это редко, считая, что в поезде скорее можно попасться.

Сперва Сапсай занимался этим промыслом, разъезжая по курортам в одиночку. Убежденный индивидуалист, он всегда считал, что в таких делах напарник ему ни к чему. Награбленное он тут же, на месте сбывал верным людям.

В одном доме с его родителями жила девушка, с которой он сошелся. Она стала ездить с ним по курортам и, хотя участия в грабежах не принимала, знала все. По окончании курортного сезона Сапсай и его подруга каждый год возвращались в Москву на всю зиму и жили у родителей. «Заработанного» им хватало до нового курортного сезона. Свои «зимние каникулы» Сапсай использовал для занятия рисунком и живописью в частных студиях Рерберга и Мигонджана. «Но в таких делах всему конец бывает, — философствовал Сапсай. — Накрыли меня, с поличным взяли, шесть лет дали и в Свирский лагерь, на лесоповал. Ты говоришь, трудно здесь. Это что, там бы побывал; здесь прямо как у тещи в гостях, норму инвалидную сделал и кум королю. А там норма не здешняя, полная, на работу ведут под дудоргой, с овчарками, шаг вправо, шаг влево — считается по-

пыткой к побегу. И порядок тот еще: пока норму не дашь, в барак не ведут, вкалывай хоть до утра в любой мороз. Понял я, что так долго не выдержу, и решил — бежать надо».

Это был первый побег Сапсая. Бежал он в одиночку, зимой. В конце рабочего дня он укрылся в яме, сообщники завалили его ветками, и, когда конвоиры повели бригаду в лагерь, Сапсай выбрался из укрытия и стал уходить. Началась метель, и, по его словам, розыскные собаки не учуяли следа, даже близко не подошли. Сапсаю удалось уйти от погони и скрыться в лесу, однако в пути он сильно обморозил ноги. После долгих мытарств он вышел к железной дороге, добрался до избушки путевого обходчика, который приютил его и скрывал у себя, пока младший брат, военный инженер, не вывез его в Москву.

После обморожения ноги долго не заживали, мать лечила его домашними средствами. Сапсай рассчитывал подлечиться и к весне уехать на юг, но получилось все иначе. Его подружка без него под давлением родственников, только теперь уразумевших, что скрывалось за поездками на курорты, успела выйти замуж. У родителей ее мужа под Москвой был дачный участок; вся семья там трудилась, заставляли работать и новую невестку. Но девица уже привыкла к привольной жизни на курортах и отвыкать не собиралась. Сапсай скрывался у родителей. С обмороженных ног сошла кожа, обнаженные участки гноились.

К родителям приходили справляться из угрозыска, но они отвечали, что сведений о сыне не имеют. Однажды подружка Сапсая явилась к родителям и, не спрашивая, вбежала в комнату, где он скрывался. «Я так и чувствовала, что ты здесь. Соскучилась, сил нет». Она хотела вновь сойтись, наотрез отказалась возвратиться к мужу и стала ночевать у своих родителей.

Кончилось тем, что муж, догадавшись, в чем дело, сообщил в уголовный розыск. Сапсая арестовали, судили за побег, добавили два года и отправили в лагерь, уже на север. Оттуда он снова бежал, добрался до Москвы и укрылся у родителей. По его словам, муж его подружки снова выследил его, они случайно столкнулись во дворе, и тут Сапсай, озлобленный первым доносом и ожидая нового, нанес в стычке ему ножевую рану, оказавшуюся смертельной. Он снова был пойман и с добавкой срока возвращен в лагерь. И снова бежал, на этот раз летом. Ему удалось уйти на несколько сот километров, однако его поймали. Очередная попытка бежать оказалась неудачной; он собрался бежать вдвоем с Карзубиным, но побег тут же предотвратила охрана, причем Михаил был легко ранен.

В побегах Сапсай нажил варикозное расширение вен. По этой причине он и пошел на Адак, с такими ногами рассчитывать на успешный побег не приходилось.

Конечно, возникает вопрос: правдивы ли были эти рассказы Сапсай о себе? Не столь уж наивным я был, чтобы не задать его самому себе. Натура у него была художественная, фантазией Бог не обидел — мог и присочинить. И все же я думаю, что в основе его рассказов были действительные события. Последний побег и ранение Карзубого, точно, имели место — мне это сообщили люди осведомленные. Еще больше убедили меня прочитанные Сапсаем стихи — диалог между ним и его подружкой после гибели мужа. По словам Алексея, такой разговор действительно состоялся. Она не верила, что муж погиб в случайной потасовке, как утверждал при встрече с ней Сапсай, наотрез отрицавший свою причастность к убийству. Я не помню самих стихов, но душевное состояние этой пары, напряженное взаимное недоверие было передано в них с такой силой, что просто придумать это было бы под силу лишь большому таланту. Вероятнее предположить, что в основе лежали реальные события.

От всех встречающихся в лагере уголовников Сапсай отличало умение трудиться упорно и целеустремленно. Обычно уголовники к такому труду питают непреодолимое отвращение.

Не таков был Сапсай. Попав на Воркуту, он пристроился техником в зубопротезный кабинет и быстро освоил эту специальность. Не теряя времени, он обзавелся набором инструментов, в мастерской стащил стэнс — слепочную массу и занялся изготовлением коронок. Материалом для них служила листовая латунь, обработанная раствором сулемы. Клиентура нашлась среди вольнонаемного персонала, благо Сапсай дорого не запрашивал, а «золотые» коронки многим, особенно коми, казались красивыми. За эти художества Сапсай был изгнан из зубопротезного кабинета, но инструменты, стэнс и латунь сумел сохранить.

Прибыв на Адак, он быстро освоился и нашел богатые возможности заработать своим мастерством. Вблизи Адака, на реке Усе, обосновались на зимнее время пароходчики. Они-то, в особенности их жены, стали заказчиками. Оплата была денежная и натуральная — оленина, соленая треска, консервы, махорка. Именно эти коронки обрабатывал Сапсай, когда я впервые заметил его в нашем бараке.

Другим его промыслом была охота на белых куропаток с помощью волосяных петель. И таким делом, слишком для них хлопотным, уголовники не занимались — требовалось терпение,

а его как раз у них не хватало. Сапсай был удачливым охотником, я так же не без успеха ловил глупых птиц, ставя петли с приманкой из березовых веток с почками. К этому времени мы с Сапсаем так сдружились, что стали кормиться вместе. Свежее мясо куропаток не только было приятным пополнением однообразного рациона, но и спасало от цинги.

Лишних куропаток Сапсай выменивал на махорку — курил он много, — а также и на хлеб, когда его недоставало. Петли мы ставили каждый на своем участке, объезжали их после работы на самодельных широких лыжах. Невдалеке от нас стояли петли наших соседей — коми из деревни Адак. В этой части Коми деревни маленькие, обычно три-четыре двора, расположены они по берегам рек, километрах в 30 одна от другой. Хотя коми — коренные жители этих богатых дичью и рыбой мест, добытки они неважные: петли ставят небрежно, рыбу ловят только на переметы, хотя самая добычливая здесь снасть — удочки, забрасываемые на быстрых перекатах и в верховьях небольших быстротекущих речек.

Народ они бедный, но очень честный и чужие петли никогда не тронут. Мы тоже уважали их охотничьи участки, проезжая мимо, никогда не хищничали. Но вот однажды знакомый коми, старик Данила, пожаловался, что кто-то обирает его петли. Он дал понять, что подозревает Сапсая — его петли стояли по соседству. Сапсай сказал, что петли не трогал, но Данила ему не поверил, обещал пожаловаться начальству. Дело оборачивалось скверно — в случае жалобы нам попросту запретили бы охотиться. Сапсай стал выслеживать вора. После долгого сидения в засаде он захватил на месте нашего же зэка, молодого курда Шагин-Оглы. Его шакальи повадки не были для нас новостью.

Разозленный Сапсай жестоко избил воришку, изломал его лыжи и с отнятыми куропатками пригнал в деревню к коми. После этого наши соседи-коми прониклись к Сапсаю большим уважением и всегда приветливо его встречали.

Сперва нас сблизило общее увлечение стихами, а уж потом оказалось, что во многом наши взгляды сходны. Стихи давались Сапсаю легко. Память у него была отличная, и кроме своих он нередко читал наизусть стихи известных поэтов, иногда и стихи неизвестных мне, безымянных авторов. «Блатной» поэзии он чуждался, во всяком случае, я от него таких стихов не слышал, хотя в лагере они бытовали, правда, всегда в песенной форме. Иные из этих блатных песен были очень выразительны и самобытны как по тексту, так и по мелодии.

Раз уж я коснулся поэзии в местах заключения, необходимо сказать о поэзии политических заключенных. Она неминуемо должна была возникнуть среди массы людей, затронутых репрессиями, слишком велики и страшны были испытанные потрясения. Даже голод, изнурительный и оупляющий труд, а главное — свирепый режим и система доносов не в состоянии были начисто истребить в людях естественное стремление выразить свои мысли и чувства.

Мне не довелось лично встретить кого-либо из лагерных стихотворцев, но в нашей среде передавались в устном виде и с большими предосторожностями воркутинские песни. Приписывались они поэту Аграновскому, деятельному участнику воркутинской голодовки, расстрелянному вместе с другими на Воркуте. Этим песен было несколько, все очень выразительные, но самой любимой была «Воркутинская», которую приведу по памяти:

За Полярным кругом,
В стороне глухой,
Черные как уголь
Ночи над землей.
Волчий голос ветра
Не дает уснуть,
Хоть бы луч рассвета
В эту мглу и жуть!
Что-то роковое
Спряталось во мгле,
Тяжело с тоскою
Жить наедине.
Мне так часто снится
Светлое крыльцо,
Черные ресницы,
Милое лицо.
Мнится, одиноко
Дома ты не спишь,
Обо мне, далеко,
Думаешь, грустишь...
Не грусти, не мучься
И не плачь любя.
Если будет скучно,
Вспоминай меня.
За Полярным кругом
Счастья, друг мой, нет.
Злой полярной вьюгой
Замело мой след.

Других песен Аграновского моя память не сохранила. Помню только две строчки из его песни «Старик дневальный» — о старике заключенном, коротающем в раздумье бессонную ночь в бараке у топки печи:

Кто-то топчет сапогами
Наши чувства и мечты.

Каждый понимал, о ком тут речь. Запомнились и другие стихи, посвященные ему же — «отцу, учителю и другу, светлому гению человечества» и пр., и пр.

На Адаке, кроме нас с Алексеем, стихами никто не грешил. Обычно мы сходились в кочегарке при сушильном сарае, где я дежурил с вечера до утра.

Много о чем переговорили мы за долгие вечера под треск смолистых дров. Сапсай был интересным собеседником. За свою жизнь на воле и в лагерях он успел немало повидать и испытать, но больше всего привлекало меня своеобразие его суждений, всегда определенных и самостоятельных.

В лагере нам постоянно твердили, что мы здесь не просто срок отбываем, но нас, дескать, перевоспитывают трудом. Была даже должность воспитателя, ее занимали заключенные-бытовики, но не из рецидива; в большинстве их подбирали из осужденных за должностные преступления. Серенькие, безличные, они справедливо расценивали эту свою работу как синекуру, избавляющую от тяжелого физического труда. Уныло талдычили они обычную тяготину о пользе честного труда и лагерной дисциплины. Всерьез их никто не воспринимал, а самоперевоспитание народ наш высмеивал, подчас довольно удачно.

Сапсай справедливо считал все разговоры о перевоспитании сплошным лицемерием. «Знаешь, — рассказывал он мне, — когда я еще на Воркуте был, там всю нас, рецидивистов, перевоспитать старались, из кожи лезли. Даже кружок литературный для нас устроили и там о перевоспитании проповедовали. А чтобы мы лучше усвоили, задали сочинение на эту тему написать. Подумал я, сел и за пару вечеров написал. Принес на кружок, прочел вслух. Воспитатель наш так и взвился — неправильно, дескать, мыслишь, отрицаешь, не признаешь перевоспитание. А написал я такое. Вроде, понимаешь, сидели в лагере двое, перевоспитывали их, вот как нас. Один перевоспитался, ну, вернее сказать, приспособился, понял выгоду, стал вести себя примерно, так что начальство на него

нахваляться не могло. Другой как был урка, так и остался. Кончился у них срок. Одного выпустили с документом, что он хороший, другого — под ж... коленкой выставили, думали, скоро все равно назад вернется.

Но на воле получилось у них по-разному. Примерный, который перевоспитался, в такие переделки попал, что на работу его нигде не берут, жить негде, отовсюду гонят. Тыркался он, тыркался и кончил тем, что снова в воры подался — кусать-то надо! Попался, и посадили по новой. А второй попал на воле в такую обстановку, что воровать ему было невыгодно, он и не стал, и зажил нормально... Все от условий зависит, — заключал Сапсай. — Выгодно не воровать — будешь жить честно, невыгодно — заворуешь, если выхода нет. В натуре так! Прочли воспитатели это и ну меня проработывать. Послушал я, послал их всех подальше и ходить на этот кружок не стал.

Свой принцип выгоды как основного двигателя в поведении человека Сапсай постоянно отстаивал.

Был он жаден до новых впечатлений, очень любознателен и восприимчив, в любом случае, в любом положении умел уловить существенное, характерное, с тем чтобы осмыслить и по возможности применить в жизни. Кем он только не был на воле и в лагере: и скотником, о чем он рассказывал с большим юмором, и фотографом, и зубным техником, и на шахте успел поработать.

Поражали быстрота и сила его реакции. Как-то вечером, сидя в кочегарке, мы разговорились о людях, стремящихся перестроить жизнь, о религии, о революции. Я рассказал Сапсаю о книге Анатоля Франса «Боги жаждут». Ее я прочел незадолго до ареста. Еще тогда меня поразила мысль, заложенная в основу романа: революционные идеалы — та же религия, такая же фанатичная, как старые верования, но еще более бесчеловечная, поскольку еще не упиалась кровью. И гибель главного героя, честного, слепо верующего в революцию фанатика, — закономерное очищение от жестокости и фанатизма во имя жизни, продолжающейся во всей своей полноте.

Пройдя жестокую тюремную выучку, после всех пережитых потрясений я еще больше склонялся к идеям Франса. К тому же лучшие из тех участников революции, которые повстречались мне в тюрьме и в лагере, не скрывали своей горечи и разочарования после разгрома 30-х годов.

Мы с Сапсаем рассуждали о том, как тяжело и несправедливо складывается судьба отдельного рядового человека в эпохи вели-

ких потрясений. Обидно было сознавать, что мы лишь жертвы, не лучше рабов, соорудивших пирамиды во славу фараонов. Я прочел свои стихи, навеянные этими мыслями.

Сапсай слушал внимательно, молчал. Потом вдруг заторопился и ушел в барак раньше обычного. На следующий вечер он в кочегарку не пришел. Зато через день Алексей появился снова. «Знаешь, — сказал он мне, усаживаясь на скамейку у топки, — я все думал о книге, что ты мне пересказал. Думал, ворочал в башке все это и вот написал. Сейчас прочту, это к тебе, ну, в общем, тебе посвящается». Он вытащил из-за пазухи телогрейки дощечки и начал читать:

Осенний день, по небу бродят тучи
И стаи птиц уносятся на юг.
Я этот стих писал на всякий случай,
Чтоб ты прочел, товарищ мой и друг.
Прошли года, мы сделались покорней,
Познали грусть нехоженных дорог;
Пусть взгляды наши изменились в корне,
Но каждый что-то вынес и сберег.
И то, что нам диктует Провиденье,
Сидящее на троне иль в Кремле,
Пройдет как сон, как страшное виденье,
И, растворясь, исчезнет на земле.
Из наших мук возникнет вновь Ученье,
Прольется кровь в растоптанную грязь,
Пройдет свой круг ошибок и свершений
И вновь исчезнет видоизменясь.

Концовку стихов уже не помню, но смысл был такой: что бы ни происходило, как бы ни было тяжело, жизнь вечна, прекрасна, она продолжается... «Цветут цветы и шепчут о любви».

Не одно и не два стихотворения Сапсая выслушал я в вечерние часы, когда мы с ним сидели вдвоем у топки, как бы поднявшись мысленно над гнетущим однообразием лагерных будней.

Стихи эти по тематике и настроению неизменно возникали из напряженного осмысления нашей лагерной жизни, да и не только лагерной. Иногда попадали нам в руки газеты с набившими оскомину призывами к всеобщей бдительности и беспощадной борьбы с врагами народа. Тут же печатались указы за подписями Калинина и Горкина. Однажды Сапсай прочел мне свою стихотворную пародию на указ с заклинаниями о

бдительности (у нас в это слово после буквы «б» вставляли «з»). Запомнилась мне лишь одна концовка:

К врагам народа пребудете зорки.
Калинин. Горкин.

Зато целиком сохранилось в моей памяти его стихотворение «На смерть коня Донбасса», посвященное необычайному происшествию в жизни кирпичного завода: пал темно-рыжий мерин Донбасс. Причиной его гибели, как показало вскрытие, было прободение желудка от плохо пропаренного веточного корма.

Гибель лошади подчас беспокоила лагерное начальство, да и нас, грешных, много больше, чем смерть человека. Человек — он умирал, и все, а вот гибель лошади могли запросто подвести под статью о вредительстве. Тогда затевалось следствие, отыскивали виновного (начальника из зеков, возчика либо конюха), и дело могло кончиться новым сроком, в лучшем случае — карцером.

В это время начальником кирпичного завода был Григорий Михайлович Днепров. До лагеря он работал прокурором Бауманского района Москвы. Эгоистичный и трусливый, Днепров, дорвавшись до начальственной должности, сумел озлобить всех занудством и мелочными придирками. В кирпичном производстве он ничего не смыслил, зато ретиво взялся за дисциплину. Большую часть дня он простаивал на самом возвышенном месте, зорко высматривая, кто чем занят, и учинял потом разносы. На своем сторожевом посту Днепров стоял, широко расставив кривые ноги, за что получил прозвище Кронциркуль.

Постоянно стараясь выслужиться, Днепров всячески притеснял таких же, как он, заключенных. Последнее, что он придумал, было запрещение использовать лошадей для подвозки дров и воды в бараки, возмущившее всех на заводе.

Истый рецидивист, Сапсай ненавидел Днепрову как бывшего прокурора и вдобавок презирал как подхалима и перестраховщика. Все на заводе гадали, как и на ком отзовется гибель коня. Днепров явно приуныл — могли наказать и его. О таком исходе, не скрываясь, мечтали многие.

Вечером в кочегарку Сапсай пришел в приподнятом настроении с написанным стихотворением «На смерть коня Донбасса». Вскоре оно стало известно всем на заводе.

На берегу пустынных вод
Стоял завод кирпичный.
Народ в заводе — как народ,
Измучен был отлично.
Умел сносить он все без слов,
Боялся дел запретных.
И был начальник там Днепров,
Фигура из приметных.
И был там конь... Он сох и сох —
Знать, корма было мало.
И думал он, пока не сдох,
Что труд есть дело славы,
Что жить на свете — ничего,
Хвалил и кнут, и палку.
И так текло, пока его
Не вывезли на свалку.
Днепра мигом пот прошиб,
Возвел он очи в гору.
Недаром в прошлом этот тип
Был где-то прокурором.
Он ходит, голову склоня,
И грусти есть причина —
Он увидал в конце коня
Конец блатного чина.
Чтоб оттянуть чуть-чуть свой крах,
Назло всему народу
Мудрец придумал на людях
Возить дрова и воду.
Он вспомнил прошлые лета —
Мысль бродит у героя
Над применением хомута
Особого покроя.
Судить людей я лютый враг,
Но злые мучат мысли.
К тому ж я слышал, что в Адак
Как выродок он прислан.
От этих дел добра не жди,
Одна грызет забота —
Глядишь, и выдвинут в вожди
Большова, идиота.

Без пояснений здесь не обойтись. Нам без конца твердили, что в лагере нас всех изучают. На Адак свозили активированных по болезни, неполноценных людей. По домыслу Сапсая, Днепров попал сюда «как выродок». Упоминаемый в концовке Большов

был бригадир, духовный двойник Днепра и возможный кандидат на его пост. Впрочем, наши чаяния не сбылись — коня зарыли, а Днепров удержался на своем месте.

Независимый и резкий, Сапсай, естественно, не пользовался расположением начальства. Ядовитые выпады подчас доводили Алексея до штрафного изолятора, но это его не смущало и не останавливало. Однажды заключенные пожаловались начальнику лагпункта Манину на плохое питание. Манин, крупный рыхлый мужчина, благодушно улыбаясь, ответил: «Еще что? Питание хорошее, с него скоро за бабами бегать станете». Случившийся тут же Сапсай мгновенно отрезал: «Да, конечно, чтобы у них баланду и кашу отнимать».

К весне у меня обострился процесс в легких. Поднялась температура, одолевал мучительный кашель, но я старался держаться на ногах и к врачам не шел. Моим лечением занялся Сапсай. Однажды после работы он подал мне угощение — суп с мясом. Мясо было нежирное и довольно вкусное, таким в лагере нас не кормили. Когда я с ним расправился, Сапсай спросил: «Угадай, чье это мясо?» — «Оленина, — отвечал я, — что, за коронки дали?» — «Гав-гав, — с довольным видом ухмыльнулся Сапсай. — Щенок. Ездил со щнягой в Адзвю, там законстроилил. Ешь, это тебе полезно. У меня еще на завтра осталось».

Щенячье мясо, однако, не помогло. Пришлось ложиться в стационар. Было там очень тоскливо, поэтому я обрадовался, когда Сапсай пробрался ко мне с гостинцами — сахаром и конфетами. «Давно бы к тебе пришел, да вот не получилось: меня комендант по дороге перехватил, придрался, гад, зачем я в стационар иду. Я его послал подальше. А он на меня рапорт Манину подал. Тот меня вызвал и давай песочить: кому продукты несеешь, где взял? Я отвечаю, что к тебе иду, а конфеты на махорку выменял. Начальник тут еще пуще завелся: что это, говорит, у тебя за дружба с 58-й статьей, что у вас общего? Тут меня заело, я ему — мое дело, с кем хочу, с тем воюсь, я в лагере норму даю, и лады, больше нечего меня воспитывать. И конфеты не ворованные, на заработанную махорку сменял. Я не ворую и морду не наел, как некоторые. Он меня — в кондей. Только хрен ему, будет еще указывать, с кем водиться».

Вскоре началась война. Режим даже на отдаленном инвалидном лагпункте резко ужесточился. Отменили переписку с родными, участились проверки, внезапные обыски по ночам. Немногочисленные доносчики подняли голову и стали кляузничать, их часто вызывали к оперуполномоченному; по их указке

несколько человек попали под следствие. О ходе военных действий мы ничего толком не знали, пользовались неясными слухами. Ходили разговоры о том, что немцы захватили большие территории. Многие, в том числе и я, опасались за родных, которые могли оказаться в опасности. Хотя большинство из нас были слабыми, больными людьми, многие — инвалидами, нашлось бы немало желающих уйти в армию на защиту страны. Однако нас, политических, не брали.

Неугомонный Сапсай рассуждал: «Лучше уж на фронт, чем здесь заживо гнить. Мы, рецидив, для войны самые подходящие люди. Нам только скажи: вот крепость, берите ее, а там все ваше, — горы своротим, а возьмем!» Зная его решительность и смелость, думаю, что, попади Сапсай в армию, он мог бы проявить эти свои качества в полной мере. Но и его не брали.

Вскоре из нашей среды стали собирать этап на одну из строек; отбирали тех, кто был физически покрепче. Среди отобранных оказался и Сапсай. Уже в который раз я расставался с близким мне человеком — обычное дело в лагерной жизни. Больше о Сапсае я ничего не знаю.

И вот теперь, через много лет, оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, что этот рецидивист, человек без систематического образования, без специальности, среди многих встреченных в лагере незаурядных людей был одним из наиболее ярких и самобытных. Но даром пропали в лагере его способности, осталась без достойного применения его кипучая энергия.

И сколько еще таких сгинуло без следа...

Б

НА РОДИНЕ АННЫ БАРКОВОЙ

Поэзия и ГУЛАГ — так называлась конференция, которая прошла 25 — 27 мая 1995 года в Иваново. Конференция была организована кафедрой теории литературы и русской литературы Ивановского госуниверситета совместно с историко-литературным обществом «Возвращение». Место конференции было выбрано не случайно: в Иваново-Вознесенске родилась выдающаяся русская поэтесса А.А. Баркова, более двадцати лет проведшая в гулаговских застенках.

На пленарном заседании были заслушаны доклады Л. Н. Таганова (Иваново) «Творчество А. Барковой и потаенная поэзия», В. П. Ракова (Иваново) «Риторическое слово в литературе ГУЛАГа», С. С. Виленского «Поэзия и ГУЛАГ», С. Л. Страшнова (Иваново) «Мотив «возвращения *оттуда*» в поэмах А. Твардовского».

В рамках конференции работало две секции «Поэзия ГУЛАГа: тексты и судьбы» и «Потаенная поэзия XX века».

Были прочитаны следующие доклады: И. С. Вербловская (С.-Петербург) «Поэзия в ГУЛАГе», В. Д. Панов «Слово и дело № ...» (Судьбы ивановских поэтов в архивных делах КГБ); П. В. Куприяновский, Т. С. Морева «А. Баркова в письмах к С. А. Селянину»; Н. А. Молчанова (Иваново), Цзяо Чень (Китай) «Поэзия А. Несмелова»; И. В. Синохина (Иваново) «Арестованный смех» (К истории рукописного журнала «Пустослов»); М. С. Лебедева (Иваново) «Философско-поэтические лагерные сочинения Л. Карсавина»; П. И. Набоков (Москва) «Поэты Озерлага»; А. М. Бирюков «В. Ю. Гольдовская: поэзия и судьба»; Л. С. Новикова (Москва) «Творчество А. Лебединской»; К. Ф. Домбровская (Москва) «Лагерный цикл Ю. О. Домбровского»; С. Б. Шоломова «Место поэзии в судьбах и творчестве В. Шаламова»; В. В. Есипов (Вологда) «Наш спор — свобода» (мотивы русской поэзии в «Колымских рассказах» В. Шаламова);

Л. Клайн (Мичиган) «Взаимоотношения прозы и поэзии в «Колымских рассказах» В. Шаламова»; В. В. Заманская (Магнитогорск) «Концепция одиночества и экзистенциальное сознание в русской поэзии первой трети XX века»; А. Ю. Морыганов (Иваново) «Exegi monumentum В. Маяковского (поэт и «идеальное государство» в поэме «Во весь голос»); Е. А. Тихомирова (Иваново) «Тема свободы в поэзии третьей эмиграции».

В работе «круглых столов» «Русская поэзия XX века и ГУЛАГ» активное участие приняли З. А. Веселая (Москва), Т. И. Исаева (Москва); поэты, бывшие узники ГУЛАГа: С. С. Виленский (Москва), П. И. Набоков (Москва), Ю. Л. Фидельгольц (Москва). Один из «круглых столов» состоялся в только что открытом Доме-музее семьи Цветаевых (Ново-Талицы) и был посвящен лагерной судьбе Анастасии Цветаевой (вел «круглый стол» личный секретарь А. И. Цветаевой С. А. Айдинян (Москва).

Большое впечатление на участников конференции произвело исполнение лагерных песен Г. В. Молчановым (Москва), а также выступление Ю. Н. Гуриновича (Иваново) и Г. Г. Гришаниной (Иваново), исполнявших песни на слова Анны Барковой.

Участниками конференции было решено учредить научный центр по изучению потаенной поэзии XX века, включающей в себя пласт лагерной поэзии, а также творчество лучших наших поэтов, в котором звучит тема сопротивления тоталитарному режиму. Потаенная поэзия составляет одну из самых впечатляющих трагических страниц русской литературы. Именно в потаенной, лагерной поэзии в большей мере нашла отражение подлинная история нашей страны.

Программа дальнейшей работы предполагает проведение ежегодных конференций «Поэзия и ГУЛАГ» в разных городах России и в культурно-благотворительном и издательском центре общества «Возвращение» в усадьбе Чукавино на Верхней Волге. Принято решение о регулярных выпусках сборника «Поэзия и ГУЛАГ».

Члены созданного научно-поэтического центра надеются, что в разработке программы примут участие ученые, поэты, члены правозащитных обществ не только России, но и зарубежья.

Леонид Таганов,
доктор филологических наук

Валентин Новиков

ОТ СКОРБНОГО ХОЛМА ДО ЗВЕЗД

(Очерк о поэзии Юрия Домбровского)

Случайные обстоятельства, вовсе не зависящие от моей воли, свели меня с Юрием Домбровским. Случайными были встречи с ним, случайными — разговоры. Даже то, о чем мы говорили, возникало как-то случайно и касалось вещей, от которых и следа в памяти не осталось.

Но было и такое, что помнится по сей день.

Зимой 1943 года Юрий Домбровский из сибирского лагеря «Средняя белая» по активировке как смертник-доходяга был выброшен за ворота. Добрался до Алма-Аты. Здесь, лежа в больнице, написал роман «Обезьяна приходит за своим черепом».

Казахстан в те годы был превращен в гигантский муравейник сталинской национальной политики. Я знал многих немцев, оставшихся без родителей в годы депортации, был свидетелем «обустройства» чеченцев в Казахстане в 1944 году. Здесь оседали пораженные в правах, освободившиеся из лагерей. Одним из них был Юрий Домбровский.

Летом 1945 года я вез на велосипеде из Каргалинки мешок кукурузы — в те годы все где-нибудь выращивали кукурузу — и встретил по дороге Юрия Осиповича. Совсем уж случайная и неожиданная встреча.

Дело в том, что от Алма-Аты до Каргалинки (тогда небольшого горного поселка) километров пятнадцать. Ехать я не мог, мешок лежал на раме, и я вел велосипед в руках. Дорога — пыль по щиколотку. В зените яростное солнце позднего лета. Вдали я увидел человека, неторопливо шагавшего навстречу. И только когда он приблизился, я понял, как обманчива его неторопливость, он шел крупным свободным шагом. И уже издали я узнал Домбровского. Я не был с ним знаком. Мне тогда шел семнадцатый год. Но я знал его, как многие жители Алма-Аты. Город тогда был сравнительно небольшим, и кое-какие приметные личности запоминались просто так. Во время войны в Алма-Ате жили Михаил Зощенко, скрипач Давид Ойстрах, многие известные артисты и режиссеры. Их знали и считали «своими».

Домбровский к этой элите не принадлежал. Все знали, что он писатель. Но я никогда не встречал человека, читавшего его книги. Позднее объяснилось это очень просто. Костлявый и длинный, он уже в те годы немного сутулился, густые волосы его всегда были растрепаны, а большие темные глаза смотрели напряженно и пристально.

Мы встретились на пустынной каргалинской дороге, он с любопытством приостановился, глядя на меня, на мой мешок, как бы охватил целиком все вместе: и пыль, и старый велосипед, и меня, и сухой пропыленный придорожный бурьян — и пошел дальше.

Я помню этот взгляд исподлобья, внимательный и непонятный.

Остановившись, я долго смотрел ему вслед. Не помню, в чем он был — в чем-то светлом, — но врезались в память его сандалии, разбитые, полуразвалившиеся, серые от пыли.

И я сквозь наигрыш и спесь
Так точно вдруг пойму,
Что жизнь ушла и вот я весь,
Не нужный никому...

Я видел, как он вдалеке приостановился, когда мимо него мелкой трусцой проехал казах на ишаке, и снова зашагал вперед.

В те годы он запомнился мне как идущий человек. В разное время я встречал его в разных, порой самых неожиданных местах. По-моему, он исходил вдоль и поперек всю Алма-Ату — от необъятного «Шанхая», глиняного города, разросшегося у подножий гор выше головного арыка, и до улицы Гоголя, за которой опять начинался глиняный город. Теперь, по-моему, «Шанхай» уж никто и не помнит. А в те годы там было, на что посмотреть.

Домбровский шагал и шагал, вбирая в себя все, видя и понимая все, особенный, ни на кого не похожий человек.

Видел я его идущим вдоль бесконечного кладбищенского дувала и возле складов станции Алма-Ата-1. Он шел и шел, не обращая внимания на зной и пыль, шел как одержимый. Лишь позднее я догадался, что эта ходьба была выражением его души, его обретением свободы после лагеря.

Не забыть мне проклятую зону,
Эту мертвую память твою;
Эти смертью пропахшие годы,
Эту башню у белых ворот,
Где с улыбкой глядит на разводы
Поджидающий вас пулемет.

Помню, многие тогда над ним потешались. В то время я учился в школе парикмахеров и иногда заходил в контору. Как-то, когда я зашел за чековыми книжками, один из парикмахеров, собравшихся в конторе, спросил: кто это лохматый все ходит по городу? Этот вопрос был задан, видимо, потому, что растрепанные волосы Домбровского, как никому другому, не нравились парикмахерам.

И ему сразу ответили:

— Писатель.

— А чем он пишет?

И контора содрогнулась от парикмахерского смеха.

И снова шутка:

— А не пора ли его остричь под нулевку?

Слова оказались пророческими. Спустя некоторое время Домбровского на улицах города не стало. И, уж конечно, «где надо», его остригли.

Лишь много позднее я узнал, что его снова замели на десять лет (потом заменили на шесть) и освободили в пятьдесят пятом. После освобождения он не без иронии пишет о себе: «Ожидаю всего хорошего... Худ, страшен, беззуб».

Среди стихотворений Домбровского есть одно с коротенькой припиской в конце: «Алма-Ата (рынок) 1959 г.». Написано на городском рынке уже после освобождения. Он снова идет по пыльным дорогам и базарам, идет и смотрит. Алма-атинский базар тех лет — мощная площадь под открытым небом с возами яблок, ревом ишаков. С запада ее замыкали чайханы, шашлычные и т.д., где напоказ готовили дунганскую лапшу, пекли лепешки. Плотный ряд мелких, кое-как слепленных забегаловок, которых давно уж и в помине нет. Теперешний многоэтажный крытый рынок ничем не напоминает тогдашний крытый базар.

И вот Юрий Осипович пристроился где-то на базаре среди окружающего человеческого водоворота и написал стихи такой ярости и такого чувства безысходности, что становится не по себе. «Утильсырье» — горячее воспоминание о пытках, диалог с палачом.

И он сказал презрительно-любезно:

— Домбровский, вам приходится писать... —

Пожал плечами: «Это бесполезно!»

Ослабился: «Писатель, вашу мать!..»

Сквозь базарный шум в памяти Домбровского тяжело воскресает допрос:

Я десять суток не смыкал глаза,
Я восемь суток проторчал на стуле,
Я мертвым был, я плавал в мутном гуле...

Все как будто минуло. Но что это?.. Вчерашнее зло уже переделось, напонадилось и вышло, респектабельное и улыбочивое. В конце пятидесятых свежее пополнение из вчерашних чекистов влилось живительной струей в Союз писателей. Невероятно, но факт: среди них были и восторженные лирики, и усидчивые прозаики, и редакторы, и доброжелательные наставники в комитете по печати.

Что в жизни видел Домбровский? Все годы — надзор, шмон, подчеркнутое брезгливое снисхождение. И вдруг зона ненавязчиво, как-то исподволь переместилась в литературу.

В очерке об Иване Шухове Домбровский несколько раз упоминает поэта Ваню Калашникова, с которым дружен был еще в тридцатые годы.

Я впервые увидел Ивана Калашникова в пятьдесят седьмом, когда он, вернувшись из лагеря, пришел к нам в издательство. Точнее сказать, не пришел, а его привезли.

Тогдашнее издательство помещалось в просторном одноэтажном доме с низким деревянным крыльцом. Так вот, на это крыльцо из двух ступенек Иван Калашников взбирался полчаса, буквально по сантиметру передвигая костыли и втаскивая искалеченные ноги.

Кинокритик Лев Варшавский почти постоянно держался рукой за поясницу и морщился от боли. Я спросил, не радикулит ли у него. Он чуть усмехнулся:

— Какой там радикулит. На допросе следователь разбил почку железной линейкой.

Он показал, какая была линейка и как ею ударяли.

В свои пятьдесят лет Лев Варшавский выглядел глубоким стариком: совершенно седой, какой-то весь вымученный, с глубокими морщинами на лице, словно врезанными в кости.

Юрий Домбровский о перенесенных пытках пишет в страшном, каком-то призрачном стихотворении «Кампанелла палачу».

Но им еще повезло. От других остались «скорбные холмы».

Опять услышишь ветра сиплый вой,
Скрип сапогов по снегу, рев конвоя:

«Ложись!» — и над соседней головой
Взметнется вдруг легчайшее, сквозное,
Мгновенное сиянье снеговое —
Неуловимо тонкий острый свет!
Шел человек — и человека нет.

Я слушал рассказы вчерашних зеков, от которых кровь стыла в жилах. По-моему, даже чертям было чему поучиться у лагерных изуверов. И вот они в литературе, общительные, улыбочивые, подверженные, правда, своеобразной ностальгии. Помню, один из них сказал: «Каких мы людей допрашивали!»

А Юрий Домбровский вспоминает иное. Вконец измотанный многосуточным допросом, он говорит:

Я уж не знал, где день, где ночь, где свет,
Что зло, а что добро, но помнил твердо:
«Нет, нет и нет!» Сто тысяч разных «нет»
В одну и ту же заспанную морду!
В одни и те же белые зенки
Тупого оловянного накала,
В покатый лоб, в слюнявый рот шакала,
В лиловые тугие кулаки!

За годы отрывочных, случайных встреч с Домбровским я понял, что он всегда горел любовью и ненавистью.

Если бы вы, дорогой читатель, слышали, как он порой ругался! Как разносил ту или иную сволочь! Его послушать — это всегда было здорово.

Никакой, так сказать, литературной школы у Домбровского не было. На наших литературных вечерах он бывал крайне редко. Обычно что-нибудь читал из своей прозы. Читал он прекрасно, выявляя в чтении и мысль, и слово, и подтекст, из-за торопливости порой сбивался, но это не только не портило впечатления, а, напротив, как-то вводило и его собственную личность, позволяло ощутить его самого, беспокойного, горячего, удивительно доброго и яркого человека. У меня создавалось такое впечатление, что на аудитории он как бы обкатывает свои новые вещи, смотрит, идут ли они на публику, не скучны ли.

К сожалению, он никогда не читал стихов. Это была как бы его закрытая зона. И мы воспринимали его лишь как прозаика. Знали, правда, что он пишет и стихи. Но, казалось, это у него так, между делом. А вот теперь я читаю и перечитываю его поэтическое наследство, и горько оттого, что оно так невелико по исчислению в печатных листах. Однако, поразмыслив,



Юрий Домбровский

я понял, что он никогда не писал «просто так». Его стихи — это крик, вопль, когда иные средства выражения бессильны.

Другого друга на руках
Я нес, куда жила, а были
Мы на краю земли, и вьли
Над нами сосны в облаках...

Станным образом стихи Домбровского всегда поляризуют его собственное присутствие в страшных событиях. Это не стихи о пережитом, это переживание, отлитое в стихи.

Последние годы Юрий Осипович жил в Москве, но в Алма-Ату приезжал довольно часто. Постоянно бывал в журнале «Простор», где в шестидесятых годах редактором был старый друг Домбровского Иван Шухов. Я в те годы работал редактором отдела прозы «Простора». Юрий Осипович приходил, иногда молча сидел в углу, смотрел, слушал. Люди приходили, кипели споры. Мы тогда как-то уж очень много говорили. Иногда Юрий Осипович врывается в разговор, горячился, спорил. Шестидесятые годы! Время надежд. Время выдающихся литературных талантов, к числу которых принадлежал и сам Юрий Осипович. Время литературных откровений и обвинений, брошенных эпохе.

Не ведая своего собственного будущего, мы в те годы исповедовали некий восторженный идеализм. Эта вера в грядущий день была присуща и Юрию Осиповичу.

Но обстоятельства изменились — шестидесятые годы сменились семидесятыми, и вновь, как бледный призрак, над писателем замаячила «ласточка»¹:

Узлом завязанное тело,
Душа, присохшая к кости...
О! До какого же предела
Тебе, изгнанница, расти?

Но теперь справиться с ним было уже труднее, известность его росла. В одном из своих писем начала 70-х годов он замечает, что только теперь может работать «в полную возможность».

Психушки и смирительные рубахи семидесятых предназначались уже не для него. Но и теперь каждый шаг его был поднадзорен. Каждый порядочный писатель непременно имел

¹ «Ласточка» — смирительная рубаха.

своего чекиста. Он был обязателен, как у состоятельной леди свой портной или свой парикмахер. Думаю, что сей чекист с искренней горечью провожал его даже в последний путь, чувствуя, что хлеб уплывает из рук.

Одно из самых любимых моих стихотворений Домбровского посвящено чекисту.

Я был знаком с берлинским палачом,
Владевшим топором и гильотиной,
Он был высокий, добродушный, длинный,
Любил детей, но выглядел сычом.
Я знал врача, он был архиерей,
Я боксом занимался с езуитом.
Жил с моряком, не видевшим морей,
А с физиком едва не стал спиритом.
Была в меня когда-то влюблена
Красавица — лишь на обертке мыла
Живут такие девушки, — она
Любовника в кровати задушила.
Но как-то в дни молчанья моего
Над озером угрюмым и скалистым
Я повстречал чекиста. Про него
Мне нечего сказать — он был чекистом.

Его стихи подчас носят следы походной поспешности, в них врывается лексика всех пройденных дорог, всех этапов и пересылок. У кого-то, возможно, возникнет желание их «подчистить», олитературить в деталях. Но я не делал бы этого. Мы говорим — как говорим. И в этом выявляемся все мы.

Моя последняя встреча с Юрием Осиповичем была странной и грустной. Повторяю: мы не были друзьями, не были сколько-нибудь близки и никогда не встречались за рюмкой. Встречи наши всегда оказывались случайными. Иногда мы, правда, подолгу беседовали. Помню, такая беседа касалась творчества Исаака Иткинда, известного скульптора, репрессированного в 1938 году и тоже занесенного гулаговскими ветрами в Алма-Ату. Домбровский рассказывал мне, как Иткинд, ни с того, ни с сего отрекомендовавшись писателем, принес ему свою «пьесу». От этого рассказа я буквально катался со смеху, я-то знал, с каким ужасающим «сморгоньским» акцентом Иткинд говорил по-русски. Однако эти великолепные подробности в опубликованный очерк Юрия Осиповича тогда, к сожалению, не вошли. Правда, в шестом томе собраний сочинений Юрия Домбровского великолепный очерк о скульптуре Иткинде опубликован с некоторыми дополнениями.

Последнюю встречу с Юрием Домбровским я всегда вспоминаю с чувством горечи. И не только потому, что она оказалась последней, но еще и по другой причине.

В журнале «Простор» вышла моя повесть. Я не называю ее, т. к. не считаю, что она вообще заслуживает упоминания. И Юрий Осипович, по-видимому, увидев ее в журнале, решил преподнести мне приятный сюрприз. Был он изрядно пьян и спьяна стал разбирать мою повесть. Я сразу же понял, что он ее не читал, но вот решил порадовать меня, похвалить, видите ли, вещь, которая «могла быть хорошей, а стало быть, хорошая».

Он говорил, а я думал о том, как этот человек устал от своего долгого и страшного пути и как он, в сущности, потерян в этом мире.

Мы никогда не были с ним близки, но я не раз замечал, что он внимательно присматривается ко мне. Кто знает, о чем он думал... Может, плохо, а может, хорошо. У него существовали свои критерии. Он знал как-то иначе, нежели мы. Он видел совсем по-другому.

Миру ль новому, древней Голгофе ль
Полюбился ты, девичий профиль?
Эти руки в мозолях кровавых,
Эти люди на мертвых заставах,
Эти бьющиеся в беспорядке
Потемневшего золота прядки?
Но, на башне высокой тоскуя,
Отрекаясь, любя и губя,
Каждый вечер я песню такую,
Как молитву, твержу про себя:
«Вечера здесь полны и богаты,
Облака, как фазаны, горят.
На готических башнях солдаты
Превращаются тоже в закат.
Подожди, он остынет от блеска,
Станет ближе, доступней, ясней —
Этот мир молодых перелесков
Возле тихого царства теней!»

Может быть, мы оба чувствовали, что видимся в последний раз. Бывает такое ощущение, оно выбивает из колеи, мешает трезво оценить мгновение.

Заяра Веселая

НАТАЛИЯ АНУФРИЕВА

В больших испытаниях есть какая-то особая высокая напряженность, какая-то приподнятость чувств, какая-то особая торжественность.

Наталья Ануфриева

Наталья Ануфриева (1905 — 1990) оставила несколько тетрадей стихотворений, первые из них датированы 1916 годом, последние — началом 1960-х, и объемистую рукопись¹ воспоминаний, написанных ею в конце жизни. Автор подчеркивает, что ее исповедь — это история души, а отнюдь не биография, не событийная канва жизни. И все же по тексту рукописи и по стихам Ануфриевой можно восстановить основные события жизни.

«Я ЖИВУ, ОПЬЯНЕННАЯ СНАМИ»

Родилась в Петербурге, детские и юношеские годы провела в Симферополе. Рано лишилась отца, мать — медсестра, в семье — старая бабушка; жили скудно, после школы Ануфриева лишь год проучилась в Художественном техникуме, а потом определилась «на службу» — статистиком в какую-то контору. Главное ощущение того времени — ужас перед обыденностью жизни. В том мире, который она сама для себя создает, другая высота и глубина.

Книги, стихи, мечты о значительных событиях в жизни, о героических поступках, а главное — о любви, всепоглощающей, непременно трагической, изведав которую, остается одно — умереть.

Каждый вечер. Всегда одна.
Но молюсь, но томлюсь о чуде...
А в окно глядит тишина:
Никогда ничего не будет.

¹ «История одной души».

Ни блаженно сладких плетей
Исступленных и наглых ударов,
Ни тюрьмы, ни мук, ни смертей,
Ни набатов, ни буйных пожаров.

Накликала себе Наталия Даниловна: все, все будет — и тюрьма, и сума, и муки... И прежде этого — любовь, такая, как мечталось: не пресная, а любовь-крест, заведомо обрекающая на страдания.

Любовь явилась с экрана кинематографа в образе известного актера. Поразил воображение тем, что у него была — или ей так казалось — страдальческая складка у рта. Значит, он тоже мучительно одинок и роковым образом не понят в этом мире!.. Раз за разом смотрит она один и тот же фильм, с каждым днем растет ее экзальтация, и в конце концов она объявляет ошеломленной матери, что едет в Москву — к *нему*. И действительно едет.

Отважно приходит к актеру в дом и открывается ему в своей любви. Но у этих отношений нет продолжения. А любовь была, похоже, единственной в жизни. Много лет спустя она все еще вспоминает о ней:

Да, это все случилось наяву,
Но не умею прошлое проклясть я...
Я помню вечер, зимнюю Москву,
Снега, огни и невозможность счастья.

Часы и дни скитаний безотрадных,
Тревог и мук, неповторимых вновь...
Как я пила неистово и жадно
Печальную и горькую любовь!

Как задыхалась в омуте душа...
Но в памяти, с прошедшим примиренной,
Так горестно, так странно хороша
История любви неразделенной.

Видимо, именно в это время Ануфриева, воспитанная матерью-атеисткой, исподволь обращается к религии. Во всяком случае, в «Истории одной души» она прямо говорит: «Впервые Господь открылся мне как *Любовь*, потом как *Красота*, потом как *Жизнь*, а после всего как *Истина*».

ТЮРЬМА И КОЛЫМА

В 1936 году Ануфриева была арестована НКВД. Что послужила причиной — или хотя бы формальным поводом — для ареста, неизвестно.

Вера дала ей силы легче многих других пережить выпавшие на долю испытания, принять их как посланные Богом.

И в скорби предсмертной без меры,
Пронзающей душу до дна,
Есть радость погибших за веру,
Казнимых во все времена.

Но в том, как стойчески переносит Ануфриева все тяготы заточения, просматривается не пассивная покорность року, а недюжинная сила духа. Стихи, написанные в этапном вагоне:

Не камеры тесной молчанье,
Где жизни дано отцвести,
Взволнованный бред расстоянья,
Тревожная радость пути...

Не горе поверженных наземь...
Нас вдаль призывает свисток...
Мы едем. Да здравствует Азия,
Дорога и Дальний Восток!

На Колыме в стихах к «предателю», к человеку, каким-то образом повинному в ее аресте, она называет его слепым орудием — чего? Ее несчастья? Ее страданий? Нет:

Ты лишь орудье слепое
Судьбы вдохновенной моей.

В «Истории одной души» она пишет: «Многие, пережившие подобное мне испытание, считают эти годы вычеркнутыми из жизни... Разве только безбедное и беспечальное существование может быть названо жизнью?.. Я никогда так не думала и не чувствовала. В больших испытаниях есть какая-то особая высокая напряженность, какая-то приподнятость чувств, какая-то особая торжественность».

ВОЗВРАЩЕНИЕ

В 1947 году Ануфриева возвращается в разоренный войною Крым. Ее, бывшую лагерницу, не принимают на работу, с больной и тоже безработной матерью они живут в полной нищете.

Жизнь развернула новую страницу,
И вот опять в тумане берега...
В тюрьме казалось: годы будут длиться,
Здесь кажется, что слишком ночь долга.

Мать умирает от голода. Стихотворение «Памяти матери» заканчивается строками:

Моя любовь не совершила чуда.
Прости меня. Я не спасла тебя.

Ануфриева покидает Крым, переезжает в Актюбинск; почему ею выбран именно этот город — неизвестно.

ССЫЛКА

В «Истории одной души» Ануфриева отмечает что ей довелось прожить «четыре самостоятельные жизни». Рубежи, отделяющие одну жизнь от другой, по ее словам, «определялись *окончаньем креста*».

«В начале моей четвертой жизни я медленно приходила в себя от пережитого, — вспоминает она. — Но после мирно прожитого года вновь наступила полоса скитаний».

В 1949 году Ануфриеву, как и многих бывших лагерников, арестовывают повторно. Она по-прежнему полна интереса к жизни:

Я не знаю, что завтра случится,
Расширяется сердце в груди...
Неизвестность — как дивная птица,
Как надежда летит впереди.

Ее ссылают в Красноярский край. В какой-то день мера испытаний, должно быть, превысила и физические и духовные силы.

И тяжелы надломленные крылья,
И дальний путь уводит в ночь, в пургу...
Я так устала, Александр Васильич,
Мне кажется, я больше не могу.

Но это — минутная слабость.

Пусть будут безмерны потери,
Темны пути бытия...
Я в правду любви Твоей верю...
Да будет воля Твоя!

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Освобожденная из ссылки по реабилитации, Наталия Даниловна поселяется во Владимире, живет бедно, неустроенно, болеет — и так доживает до глубокой старости. В эти годы она пишет «Историю одной души». В конце рукописи читаем: «Теперь я живу уже пятую жизнь... Вот и старость приблизилась ко мне. И мне даже нравится быть старушкой и зимой ходить с палочкой. Но ведь это внешнее... А внутри я — просто счастливый ребенок, от которого отогнаны зловещие призраки... Слава Богу за все».

Думается, что поэтическое наследие Ануфриевой дождетсЯ своего исследователя и издателя. Пока же небольшой сборничек ее стихов «Жизнь развернула новую страницу» выпустило издательство «Возвращение» в серии «Поэты — узники ГУЛАГа».



ТРАГЕДИЯ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

(Нина Гаген-Торн. «Меморіа». М. «Возвращение», 1994)

«Прошу верить, я веду записки как исторический документ для будущих поколений, в них нет ни прикрас, ни искажений. Это не агитка, не беллетристика, это запись о прожитом, это попытка наблюдателя точно фиксировать виденное. Так, как привыкли мы, этнографы, во время полевых работ», — так характеризует свои воспоминания Нина Ивановна Гаген-Торн (1901 — 1986). Заметим от себя: запись, сделанная литературно одаренным человеком, и не просто о «прожитом», а о глубоко трагическом, как внешне, в плане событийном, так и внутренне, в плане идейном и нравственном, типологически общезначимом пути предреволюционного поколения петербургской интеллигенции. Воспоминания Нины Ивановны, относящиеся к различным периодам ее жизни, собраны в одну книгу ее дочерью и уже после смерти автора опубликованы в издательстве «Возвращение» в 1994 году под названием «Меморіа» (Память).

Сейчас, когда история, быт и нравы советской пенитенциарной системы достаточно широко известны, на первый план выступают вопросы о том, что помогало людям, пройдя лагеря, сохраниться не столько физически, это в полной мере едва ли кому-то удалось, сколько нравственно; какова была «модальность» — отношение к происходившему, какие экзистенциальные потери и приобретения давал лагерный опыт. В случае автора книги, как нам представляется, решающую роль сыграла полученная в дореволюционном детстве и в первые послереволюционные годы культурная, нравственная «закваска», заряд какого-то психологического оптимизма, дававшие силу противостояния, и упомянутая уже в приведенной цитате профессия этнографа, определявшая плодотворный, животворящий интерес к окружающему ее на всех этапах страшному миру. И, конечно, личность автора, внутренне активной, всегда открытой миру и наделенной огромным творческим потенциалом мысли и воображения, ее установка не прятаться от жестокой реальности, а мужественно осознавать ее и осмыслять.

«Меня корежит от прѣстодушной наивности и неведения... она раздавлена, ищет опоры, — пишет она об одной из своих лагерных това-

рок, — но я-то уж знаю: не надо ни утешать, ни жалеть, сейчас надо встряхнуть до конца и заставить думать. Тогда опора придет сама собой».

А вот что пишет Нина Гаген-Торн, как бы отвечая на наш вопрос:

«... Я пытаюсь рассказать, как вынырнула из царства зла. Пусть методом выдумок и иллюзий... Иллюзии и реальность смещаемы. Реально то, чем живет человек. Я даю документ не о фактах, а о смещении значимости фактов для человеческой души... У разных людей по-разному вырастала духовная крепость... Эти записки — документ о способе сохранить живую душу и о том, как у меня вырастала эта крепость». Это говорится в одном из самых волнующих эпизодов книги — рассказе о пребывании автора в карцере, где она сочиняла стихи и, таким образом, уходила от жуткой реальности, кристаллизуя в них свою душевную жизнь. В книге приведено множество стихов автора воспоминаний. «Я в лагере практически поняла, почему дописьменная культура всегда слагалась в виде песен — иначе не запомнишь, не затвердишь».

О терапевтической функции поэзии в тюрьмах и лагерях свидетельствуют многочисленные рассказы лагерников. Поэзия была как бы концентратом культуры, эстетической и духовной сокровищницей, которую можно было пронести при себе по всем путям ГУЛАГа. А поэтическое творчество давало ни с чем ни сравнимую психологическую разрядку, своеобразный катарсис. Стихи сочиняли в лагере многие, и отнюдь не только поэты, подчас это были люди, никогда ни до лагеря, ни впоследствии не сочинившие ни строчки. Один лагерник, никогда до того о поэзии не помышлявший, рассказывал, как в голодный 1942 год выменял драгоценную пайку на бумагу и карандаш, чтобы записать буквально душившие его стихи. Сказывалось, по-видимому, не только указанное автором желание запечатлеть переживаемое в удобной для запоминания форме, но еще и потребность сублимироваться в творческом процессе, в поэтическом ритме. Так было и с Ниной Гаген-Торн.

О своих детских и юношеских годах, а также о полной приключений и впечатлений профессиональной работе этнографа Нина Ивановна рассказывает увлеченно и увлекательно. Она родилась в семье профессора хирургической клиники Императорской военно-медицинской академии, хранившей лучшие традиции русской петербургской интеллигенции начала века. Отец Нины Ивановны, просвещенный врач и либерал, кадет по убеждениям, создал в семье обстановку свободомыслия и полного взаимного доверия. Однако традиционный для России конфликт «отцов и детей» коснулся и семьи Гаген-Торнов. «Бессознательно, бунтарски мне был неприемлем отцовский позитивизм, не устраивали предлагаемые мне услужливо Бокль или Спенсер и «История греческой философии» Льюиса. И разговоры достопочтенного Петра Бернгардовича Струве, бывавшего у нас дома, не устраивали меня», — пишет Нина

Ивановна. Вспоминает она и о своих гимназических годах, о высокообразованных, вдумчивых и либеральных преподавателях, истинных носителях лучших российских гуманистических традиций, которым было доверено воспитание молодежи из интеллигентских семей, и о том демократическом, почти революционном сознании, которое доминировало в среде учащейся молодежи в канун революции и в первые ее годы. Мы, воспитанники советской школы со всем ее тупым, а порой и зловещим догматизмом и представить себе не можем того истинного демократизма и академизма в лучшем смысле этого слова, который царил в столичных либеральных гимназиях предреволюционного времени.

С энтузиазмом, свойственным юности, молодая гимназистка устремилась в общественную деятельность. Она приняла активное участие в создававшихся в первые годы революции учащимися старших классов гимназий молодежных организациях и стала деятельным членом президиума «Организации средних учебных заведений» (ОСУЗ). «Мы наслаждались стремительностью шторма и организованностью своих выступлений. Мы не вполне знали, за что следует бороться, но были восхищены своей организацией, правом выпускать газету «Свободная школа», своей шестнадцатилетней зрелостью... О, конечно, мы с радостью растаптывали старый мир, мы были уверены, что будем создавать социализм. Но создавать на парламентский манер, своими интеллигентскими руками».

В 1918 году Нина Гаген-Торн поступила в университет на образовавшийся к тому времени факультет общественных наук. В двадцатые годы посещение лекций в Петроградском университете было свободным: если лекции того или другого профессора казались интересными, студенты избирали для себя соответствующую специальность. Лекции известных этнографов Штернберга, Богораза и Зеленина заворожили молодую, любознательную девушку, и она решила специализироваться по этнографии. «Мне казалось самым насущным начать с изучения общественных форм, социологии, с изучения марксизма. Все это не было еще обязательным, никто не заставлял нас изучать Карла Маркса, и Ленин еще не считался римским папой новой религии», — пишет она. Спустя тридцать с лишним лет, после реабилитации в 1956-м, она еще вернется к любимой науке и проведет три десятилетия в экспедициях, полевых исследованиях и в писании научных трудов.

Но более всего увлекало молодую студентку участие в «ВОЛЬФИЛЕ» (Вольно-философской ассоциации), где на открытых заседаниях выступали крупнейшие ученые и писатели того времени: Зелинский, Замятин, Никитин, Ремизов, О. Форш. Руководили заседаниями Андрей Белый,

Иванов-Разумник и другие. «Сходились люди разных взглядов. Подразумевалось, что все они имеют какие-то этические нормы, говорят и действуют во имя того, что считают правильным». На одном из заседаний обсуждался роман Замятина «Мы» и неожиданно выступил милиционер по имени Миша, который с негодованием обвинил автора в отрицании роли государства в построении социалистического общества, но не встретил активной поддержки присутствующих. Это был молодой Михаил Зоценко.

В университетском общежитии студенты жили коммуной. Между ее участниками велись страстные споры. Это была счастливейшая пора жизни Нины Ивановны. Позднее она скажет в своих записках: «Я не буду рассказывать о том, что силы казались необъятными, впереди — вечность и достижима мечта перевернуть мир и сделать его окончательно прекрасным. Это свойственно было многим из нашего поколения. Я буду говорить о том что я видела «по ту сторону жизни» — в лагерях. И о тех мыслях, которые приходят сейчас, по эту сторону, после того, как я побывала там и вернулась. Я постараюсь нарисовать правдивые портреты людей, о которых вряд ли смогут узнать иначе правду...»

Тут повествование обрывается. Наступил октябрь 1936 года и первый арест, первые встречи в камерах тюрьмы: «Мне было совсем не страшно, в это первое время еще не было нарушено окончательное доверие к Советской власти», — пишет она. О пятилетнем пребывании в колымских лагерях записей нет, сохранились лишь стихи и письма. В 1942 году Нина Гаген-Торн освободилась и оказалась в Зауралье, после войны переехала в Москву и устроилась на работу в библиотеке Отделения общественных наук АН СССР. Однако недремлющие «органы» советской власти не собирались оставить в покое свою былую жертву. Ей удалось поработать лишь около года. В декабре 1947 года ее снова арестовали. «Вы же считаете себя потерпевшей напрасно, озлоблены, тем более вас надо изолировать», — заявил ей следователь «новой формации», и постановлением Особого совещания она была снова осуждена на пять лет.

«В это время не было садистской романтики 1937 года, когда мы слышали сквозь стены приглушенные крики и стоны людей... Когда следователи проводили бессонные ночи, вытягивая из измученных людей фантастические заговоры. Да и сами следователи изменились: в 1947 году это были уже не маньяки, не садисты и виртуозы, а чиновники, выполняющие допросы по разработанным инструкциям», — пишет она. Начинается новый круг «хождения по мукам», теперь уже в женской зоне режимных Темниковских лагерей. Острым взглядом старой «каторжанки» она наблюдает за окружающими ее людьми, рассказывает о

тюремных и лагерных встречах, о фантастических судьбах, о человеческом мужестве, о своих голодовках, о пребывании в карцере и на тяжелых работах. Она пишет о «неотказавшихся ленинцах» — троцкистах, певших «Вы жертвою пали в борьбе роковой...», когда их гнали этапом на расстрел, о преданных своим идеалам националистах Прибалтики и Западной Украины, об отказывавшихся выходить на работу страстно верующих женщинах, одна из которых при освобождении не пожелала получать документы, ибо «на ваших паспортах печать Антихриста».

Чередой проходят бесконечные встречи — то с женой Даниила Андреева, по делу которого за написанный им роман было арестовано около двухсот человек, то со старыми коммунистками, сохранявшими верность своим вымороченным идеалам. Вспоминая о былом, Нина Гаген-Торн, давно изжившая иллюзии молодости, остается внутренне свободной и смотрит на все происходящее как бы со стороны, ни с кем и ни с чем не отождествляясь, но оценивая людей и их поступки с общечеловеческих позиций. Безграничный интерес к людям поддерживал ее и в тюрьме и в лагере. «Анна Саланд ходила по камере, волновалась: хоть бы со знакомыми вместе! А мне бы незнакомых хотелось, чтобы посмотреть, что за люди. Ведь там на людях только держись, хоть бы поинтереснее люди!» — пишет она.

Читать «Методія» интересно и плодотворно. И не только потому, что из этой книги мы много узнаем об эпохе, о людях и судьбах, об истории Архипелага. Повествование Нины Ивановны Гаген-Торн обогащает нас, приобщая к процессу мышления и богатому духовному миру автора.

Исаак ФИЛЬШТИНСКИЙ

ЖИЗНЬ С ВАРИАНТАМИ

(Евгений Гнедин. «Выход из лабиринта». М. «Мемориал», 1994)

Именно так — «Жизнь с вариантами» — Евгений Александрович Гнедин назвал свой роман. Сочинялся роман не за письменным столом, но в одиночной камере, где нет ни бумаги, ни чернил. Его в собственном воображении создавал узник самого страшного советского застенка — особорежимной Сухановской тюрьмы. Позади у него оставались Внутренняя тюрьма на Лубянке и знаменитое Лефортово.

Недавно он заведовал Отделом печати Наркомата иностранных дел, входил в круг ближайших сотрудников М. Литвинова и теперь, арестованный в мае 1939 года, шел по высшему пыточному разряду. Его истязали в присутствии Берии, бериевский заместитель Кобулов вместе со специальным подручным обрабатывал голову заключенного, как бок-

серы, тренируясь, обрабатывают подвешенный кожаный мяч. Сталинский нарком тоже не был белоручкой, сам показывал, как арестанту надлежит лечь на пол, чтобы подручные продолжили свои занятия, но, истязая, не оставляли следов на теле обреченного.

Какая разница — останутся следы или нет? Однако ложь, сопутствующая изуверству, настолько въелась в плоть и кровь садистов, что они верны ей и здесь, за глухими, неусыпно охраняемыми дверьми.

Но и увидев Берию, Кобулова в их истинно палаческом качестве, Е. Гнедин признается: все же он не мог вообразить этих подонков сотрудничающими с гестапо. Для него еще оставались различия между главарями гестапо и хозяевами Лубянки. Хотя сами хозяева, не жалея своих кулаков, разрушали такие иллюзии.

Казалось бы, нас, знакомых с нравами и порядочками Архипелага ГУЛАГ, уже ничем не удивить. Однако записки Евгения Гнедина «Катастрофа и второе рождение» (ими открывается книга) производят воистину сокрушительное впечатление. И не потому лишь, что в них немало убийственных подробностей не только тюремной системы, отражающей систему государственную, но и та степень внутреннего сопротивления, когда самые изощренные пытки не способны сломать человека. Более того, они-то и содействуют «второму рождению». Его мучительность десятикратно увеличена необходимостью для арестованного переосмыслить свою деятельность, свое мирозерцание.

В наши дни, когда от собственных взглядов принято отказываться с уму непостижимой легкостью, когда вчерашний атеист демонстративно вешает нательный крест, вчерашний коммунист-интернационалист надрывает глотку на фашистском сборище, внутренняя работа, проделываемая Е. Гнединым между допросами-избиениями, кому-то покажется странной, эдаким интеллигентским самоедством, отвлекающим от тюремной реальности. Слово бы предугадывая такую реакцию, Евгений Александрович объясняет необходимость отдавать себе отчет в содеянном, беспощадно анализировать свои поступки, настроения, мысли. Искать закономерность там, где легче было бы усматривать случайности, казусы, неизбежные при всяких обстоятельствах, при воплощении любой идеи, даже изначально благородной.

Но в том-то и загвоздка, что «Выход из лабиринта» не осуществим с помощью путеводителя или провожатого, гида. Всякие облегченные варианты выхода чреватые новыми лабиринтами. В надежде на легкость такого выхода, мне думается, одна из причин сумятицы, воцарившейся ныне в российских умах и душах.

А. Солженицын, А. Сахаров, Е. Гнедин выходили из лабиринта, не полагаясь на дядю. Каждый по-своему. И приходили далеко не всегда к единому рубежу. Но обретали себя, преодолевая сопротивление. Осо-

бенно жестокое для тех, кто был по ту сторону колючей проволоки, тянувшейся через всю страну. Опыт каждого уникален. Опыт А. Сахарова чем-то близок гнединскому. Но это не исключает расхождений, оттенков. О том свидетельствуют и сахаровское предисловие к американскому изданию «Выхода из лабиринта», и письмо Е. Гнедина А. Сахарову относительно его брошюры «Размышление о мирном сосуществовании, прогрессе и интеллектуальной свободе».

Записки Е. Гнедина удивительны своей интеллектуальной насыщенностью, упорством и взыскательностью поиска. Несомненна связь между такой интеллектуальностью, таким характером поисков и стойкостью Е. Гнедина на допросах. Заплечных дел мастера так и не смогут его сломить, добиться нужных им признаний, позволяющих затеять еще один громкий процесс. В следственном деле Гнедина сохраняется запись: «Виновным себя не признаю». (Признав, он бы изменил себе и неизбежно поставил под удар других, прежде всего М. Литвинова.)

Интеллигент и романтик (Гнедин оставался и тем и другим с юности до последнего своего часа) сильнее тренированных истязателей, не отягощенных ни знаниями, ни совестью, ни необходимостью найти ответы на коренные вопросы бытия. Но именно такая необходимость побуждает Е. Гнедина страницу за страницей въедливо перечитывать прожитую жизнь, рассматривая ее свершившиеся и вероятные варианты.

«Конструируя в одиночке осуществившиеся альтернативы моей жизни и продумывая прошлое, я то пытался обрести утешение, а порой и приходил в ужас при мысли, что следствие и обвинение построены на сочиненном следователями чудовищном «варианте», не имевшем ничего общего ни с реальным ходом моей жизни, ни с упрощенными ее альтернативами».

В тяжелых тюремных размышлениях Е. Гнедин обращается к понятию, некогда использованному Герценом, — «эпохальный характер». Иными словами, характер, вобравший какие-то специфические особенности своего времени, чаще всего закрепленные литературными образами (байронические натуры, немецкие романтики, герои Чернышевского и т. д.). Его мировоззрение, равно как мировоззрение части русской интеллигенции, сформировалось под воздействием революционной, социалистической идеологии и гуманизма русской литературы. Только необходимо избежать поверхностного толкования «эпохального характера», опрометчивой привязки его к одной идее.

«Если попытаться определить доминанту различных «эпохальных характеров» в первые годы революции, то их созвучие обнаружится даже у людей, политически принадлежащих противоположным лагерям... Были общие «эпохальные черты» у тех, кто, самоотверженно сражаясь, видел смысл своей жизни в революционном обновлении России, и у

тех, кто ставил на карту жизнь, спасая Россию от революции. Более того, один и тот же человек мог на одном этапе пути с чистой душой сражаться на одной стороне и в другой период своей жизни чистосердечно прийти к выводу, что он обязан служить иным идеям. В обоих случаях такой человек не изменял своему «эпохальному характеру» и готовности служить отвлеченной идее».

Привожу эту выдержку еще и потому, что она имеет самое непосредственное касательство к современным спорам, бесплодным чаще всего в силу упрощенчества, нежелания понять многосложность исторических явлений и многообразность человеческой личности. Сам «Выход из лабиринта» мог бы служить весомым доводом в таких спорах, объясняя эволюцию его автора. Да и не его одного.

Составители стремились передать разные этапы в жизни Е. Гнедина, различные точки зрения на них. В небольшой по объему сборник включены переписка, всевозможные документы. Покойный ныне М. Гефтер снабдил его основательным послесловием.

Конечно, очень многое осталось за бортом, и хочется верить, что наступят времена, когда Евгений Гнедин будет представлен читателям более широко, многопланово. Хочется верить...

Для людей, которые близко знали Е. Гнедина — пишущий эти строки из их числа, — такая надежда необходима. Необходим не только индивидуально-духовный опыт несомненно «эпохального характера», но и более доскональное знакомство с человеком, которого Лидия Корнеевна Чуковская на похоронах назвала лучезарным.

В том не было преувеличения, вызванного в час скорби. Но скорбь подсказала наиболее точные слова: «Это человек, излучающий свет».

Владимир КАРДИН

О КНИГЕ МАРКА ЯНСЕНА «СУД БЕЗ СУДА»

(М. Янсен «Суд без суда. 1922 год. Показательный процесс социалистов-революционеров». Москва. «Возвращение», 1993)

В центре внимания книги голландского историка Марка Янсена — политический процесс, ставший важной вехой на пути формирования тоталитарного режима в советской России. Если роспуск Учредительного собрания явился первым шагом в установлении монополии политической власти большевиков, то процесс 1922 года против социалистов-революционеров, по существу, означал уже полное господство РКП(б) в политической и общественной жизни страны. Это был первый крупный политический процесс, предопределивший в основных чертах механизм политических репрессий большевизма в 20 — 30-е годы.

Монография М. Янсена, пожалуй, впервые дает наиболее полное, целостное и непредвзятое представление о процессе. Автор анализирует взаимоотношения социалистов-революционеров и большевиков в период с 1918-го по 1921 годы. Он подробно рассматривает подготовительную кампанию, приговор и борьбу вокруг него. В книге анализируются также тактика подавления партии социалистов-революционеров после 1922 года, рассказывается о дальнейшей судьбе участников процесса. Большое внимание уделено откликам на процесс западноевропейской общественности, международного социалистического движения — мощной волне защиты эсеров со стороны демократических кругов Запада, сыгравших значительную роль в пересмотре приговора. Выводы, сделанные в монографии, основываются на широком использовании архивных документов, воспоминаний, материалов прессы. Автор стремится к объективности, точному воспроизведению фактов, позиций сторон в судебном процессе. В то же время книгу нельзя назвать сухим научным трактатом на историческую тему. Марк Янсен предстает человеком очень эмоциональным, чутко улавливающим любую фальшь и несправедливость. Его личное отношение к трагическим событиям процесса 1922 года проявляется не столько в оценках и комментариях, сколько в самом стиле изложения материала, эпитетах и формулировках. Причем для него характерно удивительное чувство меры, позволяющее сочетать строгое следование научным фактам и аргументации со свободным, непринужденным стилем книги, легкостью языка и образностью речи. Янсен не дает ни биографических данных, ни характеристик главных действующих лиц процесса, однако, рассказывая о конкретных действиях людей, он воссоздает убедительные психологические портреты. Это и прекрасный оратор, убежденный демократ, искренний, решительный, всегда уравновешенный и спокойный Абрам Гоц; неустрашимый, бескомпромиссный, твердый и язвительный Михаил Веденяпин; лицемер, авантюрист и предатель Григорий Семенов.

Уже в самом названии книги: «Суд без суда» — обозначена правовая оценка процесса. Если рассматривать чисто юридическую сторону дела, осуждение социалистов-революционеров не имеет под собой законных оснований. Обвинение не стремилось изучить конкретные действия подсудимых в соответствии с законодательством. Главной целью процесса была полная дискредитация эсеров как политических противников. Трибунал продемонстрировал явное пренебрежение юридическими нормами и законами. Это и бездоказательность улик и показаний свидетелей, предъявление обвинений, по которым эсеры уже были амнистированы в 1919 г.; и предвзятость судей трибунала, которые еще до окончания процесса и вынесения приговора выступали с обличительными речами перед уличными демонстрациями; психологическое давление, которое

оказывалось на обвиняемых, свидетелей и защитников со стороны организованной ОГПУ публики. Не вызывает никаких сомнений (и это хорошо аргументировано М. Янсенем), что судьбу обвиняемых определял не независимый юридический орган, а политическое руководство — Политбюро РКП(б), на заседаниях которого определялись и тактика суда и мера наказания обвиняемым. Суд вообще имел второстепенное значение, ибо он прежде всего был призван подтолкнуть пропагандистскую машину. Масштабы пропагандистской кампании, развернутой против социалистов-революционеров, по меркам 20-х годов были явлением беспрецедентным. М. Янсен приводит интересные свидетельства современников о том, что процесс эсеров вытеснил собой все остальные события жизни страны. Десятки тысяч газет центра и провинции от первой до последней страницы заполнялись «фактами» о предательствах и разбоях «бандитов»-эсеров. Большевики устроили информационный голод в деревне, так как не были уверены в надежности своих позиций среди крестьян, которые составляли основную социальную базу партии эсеров.

Почему же политическое руководство страны затеяло эту широко-масштабную политическую акцию именно в 1922 году? Ведь оно утверждало, что эсеры не представляют собой реальной силы, что это лишь «горстка ничтожных личностей и террористов». На самом деле после введения новой экономической политики большевики опасались роста влияния эсеров среди крестьянства. И это стало главным побудительным мотивом процесса 1922 года.

К сожалению, до сих пор партия социалистов-революционеров остается не реабилитированной. В обыденном общественном сознании по-прежнему преобладают стереотипы, согласно которым эсеры представляются эдакими «революционными маньяками с бомбой и револьвером за пазухой». А. И. Солженицын, например, полагает что особой разницы между эсерами и большевиками не было, что они также не заслуживают симпатии. Возьму на себя смелость не согласиться с этим мнением. Террор как средство политической борьбы не был уже определяющим фактором деятельности ПСР в описываемый период. Террористические акты, совершенные отдельными представителями эсеров, не были отражением общей партийной воли, ибо политическая линия социалистов-революционеров эволюционизировала к широкой агитации и пропаганде, причем не только среди крестьян, но и в рабочей среде и в других слоях населения. Коренным образом отличались большевистские и эсеровские представления о свободе личности, демократии, правах человека, социальной справедливости. Уважение к другому мнению, ориентация в решении социальных вопросов на «инициативу

снизу», широкий демократизм внутри партии должны изменить устоявшиеся штампы в оценке партии социалистов-революционеров.

Валерий ПЕТУХОВ

г. Ульяновск, Государственный технический университет

ПОД СЕНЬЮ ВЕЛИКОГО СТРАХА

(Михаил Шрейдер. «НКВД изнутри». М. «Возвращение», 1995)

Книга Михаила Шрейдера «НКВД изнутри (Записки чекиста)» — ценное и во многом достоверное свидетельство человека, около двадцати лет проработавшего в системе карательных органов, поднимаясь по служебной лестнице вплоть до должности замнаркома Казахской ССР, а затем (как это водилось в 1937 — 39 годах) угодившего в застенки своего же учреждения и оставшегося в живых лишь благодаря случайному стечению обстоятельств. Когда ОГПУ, до 1934 года существовавшее отдельно от милиции, с созданием НКВД подчинило себе и милицию, его функции стали еще шире, и автор воспоминаний, ушедший в 1933 году в милицию, снова был возвращен под власть этого всемогущего и всепроникающего ведомства, где он и продолжал пребывать «изнутри». Попав в тюрьму и лагерь, он оказался на самом дне «своей» системы.

Предпосланное книге Шрейдера издательское предисловие верно характеризует и саму книгу, и ее автора, являющегося человеком и своего времени (а время это пришлось не только на сталинские годы — Шрейдер застал половину 70-х годов), воспринявшим и хрущевские, и последующие оценки первых советских десятилетий.

Исходя из этих представлений, Шрейдер на первой же странице своей книги пишет, что «в тюрьмах и лагерях с конца 20-х годов и до середины 30-х годов был образцовый порядок». Из воспоминаний бывших заключенных той поры мы теперь знаем, каков был этот «образцовый порядок»: бессудные внутрилагерные расстрелы (свидетельства Ширяева, Лихачева и других, прошедших Соловки и Беломорканал), произвол лагерного начальства — часто людей случайных и некомпетентных, голодный паек и изощренные издевательства над «политическими» — все это имело место и до сакраментального 1934 года, когда после убийства Кирова завертелся всяю дьявольский механизм многослойного уничтожения.

Да и по части обвинений Шрейдер, надо понимать, полагал, что до Ягоды под «карающий меч диктатуры» попадали действительные преступники и лишь при Ягоде, тщеславном властолюбивом карьеристе, в «органах» появились люди, которых Шрейдер (и, видимо, не он один)

презрительно именует «липачами», то есть те, кто в погоне за процентами или наградами фабриковал фальшивые, фиктивные дела, добиваясь от подследственных признания «незаконными» методами.

Между тем, когда в нынешние времена приоткрылись тайные архивы, стало известно, как были сфабрикованы процессы эсэров и меньшевиков, дела против духовенства, в том числе дело патриарха Тихона... А Шуйского процесс? А Шахтинское дело? А процесс Промпартии и подобные ему «вредительские» дела? А массовое и ничем не оправданное выселение «неблагонадежных» из крупных городов в том самом «конце 20-х и начале 30-х годов», во времена «неукоснительной законности» и «образцового порядка»?

Кстати, с этим столкнулся и сам Шрейдер, когда стал руководителем милиции Казахстана. Он сообщает в своих записках, что с целью очищения Алма-Аты от уголовных элементов потребовалось введение для этого столичного города паспортного режима (введение подобного режима прошло в Москве, Ленинграде, Киеве и других центрах за несколько лет до того).

Что из этого вышло, Шрейдер поведал сам: «...Был получен приказ наркомвнудела о введении в Алма-Ате паспортного режима, ответственность за выполнение которого была возложена персонально на меня. Я... имел в виду очищение города от уголовных элементов. Алма-Ата была заселена людьми, высланными туда из Москвы и других больших городов, как «классово чуждые» и «социально опасные». Но оказалось, что большая половина лиц, подлежащих высылке, относилась не к уголовникам, а, увы, к местным специалистам и интеллигенции». Но «непродуманное мероприятие», как его называет о нем же ходатайствовавший главный милиционер республики, было уже одним из завершающих эту кампанию, прокатившуюся по всей стране и отразившуюся впоследствии в пресловутых пунктах 38 и 39 «Положения о паспортах», по которым «неблагонадежным» или отбывшим срок «политическим» возбранялось проживать в сотнях городов страны!

Я умышленно останавливаюсь на этих вроде бы второстепенных фактах, приводимых в книге Шрейдера, потому что о зверских пытках и истязаниях, о чудовищной мясорубке 1937 года сказано уже немало и то, что пишет Шрейдер,— еще одна страница этого кровавого безумия. Читая те главы книги, которые посвящены событиям 1936 — 1939 годов, я вспоминаю строки поныне не опубликованной поэмы Наума Коржавина о 1937 году:

Да, вспоминая это время,
Как вихрь, как гром, как правды крах,
Я вижу страх один над всеми:
Оркестры, митинги и — страх.

Эти строки написаны году в 1955, когда вернувшийся из ссылки автор подытоживал свои впечатления от пережитого.

Царство великого страха, охватившего всю страну, все слои общества, описано Шрейдером весьма впечатляюще. Рядовой честный гражданин дрожал от страха, опасаясь стать жертвой доноса соседа или показаний арестованного сослуживца. Стукач, стряпавший доносы, боялся вызвать неудовольствие своих хозяев и угодить туда, куда он отправлял других. Начальники боялись подчиненных (вдруг настрочат что-то куда следует). Подчиненные трепетали перед начальниками: вдруг обвинят в том, чего и опровергнуть невозможно, ибо опровержений никто не услышит. Работники самих карательных органов страшились своих сотрудников и даже бесправных арестованных — и имели к тому основания: к примеру, хорошо изучивший эту механику доносительства, предательства и клеветы Шрейдер преспокойно отправляет в тюрьму своего же бывшего сослуживца, ставшего его истязателем. Он чуть было не зачисляет во «враги народа» и ставшего милицейским шефом Ивана Серова, когда тот пытается его спровоцировать, — Серова, назначенного после смерти Сталина председателем КГБ! Страх, великий, бессмысленный, бездумный, пронизывает все и вся. Но и сам творец обстановки всеобщего страха тоже был обуян страхом, но несколько иным: придумывавший своим болезненным циничным умом всякие «заговоры», он с ужасом опасался реальных заговоров, жертвой которых мог стать сам. Поистине: страх один над всеми. Поэт прав! Как прав и насчет оркестров и митингов. Не все помнят, что пора неслыханного попраiania божеских и человеческих законов была официально объявлена временем «торжества социалистической демократии»: в канун 37-го года была принята новая Конституция, весь же 37-й год шла избирательная кампания перед выборами в союзный Верховный Совет, а в 38-м году проходили выборы в Верховные Советы республик. И шли бесконечные собрания и митинги с оркестрами, речами и здравицами, перемежаясь с митингами, клеймящими «врагов народа». Шрейдер вспоминает и это: весной 1938 года его выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Казахстана, он встречался с избирателями под гром приветствий и оркестров. В конце июня намечались — и прошли — выборы, но недели за две до них, вернувшись со встречи с избирателями, Шрейдер по приказу Ежова был арестован и отправлен в Москву. Едучи туда в арестантском вагоне, он сквозь зарешеченное окно на одной из станций увидел в ряду портретов кандидатов в депутаты и свой портрет — снять еще не успели...

Шрейдер подробно описывает зигзаги политических махинаций и борьбы, где наделенные властью пожирали друг друга. Автору «НКВД изнутри» удалось отбиться от смертельно опасных политических обви-

нений и стать осужденным по статье 193 тогдашнего УК — злоупотребление служебным положением, халатность.

В книге много имен лично знакомых Шрейдеру высокопоставленных чекистов и партийных деятелей, каждый из них оставил в истории свой кровавый след. Всех их не перечислить, но назову хоть некоторых из тех, с кем Шрейдер сталкивался лично: Ягода, Ежов, Берия, Каганович, Шкирятов, Кобулов, Абакумов... Впечатляющий список.

Читая документальное, достоверное свидетельство очевидца и участника, каким является Шрейдер, я ловил себя на мысли, что многое из этого я уже знаю — знаю, но не из чьих-либо воспоминаний, а... из повестей и романов! О том, какие нравы царили внутри НКВД, мне убедительно поведал роман Николая Нарокова «Мнимые величины», изданный на Западе еще в 1952 году — при Сталине! Там есть и внутриведомственные интриги, и недоверие и подозрительность самих карателей друг к другу, и даже эпизод, когда доведенный пытками до умопомрачения заключенный называет своими сообщниками по «контрреволюционному заговору» начальника НКВД и его заместителя, о которых он знал лишь понаслышке. Начальству остается только — чтобы самому не попасть под топор — тихо ликвидировать как заключенного, так и следователя, запротоколировавшего его «признания»...

Или фигура известного Реденса — родственника Сталина, видного чекиста, возглавлявшего одно время Московское управление НКВД и затем назначенного наркомом внутренних дел Казахстана. Шрейдер несколько месяцев был его заместителем, вел с ним долгие разговоры, которые, судя по книге, сохранила память автора. О Реденсе, в конце концов тоже угодившем в тюрьму и поставленном «к стенке», написано уже довольно много: муж сестры Надежды Аллилуевой, до поры до времени вхожий в семью вождя человек...

Но еще до публикации всех воспоминаний и документов фигура Реденса, не названная по имени, а только «нарком», возникает в «Факультете ненужных вещей» Юрия Домбровского, писавшемся, как известно, с 1964 года. И так выразителен, так психологически точен этот небольшой эпизод в романе Домбровского, где присутствует нарком со всеми терзающими его мыслями и противоречиями!

Книга Шрейдера — в целом правдивая книга. Автор не поднимается ни до художественных обобщений, ни до философских. На его глазах, как и на глазах многих его коллег до конца их дней, были шоры. Да и не все из них хотели подняться над впитавшимися в их плоть и кровь представлениями, тайно страшись, что вся их жизнь и борьба потеряет смысл... И это — тоже страх, осевший в их душах с дней Большого террора.

8

ПОРА ОТВЕТИТЬ!

На первой конференции «Спротивление в ГУЛАГе» в 1992 году мы впервые услышали от французов — узников нацистских лагерей, что следы некоторых их соотечественников, освобожденных Советской Армией, теряются где-то в Советском Союзе.

В ноябре 1994 года в обществе «Возвращение» побывал господин Дени Сэллем, разыскивающий своего дядю Эдуарда Калифа, узника Освенцима. Несколько лет назад в мемориальном комплексе Освенцима Дени Сэллем обратил внимание на одну фотографию, где был запечатлен в группе освобожденных Советской Армией заключенных человек, похожий на его дядю, пропавшего в 40-е годы. Он стал разыскивать и опрашивать бывших узников Освенцима. Наконец нашелся один человек, в ту пору двенадцатилетний мальчик, ныне живущий в Праге, он сказал, что знал его дядю, который вместе с другими французами был вывезен куда-то советскими освободителями.

Была произведена экспертиза, установившая, что на этой групповой фотографии действительно запечатлен Эдуард Калифа. Еще находясь во Франции, Дени Сэллем узнал, что этих людей депортировали в Одессу. В 1994 году он нашел в Киеве и Одессе подтверждение тому, что французов — бывших узников Освенцима — действительно видели в Одессе.

«Возвращение» не располагает никакими достоверными сведениями об этих людях. По слухам, в одном из мордовских лагерей находилась большая группа французов. Возможно, свидетели и архивные исследования прояснят их судьбу.

Г-ну Семену Виленскому
Ассоциация «Возвращение»

Уважаемый господин Виленский!

В продолжение нашей с вами встречи в Москве при участии г-жи Людмилы Новиковой спешу заверить Вас, что наша ассоциация крайне заинтересована в сотрудничестве с организацией «Возвращение» и Вами лично.

В частности, мы были бы благодарны Вам за помощь в розыске следов французских граждан, бывших узников фашистских концлагерей, освобожденных Советской Армией в конце второй мировой войны и не репатриированных на родину советскими властями.

Таким образом, Вы сможете содействовать акции, проводимой мною согласно Мандату Международной Федерации Прав Человека. Целью наших действий является поиск бывших французских солдат и партизан, задержанных советскими властями и не вернувшихся на родину.

Заранее благодарны Вам за поддержку и сотрудничество.

С уважением.

Дени Сэллем

Президент Ассоциации

Гуманитарных Исследований им. Эдуарда Калифа

Генеральному секретарю

**Национального Союза Ассоциаций депортированных,
заключенных и семей пропавших без вести (UNADIF)
господину Эду**

Безье, 8/VI 1995

Месье Эд!

Долгое время я безрезультатно разыскивала своего брата Анса Андре. В возрасте 20 лет 30 августа 1944 года он был арестован немцами в Жерарме (Вогезы).

Я получила письмо от господина Жака Дишарри, проживающего в Бур 4040. Он говорит, что 11 ноября 1944 года

он находился в вагоне для заключенных, ехавшем по маршруту: Берлин — Анхальтер — Банхоф. Там было около пятидесяти заключенных разных национальностей. Их везли в неизвестном направлении. Этого месье высадили в Бранденбурге, расположенном примерно в 50 километрах от места их отбытия. Во время пути он разговорился с заключенным из лагеря Ораниенбург, которого звали Анс Андре. Его арестовали во Франции в августе 1944 года. Теперь он не знает, куда его везут.

Был еще один человек, который сообщил, что брат находился в России, но тот, кто об этом сказал, теперь не может припомнить даже свою семью.

Месье, я была бы очень вам благодарна, если бы вы могли что-нибудь сделать для меня. Мои родители долго искали его, но они уже умерли.

Прошу вас, месье, если вы можете помочь в поисках, я буду очень вам благодарна. Мне 65 лет, и перед смертью мне хочется еще раз обнять его.

Заранее благодарна и искренне признательна вам. С приветом.

Госпожа Крезо

Госпожа КРЕЗО Сюзанна. 20 ул. Жана-Мишеля Капендеги, 34500, Безье.

Париж, воскресенье 25 июня 1995 г.

ДЕЛО ФРАНЦУЗА АНДРЕ АНСА

Дорогие друзья!

Наш товарищ Пьер Эд, Генеральный секретарь Национального Союза Ассоциаций депортированных, заключенных и семей пропавших без вести (UNADIF), просит меня навести справку у русских властей о судьбе одного француза, арестованного 30 августа 1944 года, попавшего в нацистский лагерь Ораниенбург, а затем переправленного в Россию. Я прилагаю ксерокопию письма его сестры, присланного в UNADIF.

Одновременно я пишу этой женщине с просьбой дать уточнения, в частности, прислать фотографию ее брата, сообщить анкетные данные, рассказать об обстоятельствах его ареста и

о том, как свидетель потерял память. Как только получу эти справки от сестры Анса, я перешлю их вам.

По-моему, вы можете обратиться в комиссию по реабилитации, руководимую полковником Грашовенем, а кроме того, напечатать в журнале «Воля» объявление, чтобы узнать, встречались ли бывшие узники ГУЛАГа с французом по имени Андре Анс. Заранее благодарен.

Надеюсь, что вы все здоровы.

Братский привет всей команде «Возвращения».

Жан-Рене Шовен

**Генеральному секретарю UNADIF
господину Пьеру Эду**

Монтрей, 8 мая 1994 г.

Господин Эд!

После нашего телефонного разговора от 28/04 1994 года в надежде на Ваше благожелательное внимание прошу Вас, если это возможно, помочь мне найти свидетельства или документы относительно моего отца Валентина Пошильского, пропавшего без вести.

Вот его данные:

- Пошильский Валентин
- родился 7 февраля 1902 года в Хорнтхале (Польша)
- французский подданный с 1932 года
- проживал по адресу: 12, ул. Дуайен, Эр-сюр-Ла-Лис (62)¹
- жена Колен-Мадлен, не имеет профессии, проживает по тому же адресу
- шесть детей от 1 до 12 лет
- профессия — механик.

Мой отец входил в подпольную организацию Сопротивления Па-де-Кале. Он собирал разведывательные данные, в частности, сведения о пусковых установках «Фау-1», находившихся на окраине Эр-сюр-Ла-Лис (62).

¹ В скобках автор письма дает номера департаментов.

12 июня 1944 года по доносу (в этом мы уверены) моего отца арестовало гестапо. Сначала он находился в Эр, потом стал узником тюрьмы Лоол Лилль (59). 1 сентября 1944 года его переправили в лагерь Ораниенбург-Заксенхаузен. Как нам стало известно, он пробыл там некоторое время, но оставался ли он там до конца или был перемещен — мы не знаем. Кажется, его освободили русские... И с тех пор мы о нем ничего не знаем. Его объявили пропавшим без вести. Умер ли он за Францию или попал в ГУЛАГ — мы не знаем.

Долгие годы мы напрасно ждали его, вся семья не могла привыкнуть к таким простым словам — «пропавший без вести», думаю, это всем понятно. Всегда где-то кого-то не хватает. Сколько страданий перенесла наша бедная мать, овдовевшая в возрасте 36 лет с шестью малолетними детьми на руках.

Друг нашей семьи господин Робен Ж. Мишель, житель Эр, помогал нашей семье. Его мама и брат тоже участвовали в Сопротивлении. Он занялся поиском нашего отца. К несчастью, он умер, и нам не удалось восстановить данные, которые он собирал. Думаю, он не мог ничего узнать, иначе он бы рассказал нам о результатах.

Может быть, мое слишком позднее письмо покажется Вам странным, но в глубине души меня не покидает мысль: а вдруг он жив и находится в тех местах, которые называются железным занавесом, может, он потерял память и живет неизвестно с кем?

Думаю, что мое желание узнать о его судьбе тронет Вас. Жду вестей от Вас. Должен признаться, что мне в этих поисках никто не помогает, и прошу помощи у Вас.

Господин Генеральный секретарь, заверяю Вас в своем искреннем уважении.

М. Пошильский

Michel Pochylsky,
15, avenue, Ernest-Renan
93.100 Montrenil
tel. 42.87.95.52

**Национальный Союз Ассоциаций
депортированных, заключенных и семей пропавших без вести**

U. N. A. D. I. F.

Ассоциация, признанная общественно значимой в декрете от 11 мая 1984 г.
Ассоциация зарегистрирована в парижской префектуре полиции 28.06.1950 г.

ЦЕНТР МЕДИЦИНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ И ПОМОЩИ

Париж, 14 июня 1994 г.
Господину Жану-Рене Шовену

Национальная Федерация депортированных и заключенных участников Сопротивления (Признана общественно значимой. Декрет от 1 апреля 1950 г.)

—
Национальная Ассоциация семей участников Сопротивления и заложников, погибших в борьбе за Францию

—
Департаментские Ассоциации депортированных, заключенных и семей пропавших без вести

—
Патриоты, сопротивлявшиеся оккупации, из департаментов Рейна и Мозеля

—
Друзья из лагерей

Дорогой друг!

Продолжая разговор, который состоялся во время приезда русских в наше бюро в среду 27 апреля¹, пересылаю тебе копию письма Мишеля Пошильского, отец которого пропал без вести после освобождения советскими войсками лагеря Ораниенбург-Заксенхаузен.

Если сможешь, передай эти данные русским учреждениям, способным дать нужные сведения о необъяснимых исчезновениях людей.

Заранее благодарен тебе, дорогой друг. С искренними дружескими чувствами.

Пьер Эд

Генеральный секретарь

Копия в судебную полицию

¹ Имеется в виду делегация общества «Возвращение».



Мария-Луиза Шарбоннель

ШАРБОННЕЛЬ Мария-Луиза, по прозвищу Мариза
родилась 4 августа 1918 г. в Эскубаке-Ла-Боль (Атланти-
ческая Луара)

Гражданское состояние:

— урожденная **ШАРБОННЕЛЬ** Мария-Луиза, по прозвищу
Мариза

— в 1941 г. вышла замуж за **ГРИМПЕЛЯ** Жана-Мари

— во второй противотанковой дивизии известна под именем
ГАРНЬЕ Мишлин

Сентябрь 1939 г. — санитарка во французском Красном Кре-
сте.

Июнь 1943 г. — вступает в подпольную группу М. М. Фуркада
«Альянс», носит кличку Скарабей.

В 1944 году разыскивается гестапо, организация Спро-
тивления эвакуирует ее в Англию.

В июле 1944 г. в Лондоне поступает санитаркой во вторую
противотанковую дивизию.

В августе 1944 г. со второй противотанковой дивизией
высаживается в Нормандии под именем Гарнье Мишлин.

13 августа 1944 г. французская армия заносит ее в списки
пропавших без вести в Нормандии, при въезде в Аржентан.

Вечером этого дня свидетели видели ее арестованной в
Аржентане, потом в Страсбурге.

Заключена в концлагерь СС — одни свидетели говорят, что
в Равенсбрюк, другие — в Берген-Бельзен (?).

Освобождена русскими.

По многим воспоминаниям свидетелей, прошла через
ГУЛАГ:

— Потьма (Мордовия)

— Норильск

— Магадан (до 1956 г.)

— Монино (под Москвой).

ПАМЯТИ УШЕДШИХ

Вера Яковлевна ЕФИМОВА-УСТИЕВА. Друзья ласково называли ее Верочкой. Сибирячка. Теплые серые глаза, гладко зачесанные назад волосы. От нее веяло чистотой, спокойствием, врожденным достоинством. Она прошла самое страшное: потеряла отца, мужа и в политизоляторе грудного ребенка. Потом была Колыма. В Магаданском лагере она создала серию великолепных картин, вышитых иглой. О том, как они создавались, в этом номере журнала рассказывает сама Вера Яковлевна.

Андрей Павлович ОБРОСОВ. В 1941 году бежал с этапа, прошел тысячу километров по тайге. Сумел попасть на фронт. Воевал под Сталинградом. Был ранен. После войны снова арестован. Автор биографического романа «Закон-тайга» и сборника стихов «Беглец».

Иван Николаевич РУСИНОВ. Сын священника из Павловского Посада. В 1930 году его, двадцатилетнего студента Ермоловского театрального училища, арестовали. Срок отбывал на строительстве Беломоро-Балтийского канала. После освобождения работал в театре им. Моссовета. Второй раз арестован в 1945 году, срок отбывал в Норильске. Мастер художественного слова. Народный артист России и Грузии. Тонкий знаток народных художественных промыслов и обычаев русской старины.

Федор Филиппович ЛАВРУХИН. Сын раскулаченных крестьян из Подмосковья. Занимался кустарными промыслами, в частности, изготавливал церковные свечи. Подвергался постоянным преследованиям. Перед войной арестован, в колымских лагерях провел более десяти лет. Вернувшись в Москву, работал

фотографом. В 1989 — 1992 годах, до того, как болезнь приковала его к дому, активно помогал становлению общества «Возвращение». Автор еще не опубликованных колымских воспоминаний.

Антонина Алексеевна ШЕЛКУНОВА — Тося в кругу колымских друзей, дочь инженера-кавежединца. В 1929 году семья вернулась на родину. Биолог. Училась в Томском университете. В 1936 году арестована за неодобрительные высказывания о законе о колосках, по которому арестовывались крестьянки и их дети. Двадцать пять месяцев находилась под следствием в Бутырской тюрьме. Этапирована на Колыму. Жила в Москве с 1957 года. Тяжелая болезнь не смогла победить ее неукротимого интереса к жизни. Она не раз помогала в трудную минуту своим товарищам. Антонина Алексеевна участвовала во всех конференциях общества «Возвращение», бывала на всех встречах.

Ирина Николаевна УГРИМОВА. Участница французского Сопротивления. Театральный художник. После войны вернулась в СССР и вскоре была арестована. Вынесла из лагеря и сохранила стихи своей подруги по заключению Анны Барковой. Участвовала в подготовке к изданию сборника «Доднесь тяготеет». Друзья ценили ее как надежного товарища и человека, преданного искусству.

Татьяна Алексеевна БАКУНИНА-ОСОРГИНА. Друг и корреспондент «Возвращения». В двадцатых годах семья Бакуниных эмигрировала во Францию. Блестяще образованная Татьяна Алексеевна до последних дней отличалась глубиной и ясностью ума. Она жила под Парижем. Очень много сделала для сохранения литературы и культуры русского зарубежья, для возвращения ее в Россию.

Юрий Ильич ВОЛКОВ. Москвич, сын служащего. В 1948 году окончил студию Камерного театра. Арестован в 1949 году вместе со своими товарищами — геологами, литераторами и актерами — за критику советского тоталитарного режима. Срок от-

бывал в Воркуте, работал на шахте № 9. После освобождения в 1955 году работал в Воркутинском театре до конца 1956 года, когда была освобождена из лагеря его жена Александра Яковлевна. В Москву они вернулись в 1957 году. Несколько лет работал в Литературном театре, потом до самой смерти — в театре Ермоловой. Много снимался в кино и на телевидении. Участник всех конференций «Сопrotивление в ГУЛАГе».

Самуил Григорьевич МОРОЗ. Фронтовик. Узник сталинских лагерей. Педагог милостью Божьей. Поэт, переводчик. Отличался поразительной силой духа. Издательство «Возвращение» готовит к изданию сборник его стихов.

Габриэль-Юлиан-Артур РАФФЕ-ШКАРОВСКИЙ. Сын художника-англичанина. Арестован в феврале 1951 года, этапирован в Каргопольские лагеря. После возвращения в Москву занимался переводческой деятельностью. Коллеги отмечали его трудоспособность и высокий профессионализм. Был участником всех конференций «Сопrotивление в ГУЛАГе», помогал организаторам их в качестве переводчика. Необыкновенно общительный и сердечный человек.

СВЕТЛАЯ ВАМ ПАМЯТЬ, ДРУЗЬЯ.

Мы еще не раз вспомним Вас на страницах нашего журнала «Воля».



Вера Яковлевна Ефимова-Устиева



Андрей Павлович Обросов



Иван Николаевич Русинов



Федор Филиппович Лаврухин



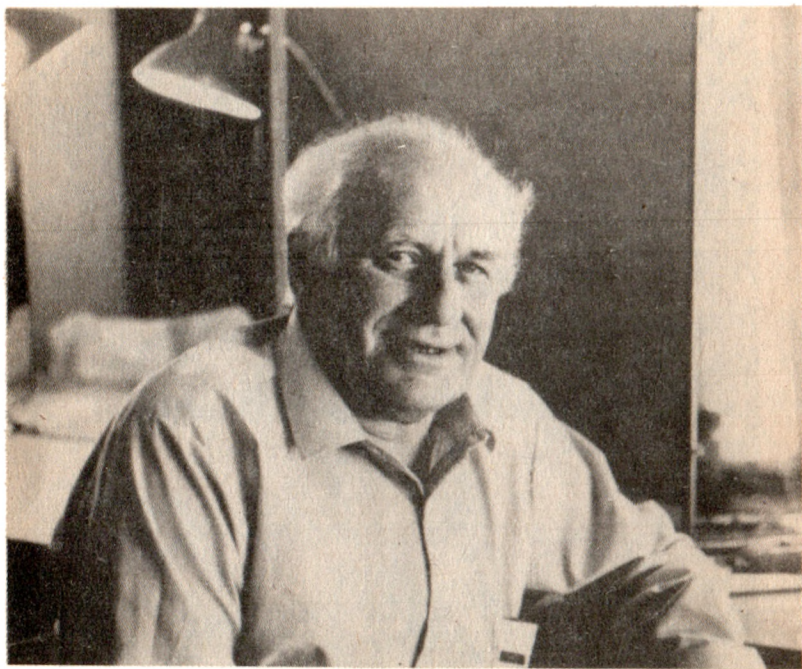
**Антонина Алексеевна Шелкунова (на переднем плане, справа)
в кругу друзей**



Ирина Николаевна Угримова



Татьяна Алексеевна Бакунина-Осоргина с мужем Михаилом Осоргиным



Юрий Ильич Волков



Самуил Григорьевич Мороз



Габриэль-Юлиан-Артур Раффе-Шкаровский

Михаил Фроловский

* * *

Тяжело сдавили своды,
Тяжело гнетет тюрьма,
Мутным призраком свободы
За решеткой дразнит тьма.

Спит тюрьма и трудно дышит,
Каждый вздох — тоска и стон,
Только мертвый камень слышит,
Ничего не скажет он.

Но когда последней дрожью
Содрогнется шар земной,
Вопль камней к престолу Божью
Пронесется в тьме ночной.

И когда последний пламень
Опалит и свет, и тьму,
Все расскажет мертвый камень,
Камень, сложенный в тюрьму.

Спит тюрьма и тяжело дышит,
Каждый вздох — тоска и стон,
Неподкупный камень слышит,
Богу все расскажет он.

1925 год. Великий Четверг

ВОЛЯ | 6 | 1996 |

ЖУРНАЛ УЗНИКОВ ТОТАЛИТАРНЫХ СИСТЕМ

ЧИТАЙТЕ:

Алина Герасимова
«Политические репрессии и личность»;

Гайра Веселая
«Тройка постановила: расстрелять»;

Нина Монич
«Второе рождение»;

Янош Бардак
«Невольничий корабль»;

Георгий Демидов
«Рассказы»;

Роберт Конквест
Представление «Бориса Годунова»
(Стихи).

